

Российская
военно-
историческая
библиотека

Н. В. Берг

Записки
о польских заговорах
и восстаниях
1831 — 1862





Российская
военно-
историческая
библиотека

ЗАПИСКИ
Н. В. БЕРГА

О ПОЛЬСКИХЪ ЗАГОВОРАХЪ И ВОССТАНИЯХЪ
1831 — 1862

Глагола Ему Пилать: что есть
истина? — И сіе рекъ, паки възде
во Іудеомъ.

ИЗДАНИЕ «РУССКАГО АРХИВА»

МОСКВА

ТИПОГРАФИЯ ГРАЧЕВА И. К., У ПРЕЧИСТЕНСКИХЪ ВОР., Д. ШИЛОВОЙ.

1873.

Н. В. Берг



Записки
о польских заговорах
и восстаниях
1831 — 1862

КУЧКОВО ПОЛЕ
2008

Берг Н. В.

Б48 Записки о польских заговорах и восстаниях 1831 — 1862. — М.: Кучково поле, 2008. — 400 с.

ISBN 978-5-9950-0021-1

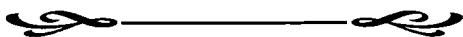
«Записки о польских заговорах и восстаниях 1831 — 1862 годов» Николая Васильевича Берга (1823 — 1884) основаны на нелегальной литературе и неопубликованных ранее документах официальных архивов. Сам автор являлся непосредственным участником событий 1863 года, когда в Польше вспыхнула очередная смута. Он наблюдал за развивающимися событиями и публиковал соответствующие заметки о польском бунте в «Санкт-Петербургских ведомостях». В конце 1864 года наместник Царства Польского граф Ф. Ф. Берг предложил ему собрать материал для истории польского восстания. Отдельной книгой «Записки» были опубликованы в 1873 году. Книга была высоко оценена современниками и не утратила исторического и живого интереса и в наши дни, поскольку записки Н. В. Берга весьма интересны именно потому, что они полны не мудрствований лукавых, не политической фразеологии, а фактов, и фактов то мелких, то крупных, но достоверных, в которых русский поляк и польский русский видны как на ладони.

ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-9950-0021-1

© ООО «Кучково поле», 2008

Глава первая



Польская эмиграция в Европе. — Партии и комитеты. — Заговор Заливского. — Эмиссар Конарский. — Последствия его пропаганды.

С тех пор как мы управляем известной частью Польши, произошло несколько заговоров и восстаний, которые по преимуществу разыгрывались у нас, в Царстве Польском. Причиной тому отчасти естественное стремление заговорщиков к самому важному пункту, к ядру польского политического мира последних времен: поднять Царство и Варшаву, это значит сделать по крайней мере половину дела.

Мы считаем естественным, неотразимым восстанием Польши только одно: Костюшковское. Оно вытекло из событий просто, само собой, было натуральным следствием горьких обид и насилия, которым край перед тем подвергся. Польша должна была попытать свои силы, помериться с врагами. К тому же сил было довольно.

Восстание времен Наполеона нельзя считать чисто польским: поляки были тогда подняты враждебными для нас элементами, нахлынувшими с Запада — вот и все, а никак не встали сами.

Гонялись за мухой с обухом (например, в конце 20-х годов за каким-то безвестным Вестермейером); из доносов составлялись огромные книги на двух языках, русском и французском, — а заговор работал себе тут же преспокойно, и никто из тайных и явных полицейских чинов долго его не видел. О господах Вестермейерах и других безвредных

личностях записывалось всякое чихание, а Высоцкий, чуть ли не главный автор восстания 1830 года, внесен в «книгу живота» всего один раз, по тому случаю, что «не явился на смотр на Саксонскую площадь»¹. Великий князь под конец

¹ Вот образчики того, как записывалось тогда за разными жителями Варшавы все то, что тайная полиция находила нужным записывать.

«1 января 1827. Вестермейер вчера после обеда мало выходил, а только занимался рисованием. Сегодня с утра до трех часов пополудни не был в таких местах, которые бы заслуживали замечания. 2 января. Вчера после обеда, пошедши на Орлю улицу, в один заездный дом, спрашивал там, не приехал ли из местечка Томашова ситцевый фабрикант Цукбаум? После был в одном шинковом доме до позднего времени ночи». «Сегодня поутру был в костелах святого Яна и в Паулинском, — слушал проповедь, говоренную на немецком языке. Оттоль возвратился к себе и остался до четырех часов пополудни».

«1 января 1829. У князя Любецкого вчера пополудни, в исходе восьмого часу, был отставной генерал Таньский 3/4 часа, а потом приезжавшие: чиновник комиссии народного просвещения Валерий Красинский и молодой граф Ельский не были приняты».

«Сегодня поутру приезжал к нему князь Любомирский, не застал дома и другой раз, в час пополудни, он же приезжал, но не был принят. В начале 2 часу старый Вицкий пробыл 3/4 часа».

«2 января. К князю Любомирскому вчера пополудни, в половине 7 часу, приехал директор Почтамта граф Суминский; вскорости за ним — зять графа Замойского, князь Сапега и пробыли: первый 2,5 часа, а последний — 3 часа».

«6 января. К княгине Зойончик вчера пополудни в 5 часов приехала на обед госпожа Бялопетрович. В 7 часов приехал к ней прусский генеральный консул Шмидт, по прибытии коего, через короткое время, госпожа Бялопетрович отъехала, а Шмидт пробыл около двух часов. Княгиня Зойончик имела ехать к кому-то на вечер, и уже подана была карета, но по прибытии консула Шмидта осталась у себя и никуда не выезжала».

«29 января. К министру финансов князю Любецкому вчера пополудни, в половине третьего часу, пришла княгиня Зайончик, в три часа статский советник Дмитриев и вскорости за ним радца стану граф Сераковский, который через полчаса вышел. Дмитриев пробыл 1 час, а княгиня Зойончик 2,5 часа. Князь Любецкий посылал живущего у него помещичьего сына Пусловского к презусу Подлясской воеводской комиссии, отдаленному за злоупотребления от должности, Старнальскому, и через 1,5 часа возвратился назад. Князь Любецкий обедал дома только с фамилией своей. В 8 часов был у него инспектор водяной коммуникации Ланге 1 час, потом презус Государственного Заемного банка, граф Ель-

был до того сбит с толку разноречивыми показаниями полицейских агентов, что решил ни к чему не верить, и когда, незадолго до взрыва, ему донесли о близкой опасности, он не принял никаких мер предосторожности и, как известно, едва не погиб.

Революция застала нас врасплох. Не будь этого, будь власти, особенно князь, хотя немного к этому приготовлены, думай о заговоре немного серьезнее, имей о нем более точные сведения, чем те, какие сообщались правительству в массе всяких секретных донесений, — огонь мог быть потушен в ту же минуту, и к утру 30 ноября (1830) многие жители даже и не знали бы, что готовился какой-то нешуточный взрыв. Как тушили пожар инструментами, которые пришлось выписать из России, это более или менее известно. Вскоре по взятии нами Варшавы вооруженные массы поляков перешли границу и разбрелись по Европе, унеся в недрах своих будущие заговоры, те революционные семена, которые долго потом давали свои плоды. Об этом-то мы и хотим рассказать читателям, как еще о мало известном.

Один из деятельных участников взрыва 29 ноября, бывший старый, сорокалетний поручик 1-го линейного полка, бог весть как попавший вдруг в полковники, Иосиф Заливский¹, при переходе расстроенных войск через Краков, когда они уже положили оружие, собрал кучу друзей

ский. Механик француз Жерард и архитектор Мецель пробыли около двух часов».

«Сегодня поутру, в исходе одиннадцатого часу, радца стану Суминский приехал в Комиссию финансов, оттуда ходил через коридор к князю Любецкому и через полчаса отъехал. После был у него помещик Скржеческий четверть часа, а в половине второго часу пополудни радца стану Грабовский пробыл 1 час».

Далее о Любецком рассказывается, что ему на одном английском заводе делали карету, причем в шины колес пошло более стали, чем железа. Еще об одном лице рассказывается, что когда он приехал в Варшаву, то ожидавший его на заставе человек подал ему шляпу.

¹ Он принимал деятельное участие в заговоре 1830 года и в день взрыва брал арсенал. О его характере и действиях у Мохнацкого, позн. издание 1863, т. II, стр. 300 и далее.

в дом графа Ворцеля¹ на Подгурже (предмесье Кракова) и заклинал их воротиться и продолжать восстание, говоря, что средства страны далеко еще не исчерпаны, что еще остался нетронутым низший класс, хлопы; что денег еще довольно, что крепости еще не сданы русским войскам. Но это были слова вопиющего в пустыне. Воротить, одушевить вновь упавших духом солдат было свыше сил не только Заливского, но и какого угодно любимого и славного вождя.

Заливский ограничился тем, что составил на Подгурже какой-то *Тайный комитет*, имеющий действовать при первом удобном случае; затем пустился странствовать по Галиции (Германии, Италии), везде ужасаясь тому, что делается его соотечественниками, критикуя жестоко только что минувшую революцию и давая постоянно чувствовать всем и каждому, что он, а никто другой, был автором 29 ноября. Так как Высоцкого налицо не было², то Заливский мог говорить, что ему угодно, и легко разыгрывать роль первого и главного героя.

Триумфальное шествие поляков по Европе, симпатии всех наций, торжественные встречи, проводы, крики и слезы при виде гонимых роком отрепанных усачей, из которых многие сражались в рядах Наполеона; потом сочувственные приветствия газет, где, между прочим, три года сряду раздавался голос таких публицистов, как Гейне и Берне; наконец критическое положение огромной толпы, которой прежде всего надо было что-нибудь есть, — все это, соединясь вместе, не давало довольно долго установиться в эмиграции такой атмосфере, где могли быть услышаны какие бы то ни было воззвания патриотов. Эмиграция представляла на первых порах такой хаос, который пугал

¹ Кажется, того самого, что жил после в Лондоне и умер там в феврале 1857 года, как глава жалких остатков Централизации, о коей будет сказано ниже.

² Найден спрятавшимся под зарядный ящик, когда наши войска взяли предместье Волю (где был небольшой бастион), и сослан в Сибирь. Возвращенный по амнистии 1856 года, Высоцкий, как говорили, поселился в местечке Варке, в 70 верстах от Варшавы, где, кажется, живет и поныне.

как ее самое, так и тех, кто отважился дать ей пристанище. От оборванных усачей несло дымом битв и революцией. Франция, где осели главные волны эмигрантов, только что сама освободилась от разных тревог. Земля ее еще колебалась, и ей было вовсе не до того, чтоб ухаживать за чужими, блуждающими по свету революциями. Прибавление таких опасных горючих материалов к тому, что не улеглось еще как следует дома и тоже требовало забот и ухода, было, конечно, не по сердцу правительству Людовика-Филиппа; а потому оно, разыгрывая роль нации гостеприимной и благодарной, простирая объятия недавним сподвижникам великой империи, думало в то же время, как бы от них избавиться, как бы, попросту говоря, уложить на новых ратных полях эти буйные головы. Вождям бывшей польской армии, более или менее выдававшимся из ряда, стали скоро предлагать места в Алжире, склоняя их в то же время формировать туда, если можно, особые польские легионы. Многие голодные усачи сейчас же подвязали свои боевые сабли и давай ими греметь снова во славу своих покровителей. Высшие протекторы Польши, наблюдавшие за эмиграцией из разных углов Парижа, не препятствовали таким воинским порывам братий. Служба под знаменами Франции все-таки могла к чему-нибудь пригодиться, имела несравненно более смысла, чем та служба, на которую звали соотчичей безумцы вроде Заливского¹. Но дабы не дать хозяевам чересчур бесцеремонно распоряжаться своими гостями и вообще имея в виду систематическое управление всеми делами эмиграции, люди, считавшие себя в то время во главе ее, люди, наиболее влиявшие на дела отчества в революцию, основали *комитет*, названный *Польским* (Komitet Polski), куда членами вошли почти все члены бывшего революционного правительства

¹ С революционной точки зрения все революционное должно было прежде всего служить Франции, потому что все революции выходили радиусами из Франции, *лучились* оттуда. Эту мысль высказал впоследствии также и Ледрю-Ролен Герцену, стараясь приобрести его. (Посмертные сочин. Герцена. Женева, 1870. С. 82.)

Польши 1831 года, а председателем назначен бывший представитель Калишан на последних сеймах Бонавентура Немоевский¹.

Но едва комитет успел дать знать о себе эмиграции и краю, как поднялся страшный шум, какой подымается между поляками в тех случаях, если что-нибудь выступит вперед для приведения хаоса в порядок. Сейчас откуда-то взялись партии и кружки, которые стали заявлять также и свои права на управление делами эмиграции. Все они выражали опасение, чтоб люди, оказавшиеся в революцию весьма несостоятельными, точнее, погубившие край и армию, действовавшие почти как изменники, не повернули бы и теперь всего вверх дном; тем более что теперь мудрости нужно вдвое-втрое, ибо тогда была у них в руках кое-какая сила, были деньги, а теперь ничего нет: теперь они бездомные скитальцы, которым нужно думать прежде всего о куске хлеба, которыми, поэтому, помыкает всякий, навязывающий себя в покровители гонимой нации. Конечно, отчаянный народ, беспокойные, недалёковидные бобыли, кому нечего терять ни дома, ни на чужбине, авантюристы и крикуны вроде Заливского, зовущие соотчичей не медля воевать снова с Россией, Пруссией и Австрией, на том основании, что революционные элементы в стране будто бы еще не уснули и их много, — конечно, эти крикуны не знают сами, что делают; но нельзя же равномерно допустить и того, чтобы поляки воевали без толку за французов в Алжире, служили какому-нибудь Дону Педро Португальскому, или герцогу Бургундскому, или в Бельгии. Нельзя допустить, чтоб эмиграция стерлась таким образом с лица земли, не померив еще раз плеча с врагами. Нельзя не думать, что у бездомных скитальцев есть где-то Польша, простирающая к ним руки, полагающая на них такие же надежды, как и на тех, кто остался, по счастью или несчастью, дома.

¹ Человек этот постоянно пользовался большим уважением у поляков.

Среди таких криков и заявлений быстро построилась против нового аристократического комитета сильная батарея противоположных демократических элементов под крылом прежде бывших в Париже Французско-польского и Американско-польского комитетов¹. В декабре 1831 года (именно 8 декабря н. с.) образовался правильный комитет посредством обыкновенных выборов. Он получил название *Польского народного комитета* (Komitet Norodomy Polski). Членами его были: Валентин Зверковский, Леонард Ходзько, Роман Солтык, Фадей Кремповецкий, Антон Пршецишевский, Карл Крайтсир, Антон Глушкевич, Адам Гуровский и Валерьян Пешкович, как секретарь. Председателем историк Иоахим Лелевель.

Вообразив себя сейчас же главой эмиграции (что представлялось иногда и более мелким комитетам и обществам), Комитет Лелевеля, а как его зачастую называли, иначе Декабрьский (Grudniowy) приступил к действиям. Он стал пропагандировать в смысле своих принципов, указывая полякам на далекое, несчастное отечество, которого последнее слово еще не произнесено: напротив, при благоразумном направлении всех сил революция может и должна повториться, даже не один раз; предстоят новые, большие искушения и жертвы, следовательно, надо к этому готовиться всем до единого, кто считает себя поляком, только об этом думать и помнить, забыв все прочее и всемерно уклоняясь от путей, которые могут завести в

¹ Оба основаны в 1831 году. Первый — в январе месяце. Членами его были: Ламарк, Жюльен-де-Пари, Моген, Одиллон-Барро, Буледе-ла-Мёрт, Арман Каррель, Виктор Гюго, Гарнье Пажес, Беранже, Густав Монтебелло, Кремье, Леонард Ходзько, Казимир Делавинь, Донон, генерал Декан (Десаен), Дюпон-де-Лёр, Ластейри (Lasleyrie), Ларрей, Траси, Зальтнер и др. Председателем был генерал Ла-Файет. Председателем Американско-польского комитета был какой-то Самуил Тоу (Howe). Члены неизвестны. Цель обоих комитетов была: помогать, чем случится, революции поляков в России. (Сведения из показаний эмиссара эмиграции Артура Завиши в Варшавской следственной комиссии, в 1833 году, также из сочинения Карла Борковского, тоже эмиссара: *Wyprawa Partyzancka w r. 1833, t. VII, Bibl. Pisar. Polskich*, S. 5—6.)

другую сторону, не слушая никаких сирен, не поддаваясь никаким соблазнам.

Первым печатным воззванием Комитета Лелевеля было (в конце декабря 1831) воззвание *К польскими воинам*¹. Потом, через несколько дней, явилось *Воззвание к венгерцам* на двух языках, по-латыни и по-венгерски, где припоминалась старая дружба мадьяр с поляками и было даваемо почувствовать, что в случае перемены «обстоятельств в Европе» Карпатские горы, вероятно, не будут препятствием подать друг другу руку.

В течение этого времени эмигранты, жившие по разным городам Германии, Италии, Галиции, стали сбиваться более и более к одному месту, под крыло Франции. В особенности много набралось их в Париже. К исходу декабря 1831 года прибыл туда и Заливский и встречен друзьями восторженно. 9 января н. ст. 1832 года Комитет Лелевеля дал ему обед, в заключение которого Лелевель и Годфрид Кавеньяк² вручили герою 29 ноября какую-то саблю времен Наполеона I.

Так как Заливский выступает теперь вперед, то необходимо сказать, что это был за человек.

Это был тип поляка самых необузданных свойств, для кого не существовало нигде и ни в чем препятствий. Характер юркий и беспокойный, не могший ужиться ни с каким на свете кружком. Он везде был как бы не на своем месте, везде хотел командовать, строил планы, ссорился, мешал. Впустить его куда-нибудь и дать волю — это значило все разрушить. Оттого в революцию 1830 — 1831 народное правительство не нашло возможности употребить в дело его способностей, хотя он поминутно навязывался с разными предложениями. Он годился для взрыва в первые минуты, но потом его надо было куда-нибудь убрать. Он был нечто вроде Бакунина, о котором Коссидьер выразился: «В пер-

¹ Приложение 1.

² Брат Евгения, который играл известную роль в событиях 1848 года.

вый день революции ему цены нет, а во второй его надо расстрелять»¹.

В других нациях господа Заливские подчиняются требованиям, так сказать, общей логики, рано или поздно уступают напору окружающих обстоятельств, устают, смиряются; в них, хоть под старость, является убеждение, что так, как они думали, перестраивать мир нельзя. В Польше Заливские не излечиваются ничем и для удовлетворения своих фантазий идут, что называется, напролом, никого не слушая и считая себя вечно живыми. Все благоразумное и умеренное, что оказывает им сопротивление, они провозглашают сейчас изменой отечеству, истинному долгу гражданина. В их энергии есть что-то болезненное, дикое. Они больше полезны врагам своего отечества, нежели отечеству. Они останавливаются только тогда, когда встречаются на пути охлаждающую стену каземата либо пулю. Таков и бывает обыкновенно их конец. Само собой разумеется, что Заливский сделался членом Комитета Лелевеля; но как некогда появлением своим в кружке Подхорунжих он произвел раздор и чуть не разрушил всех планов, так и тут очень скоро увидели невыгоду его присутствия.

Подобно всем польским обществам, Комитет Лелевеля содержал в себе разнородные элементы, всякую минуту готовые произвести на свет несколько партий. Главнейшим образом выступало вперед и было опасно то красное кружка, что подрывает кредит всех польских революций и заговоров: эти вечные, неутомимые политики сердца, как назвал их красный повстанец 1863 года, Авейде; эти ничем и никогда неизлечимые ребята. Их нетерпению казалось все возможным. Лелевеля они находили трусом, человеком вялым и фальшивым, который явил себя таким в первые дни минувшей революции, будучи членом правительства, решительно не знавшего, что оно делает. Мог ли такой человек быть председателем комитета, имеющего претензию управлять делами края

¹ Посмертные сочинения Герцена. Женева, 1870. С. 182.

и эмиграции? Куда он поведет поляков? Кто его выбрал? Так спрашивали многие.

Когда прибыл Заливский, голоса недовольных комитетом стали раздаваться час от часу громче. Заливский, постоянно критиковавший действия различных вождей в революцию 1830 года, постоянно твердивший, что «его не слушали, не слушали тогда, не слушали и потом, при переходе войск через границу, когда спасение было еще возможно... впрочем, оно и теперь возможно, если взяться за дело энергически», — Заливский только подливал, что называется, масла в огонь.

Скоро кучка недовольных комитетом за его якобы нерешительность и бездействие, за его «аристократизм», как выражались иначе, за его «чисто-белые свойства», отделилась и основала (17 марта н. ст. 1832 года) свой особый демократический кружок, назвавшись *Демократическим обществом*. Говорили, будто бы один из первых закладчиков этого здания был Адам Гуровский¹.

Ради оригинальности или по другим каким причинам отделившиеся не составили никакого *комитета* для управления делами, но учредили две начальствующие *секции*, в Париже и Пуатье, каждая из 8 — 9 человек².

В своих первых заявлениях и статьях секции старались главным образом внушить соотечественникам, что «новое общество командовать никем не замышляет, что оно намерено только указывать лучшие и кратчайшие пути к достижению известных целей; а *что до власти*, если б таковая

¹ Pamiętniki Rufina Piotrowskiego, Poznań, 1860, t. I, S. 6. Адам Гуровский написал потом несколько сочувственных России сочинений, из коих наиболее известны: «La Russie et la Pologne», «La Civilisation et la Russie». Он кончил тем, что явился с повинной к Паскевичу, был прощен, награжден чином губернского секретаря, и ему позволено жить в городе Полоцке. Гуровский этим обиделся и убежал в Америку, где и умер. Братья его основались в Польше. Какой-то из них женился на испанской инфанте; а Николай Гуровский доныне живет в Царстве Польском, славя консерватором.

² Сведения из показаний Мирославского в Познанской следственной тюрьме, 9 октября н. ст. 1848 года.

потребовалась при удачном повороте их дел, — край, без сомнения, сумеет ее создать дома, из своих собственных элементов, имея на то больше прав, нежели эмиграция: ибо странно и несправедливо было бы навязать власть со стороны людям, которые шли в первый огонь и жертвовали всем, не говоря уже о том, что они постоянно находились в более стесненных условиях, чем эмиграция, постоянно несут на себе бремя военной диктатуры. Власть думают навязать краю только *аристократы* эмиграции, генералы. Общество же, основавшееся в марте 1832 года, состоит из одних демократов, плебеев по происхождению и по убеждениям»¹.

Заливский — может быть, главная причина появления этого кружка, та капля, которая заставила квашню бродить — сам, однако же, остался с Комитетом Лелевеля, вероятно, на том основании, что отделившиеся были вначале чрезвычайно ничтожны. Даже и самое отделение их не было так резко, как иные воображают. При всех сколько-нибудь торжественных случаях, в памятные полякам исторические дни, а иногда и просто, без всякого повода, с целью погулять, покутить и выпить лишнюю рюмку за здоровье братьев, за что случится, — интеллигенция всевозможных кружков весьма дружески сходилась в Париже и других городах, и тут было очень трудно разобрать оттенки партий. Бывало и так, что несогласные с каким-нибудь кружком, готовые по-видимому, удалиться, после доброй общей пирушки забывали об этом и оставались там, где были.

Можно было думать по слабости сил нового демократического кружка, что он тоже воротился к прежним товарищам. Оставшиеся делали даже для этого все, что от них зависело, в видах уничтожить раскол, пока он еще не велик.

Комитет Лелевеля, чтобы показать эмиграции, а более всего нетерпеливой, красной ее половине, свою деятельность и отвагу, выпустил еще несколько воззваний, более

¹ Разные польские сочинения того времени.

или менее зажигательного свойства. Именно: к немцам, к лотарингцам, к Альзасу, к итальянцам и, наконец, самое опасное, самое неосторожное, воззвание к русскому народу, на трех языках: по-русски, по-польски и по-французски¹. Немного позже выпущено не менее опасное воззвание к евреям Царства Польского, по-немецки и по-французски, пера самого Лелевеля.

Этим, может быть, прямо рассчитывали воротить бежавших; но вышло совсем другое.

Французское правительство, смотревшее вначале на образование всяких эмигрантских кружков и на бурные сходки поляков сквозь пальцы, так как из этих кружков и сходов ничего важного и опасного не выходило, увидев теперь ряд возмутительных, революционных посланий и получив ноту от русского правительства по поводу воззвания Польского народного комитета к русскому народу и к евреям Царства Польского, мгновенно изменило свой характер. Эмигрантам, подписавшим воззвание к русскому народу, именно: Иоахиму Лелевелю, Валентину Зверковскому, Леонарду Ходзьке, Антону Пршецишевскому, Антону Глушневичу, Эразму Рыкачевскому, Иосифу Заливскому, Михаилу Губе, Валерьяну Петкевичу и Карлу-Эдуарду Водзинскому, было предписано не медля оставить Париж. Некоторые выехали, а другие, имея кое-какие связи в высших правительственных сферах, оставались под разными предложениями до начала 1833 года. К таким, между прочим, принадлежали Ходзько и Лелевель. Они рассчитывали, что с течением времени дела их поправятся и правительство прекратит свои преследования. Не тут-то было. Полиция постоянно напоминала обоим друзьям, чтоб они выезжали

¹ См. Приложение 2. Кажется, поводом к этому воззванию была амнистия государя Николая Павловича, разрешавшая эмигрантам возвращение на родину. Один из русских профессоров был в 40-х годах у Лелевеля в Брюсселе и в разговоре с ним намекнул ему, что им бы, полякам эмиграции, подумать о сближении с правительством, об амнистии... Лелевель вскочил как ужаленный и громким голосом, откуда что взялось, произнес: «Qu'est-ce que vous dites? Amnistie. C'est l'insulte!»

из Парижа. Держаться долее было невозможно. Лелевель выехал в поместье Ла-Файета Лагранж, а Ходзько в Тур, куда потом прибыл и Лелевель; но их снова разлучили: Лелевель пошел, в синей блузе и конфедератке пешком куда глаза глядят и спустя некоторое время очутился в Брюсселе, где и жил до последнего польского восстания¹; Ходзько переехал в Безансон, потом скитался из города в город, а в заключение устроил как-то, что ему позволили опять возвратиться в Париж, где он жил до самой смерти, собирая материалы по истории своего отечества и издав сборник документов, пользующийся известностью². Такое упорное преследование французским правительством лиц, уважаемых эмиграцией, раздражило все партии, в особенности ту, которая считала Лелевеля своим главой. Она покраснела и выделила из себя разом значительный контингент в Демократическое общество. В это время нелепый план Заливского «идти в Русскую Польшу и возобновить там революцию», план, родившийся еще на Подгурже, в доме Ворцеля, и после забытый всеми, подобно странному сновидению выплыл снова наружу, получил некоторое значение, стал казаться возможным, осуществимым. Сам Заливский, наводивший на умеренных своей вечной революционной болтовней непомерную скуку, озарился вдруг в глазах всех особым светом, точно вырос, точно открыл какой великий секрет: столько прихлынуло ко всем сердцам негодования,

¹ Около 1860 года эмиграция склонила Лелевеля переехать из Брюсселя в Париж, якобы для совокупных с разными партиями действий перед приближающимся восстанием. Иные в этом приглашении усматривают происки какой-то партии, желавшей захватить в свои руки некоторые бумаги Лелевеля после его смерти, которой ждали с часу на час.

² «Recueil des traités, conventions et archives diplomatiques concernant la Pologne 1762 — 1862, par le comte d'Angeberg». В № 85 «Московских Ведомостей» 1872 рассказывается, что при Наполеоне I какой-то Лезюр выпустил сочинение *о развитии русского могущества с возникновения его до начала XIX века* и первый вывел на свет известное завещание Петра Великого — явно подложный документ, явившийся потом в разных французских сочинениях, между прочим у Henri Martin. Леонард Ходзько тоже прикладывал здесь свои руки.

столько все кипели против всяких угнетателей. Конечно, более всего извергалось брани и громов на Россию, наславшую эти тревоги.

Поляк необыкновенно скор, *zapredki*. Он загорается, как порох, и тут делай из него, что хочешь. Прежде чем действительно солидная часть эмиграции успела сообразить грозящую всем им опасность, собрать сведения о безумных приготовлениях к какому-то невероятному и неслыханному в летописях походу, — как уже курьеры Заливского, выросшие из земли в огромном количестве, скакали во все концы по так называемым закладам эмиграции, существовавшим в разных городах юго-западной Европы с начала 1832 года¹. Этим курьерам было поручено набирать охотников, офицеров и солдат для образования отрядов, имеющих вскоре выступить в Русскую Польшу с известными высшему начальству целями.

Курьеров встречали в закладах различно, смотря по тому, каков был заклад: где с полным сочувствием, где не слишком, а где и вовсе неприязненно. В одном закладе, именно Авиньонском, курьер Карл Шлегель (партии Подхорунжих 1830 года) поссорился с председателем Совета Каспером Дзевицким, был вызван им на дуэль и убит.

Однако же в общем результате предложение Заливского «возобновить революционные действия в Русской Польше», произвело, вследствие известного настроения умов, шум и толки скорее в одобрительном духе, и заклады решили отправить депутатов на съезд в Лион, назначая для этого 4 января н. ст. 1833 года.

¹ Сколько нам известно, *заклады* (Zaklad) эмиграции были в следующих городах: Бурже, Безансоне, Лионе, Люневилле, Авиньоне, Страсбурге, Шатору, Штутгардте, Фрибурге, Мангейме, Гейдельберге, Тюбингене, Карлсруэ, Ульме, Вюрцбурге, Нюрнберге, Альтенбурге, Дрездене, Львове, Кракове, Тарнове и Познани.

Правительственная власть каждого заклада была в руках *Совета* (Rada). Характер закладов был различный: где аристократический, где демократический. Заливский в своих львовских показаниях упоминает о каких-то *Польских комитетах* по городам, насчитывая их в одной Франции до 30. Не одно ли это и то же с *закладами*?

Съезд этот состоялся, и — кто поверит — план Заливского одобрен на нем большинством голосов! Часть депутатов исполнилась такого восторга и нетерпения биться снова на родимых полях, что иные тут же предложили Заливскому распорядиться ими по благоусмотрению. Заливский сначала долго осматривал вербуемых в новую, революционную организацию; но потом, за недостатком людей на все открывшиеся вакансии, оставил церемонии и брал всякого, кто только шел, лишь бы он, прочтя или выслушав инструкцию, подписал ее и присягнул.

План Заливского состоял в том, чтобы, обеспечась на сколько можно скорее материальными средствами и сделав необходимые приготовления во всех трех захватах, вторгнуться в Русскую Польшу мелкими партизанскими отрядами, которыми занять войска правительства. Тем временем будет формироваться армия, которая выступит на сцену, когда заговор в Польше (1772) и в других местах Европы достигнет надлежащего развития.

Все Царство Польское, а отчасти Литва и Русь, делились, согласно требованиям новой организации, на несколько округов, в два уезда каждый. Всякому округу давался свой особый начальник, имевший под командой известное число партизан. *Инструкция* для этих партизан, пера самого Заливского, была такова:

1. Обязанности партизана суть: посвящение себя на всевозможные труды и опасности, с целью освободить свое отечество и снискать людям равенство прав, не обращая внимания на вероисповедание; уничтожить всякие предрассудки и взаимную ненависть между сословиями. Стало быть: биться с оружием в руках против тиранов и их клеветов, угнетающих род людской; употреблять все способы к их уничтожению.

2. Партизан должен укрываться по лесам и горным ущельям, в местах недоступных; переходить в своем округе постоянно с одного пункта на другой и делать оттуда набег-и, в особенности по ночам, на неприятельские форпосты; истреблять магазины, амуницию; захватывать военные и

другие казенные кассы; бить чиновников, назначенных тираном; словом, уничтожать и забирать все, что составляет собственность наезднического правительства и служит ему поддержкой.

3. Партизан должен, в самом строгом значении этого слова, уважать спокойствие мирных жителей и всеми мерами охранять их собственность, если б слуги или солдаты тирана захотели на нее посягнуть.

4. Каждый окружный начальник (dowtdca), утвержденный главным вождем партизан, может выбрать какой угодно округ для своих действий, из двух уездов состоящий; сверх того, имеет право сам назначать себе помощника (zastepce) и набрать столько подчиненных партизан, сколько заблагорассудится.

5. Каждый начальник войск по округу обязан беспрекословно повиноваться главному вождю и выполнять его приказания со всей точностью; так равно и каждый партизан — своему окружному начальнику, как скоро исполнил добровольную присягу.

6. Каждый начальник округа имеет право карать своих подчиненных смертью за измену, за неисполненное приказание и за посягательство на чужую собственность; равно и каждого человека в своем округе, кто бы стал ему противиться или изменять тайне.

7. Каждый начальник округа, приказывающий грабить мирных жителей или делающий вообще что-либо возмутительное, должен быть сменен (zgladzony) подчиненными, а на его место назначен помощник, не то кто-либо другой из партии, кого они найдут более достойным, мужественным и честным.

8. Каждый начальник округа обязан сноситься с начальником воеводства или губернии и состоять в его распоряжении; а этот последний сносится непосредственно с главным вождем.

9. В случае невозможности держаться в своем округе, по причине напора неприятельских сил, окружный начальник со своими партизанами может перейти на неопределенное

время в какой-либо соседний округ и действовать с тамошним начальником заодно.

10. Каждый окружный начальник, освободив свой округ или хотя часть одного от власти неприятельской, учреждает там немедленно гражданскую власть из местных обывателей, пользующихся всеобщей доверенностью, и сам за ней наблюдает.

11. Каждый окружный начальник, имеющий под своей командой более 50 человек, отправляет излишек в заклад кадров, формирующих народную армию.

12. Высшая власть над партизанами называется *Месть нарота* (*Zemsta Ludu*), и ей должны слепо повиноваться все партизаны до тех пор, пока весь народ не восстановит своей независимости. Лицо, снабженное этой властью, известно только начальникам округов и их помощникам.

13. Каждый партизан, по прочтении вышеприведенных статей, выполняет следующую присягу перед окружным начальником:

«Клянусь Всемогущим Богом, что, желая восстановления моего отечества и равноправности каждому человеку, посвящаю себя добровольно на всевозможные труды, опасности и самую смерть и до последней капли крови буду биться против тиранов и против тех, кто им служит; причем, исполняя постановление партизан, буду повиноваться своим начальникам. Господи, помоги мне в этом здесь и на том свете...»¹

Когда было замечаяемо вербовавшими такой народ в экспедицию Заливского, что они колеблются, находят много препятствий, то их всячески старались успокоить, пускали им пыль в глаза напоминанием о том, что Польша будет действовать не одна, а в связи с общеевропейской революцией, имеющей в виду перестроить целый мир. Заливский говорил даже, что ему известно достоверно о существовании заговора между военными в самой России, а потому

¹ Подлинник можно видеть в сочинении Борковского (*Wyprawa Partysancka do Polski w r. 1833. T. VII Biblioteki Pisarzy Polskich. S. 7—9*).

пробиться партизанам в лесах придется какой-нибудь месяц, много полтора, а там все вспыхнет, и они сольются с огромной польской армией всех трех захватов, с армией, какой, касательно размеров, едва ли еще где видано.

Собственно говоря, эти люди обрекались до известной степени на жертву. Расчет главных руководителей движения заключался в том, что всякий, поставленный в условия партизана, отрезанный от своих, без верной надежды воротиться, должен поневоле быть энергичен, выдумать такие действия и хитрости, каких в спокойном и безопасном месте и в голову не придет: им будут руководить не один патриотизм и желание отомстить врагу, но и свойственное всякому человеку чувство самосохранения.

Это было высказано впоследствии печатно разными революционными органами поляков.

В течение января месяца 1833 года были приняты и утверждены Заливским следующие начальники округов, носившие в то же время название *эмиссаров*¹:

1. Артур Чарный-Завиша вокруг Варшавско-Сохачевский, с самой Варшавой;
2. Каликст Боржевский в округ Плоцко-Липновский;
3. Леон Залесский в округ Равско-Ленчицкий;
4. Эдуард Шпек в округ, состоящий из уезда Станиславовского и Праги;
5. Леопольд Бялковский в один из округов Калишского воеводства, соседом к Завише;
6. Антон Винницкий в округ Гостынино-Куявский;
7. Каспер Дзевицкий в округ Радомско-Опочинский;
8. Эдуард Дуньский в округ Млавский;
9. Адам Сперчинский в округ Пржаснышский;
10. Фаустин Сулемирский в округ Конинский;
11. Леопольд Потоцкий в округ Серадзкий;
12. Рох Рупневский в округ Пултуско-Остроленский;
13. Ушинский в воеводство Подляское;

¹ Если не все, то некоторые из окружных, несомненно, пользовались этим титулом.

14. Степан Гецольд в уезд Волковыский (Гродненской губернии);

15. Карл Борковский в округ Острожско-Кременецкий (Волынской губернии);

16. Фаддей Серпутовский в округ Бельско-Радзынский;

17. Осип Гордынский в округ Сокольско-Белостокский;

18. Джонс Ринк (Jons Rynk) — в округ Любельско-Красноставский¹.

Большинство этих лиц были военные, служившие когда-то в польских войсках разными чинами, от унтер-офицера до поручика, — кто человек довольно образованный и начитанный, кто простой, грубый солдат. Унтер-офицер Шпек, как увидим, не сладил со своей командой и соединился сперва с Гецольдом (экспедитором бывшего Виленского университета), потом оба поступили обыкновенными рядовыми в банду Завиши. Но все, прочитанное в уставе партизанском, удержалось в каждой голове твердо. Присягу многие знали наизусть, почти слово в слово. Общий смысл задачи, *что именно делать*, был ясен всем. Только параграф о том, что главный начальник называется *Месть народа*, не всеми был понят одинаково. Многие, вроде Шпека, думали, что это *главный комитет*, и таким образом впоследствии показали.

Округи выбирались каждым лицом такие, где ему удобнее было распоряжаться, где находились у него друзья, знакомые, родственники или даже имение. Кто не знал таких мест и кому было все равно, где ни действовать, тем Заливский назначал округи сам. Но все это было только расписано так на бумаге: на деле ни один из партизан не попал на указанное место.

¹ Сведения из показаний Антона Винницкого и некоторые печатные источники. Неполноты в иных округах, то есть как бы недостачу уезда, мы поправить не в состоянии. Так показывали иногда и сами окружные начальники. Не было ли на практике для иных изменено общее правило и не давали ли им действительно в заведование только один уезд?

По причине действительно существовавшей связи *Партизанского наезда* (или, как поляки попросту выражались и выражаются до сих пор: «*Partyzantki Zaliwskiego*») с затеями карбонаров окружные начальники, отправлявшиеся в край, были приглашены выполнить сверх своей какую-то особенную *карбонарскую присягу*, которой текст нам неизвестен. После того им были сообщены знаки, каким образом отличать своих за границей и дома. Эти знаки Наезд принял тоже от карбонаров. По свидетельству одного из окружных, Осипа Гордынского, они заключались в следующем:

1) При встрече снимать шляпу немного направо и надевать прямо, если встреченный *свой человек*, то он сейчас это заметит; 2) Подавая кому-либо правую руку, коснуться каким-либо пальцем его ладони; 3) Если встреченный проговорит после этого *amitié*, отвечать *fraternité*, и затем обоим враз сказать *bienfaisance*; 4) Квартира своего узнается по вделанному где-нибудь на доме или на близстоящем дереве, не то на другом каком-либо предмете, небольшому треугольнику¹.

Когда все сказанные церемонии были соблюдены, некто Гурецкий², начальник Лионского заклада, где был сборный пункт команды Заливского и устроен какой-то *Лионский базар* (как бы склад материалов для Наезда), раздал отправлявшимся рекомендательные письма, кинжалы карбонарской формы, по 150 франков на брата, а Борковский снабдил каждого известным количеством яда³.

Затем местный французский префект выдал им паспорта с ложными именами и званиями, и эmissары двинулись, большей частью пешком, на Швейцарию и Германию⁴. В Цюрихе, новом сборном пункте, уже произошли между

¹ Гордынский прибавил к этому, что собрания карбонаров, состоящие из 11 человек, называются вентами. Лица, участвующие в них, обязаны знать два пароля: один полугодичный; другой, требуемый при входе, меняется всякий раз. Иногда, по разным соображениям, меняется и полугодичный пароль.

² Gorecki. Временно должность его правил Левандовский.

³ Показания разных окружных, лично бывших тогда в Лионе.

⁴ Так о паспортах показывают многие из эmissаров. Борковский в указанном сочинении «*Wyprawa Partyz*» говорит, что паспорта выданы были обыкновенные, с настоящими именами и званиями.

ними некоторые столкновения. Иные высказывали неудовольствие против главного вождя и сомневались в успехе предприятия. Были наконец и такие, кто, обсудив с приятелями все дело похладнокровнее, не пошли дальше.

В Германии было замечено странниками, что тайна их открыта: их строго осматривали на заставах городов и малейшее подозрительных ворочали назад во Францию. Чем далее, тем становилось труднее идти. В Галиции уже нужно было просто-напросто прятаться, входить в города украдкой, ночью. Карл Ворковский с Михаилом Ходзькой были остановлены во Львове на заставе стражей, которая, оглядев их внимательно, спросила: «Уж и вы не такие ли, о каких слух идет, что отправляются в Польшу делать революцию?» Однако они отделались кое-как, не быв задержаны, и пробрались внутрь города, а потом и дальше, где с кем-нибудь в крытой бричке, где ночью по лесам, пешком.

В Царство Польское, до образования партизанских отрядов, решились проникнуть немногие. Там правил страшный военный диктатор Паскевич¹, которого трепетали на

¹ Паскевич вступил в службу в 1800 году из камер-пажей, флигель-адъютантом к императору Павлу, гвардии-поручиком, октября 5-го, имея 17 лет.

Штабс-капитаном	1806
Капитаном	1808
Полковником	1809
За отличие в генер.-майоры	1810
Генерал-лейтенантом	1813
Генерал от инфантерии	1826
Генерал-фельдмаршалом	1829
Главкомандующим действующей армией в июне	1831
Наместником марта 23-го	1832

Паскевич происходил из небогатых дворян Могилевской губернии и поступил в Шкловский кадетский корпус (бывший Зорича, фаворита Екатерины, которому Шклов был подарен); при посещении Шкловского корпуса государем Павлом Петровичем, Паскевич обратил его внимание красивой наружностью и был переведен в Пажеский корпус, где понравился государыне Марии Федоровне и сделан камер-пажом. В 1800 году из камер-пажей произведен в офицеры с назначением флигель-адъютантом к его величеству.

(Сведения частью из бумаг одного генерала, частью из послужного списка фельдмаршала.)

огромном пространстве и свои, и чужие. Это был человек, избалованный счастьем и неслыханным раболепством окружающих, раболепством, какое может быть только на Востоке да в славянских землях, и то, пожалуй, не во всех до единой. Весьма немногим отличался он от какого-нибудь восточного шаха. Но это был шах очень умный, знавший хорошо, кого можно пожурить без всякой церемонии, на кого бросить только строгий взгляд, кого оставить без всякого замечания или даже «погладить по головке», отчего иной славянин готов расплакаться. Из его канцелярии не выходило ни одной бестолковой бумаги. Личные его заметки на полях, не щеголяя особенно изящным языком и грамматикой, были все-таки полны смысла, и всегда без всякого грома и молнии. К грому и молнии в бумагах прибегал он редко. Управление края, изобретенное им, в большей части мер соответствовало минуте и положению дел, а равно и взглядам Петербурга. Шутить было нельзя, но нельзя было также и ломать сплеча все польское, заменяя его русским: с этой стороны шах встретил бы сильную оппозицию в высших сферах¹, а он их разумел так тонко, так тонко, как никто. Он знал, до каких пределов простирается защита венценосного покровителя, уравнившего его в некоторых почестях с самим собою, называвшего «отцом-командиром». Правда, в иные области управления прокрадывались кое-какие несостоятельные свойства *всей машины* вообще. Полиция также гонялась за «Вестермейрами» и не видела «Высоцких»; но все это восполнялось и исправлялось необыкновенной личностью главного лица. Его глаз заглядывал всюду и если видел что — наступала быстрая, энергическая расправа; против яда принимался вернейший антидотум. Оттого всюду оглядывались поминутно, что бы кто ни делал и что бы кто ни говорил, было ли это в бедной хате земледельца, на пограничном ли кордоне казака, в богатых ли палатах русского или польского

¹ После были толки, что Паскевич *ополячил Польшу*, ничего не сделал для русского дела, языка и т. п. Но эти господа, говорившие так, не берут в расчет условий времени. Если теперь трудно бороться с польскими элементами в Варшаве и Петербурге, что ж тогда?

магната. Везде оглядывались. Все были уверены, что полицеймейстер, пожалуй, не усмотрит и жандарм не подслушает, а как, сохрани Господи, «Сам»?.. Тень Банко, которого все собирались убить и никак не убивали, вставала пред всеми, на всяких резких, неумеренных пирушках, там, где-нибудь в углу, при всякой неосторожной болтовне. Сейчас выглядывало откуда-то это страшное, широкое, боевое чело, в полуседых кудрях, и устремлялись серые глаза, леденившие мгновенно всякую смелую душу¹.

Ничего этого не знали и не соображали пешие сочинители *Наезга*. Польша представлялась им в виде кипящего котла, где с утра до ночи готовят повстанские похлебки: приходи только и ешь.

Разочарование наступило поздно, когда Заливский и несколько других прибыли командовать партизанскими отрядами, направлять действие различных окружных начальников.

Заливский имел письма к графу Викентию Тышкевичу, владельцу обширного села Кульбушева Тарновского округа Краковского воеводства². Граф Тышкевич принял его радушно, поместил у себя в доме и сказал, что имеет небольшой запас оружия, сохраненного кое-как после 1831 года, в том числе 500 штук годных в дело ружей³, может быть еще

¹ Один генерал сказывал автору, что он «Бога так не боялся, как Паскевича; что его всегда прошибал пот с головы до пяток, когда Паскевич на него взглядывал».

² Можно заметить, что перед отъездом в Польшу Заливский пробрался в Париж и виделся там с разными влиятельными лицами: Дверницким, Ледуховским, Уминским. Дверницкий сказал, что «помочь не считает удобным, но благословляет», — это были только слова. Дверницкий имел свою партию, основанную 22 октября н. ст. 1832, под названием *Komitet Emigracyi Polsciej* (назывался у поляков кратко Октябрьским, *Razdzielnikowu*), где членами были: Уминский, Юлиан Серавский, Иван Ледуховский, Александр Еловицкий, Амантий Жарчинский, Станислав Ворцелль, Андрей Плихта и Воллович. Эта партия хотела воротить эмиграции прошлое: помирить поляков с французским правительством и вместе расстроить экспедицию Заливского. Ни то ни другое ей не удалось.

³ Сведения от партизан, видевших этот склад, и статья графа Франциска Веселовского: *Ustep z moich wspomnien*. T. VII. Bibl. Pis. Polsk. S. 134.

столько же наберется у других помещиков, сочувствующих Наезду, как, например, у Мышковского, владельца села Куржина; у братьев Богуслава и Онуфрия Городынских, у графа Франциска Веселовского, Константина Руссоцкого... Но ведь этого мало. От Русской Польши ждать большой помощи нечего. Найдется несколько сочувствующих в Плоцкой губернии, по границе, например, Матвей Мыстковский и кое-какая отчаянная молодежь, там же. На остальном же пространстве лежат страх и трепет. Особенно нечего рассчитывать на простой народ, на хлопов: все они тянут руку правительства. Вообще дела плохи.

Заливский и друг его, прибывший с ним одновременно, Генрих Дмуховский (под именем Сандерса) несколько приуныли. Сведений из Царства Польского почти никаких нельзя было достать: приготовлено ли там что-нибудь или нет. Даже нельзя было перекликнуться со всеми окружающими и узнать, все ли они на местах, в каком положении их отряды. Даже было явно заметно, что кто-то из своих мешает восстанию¹.

Несмотря на все это, надо было, конечно, идти вперед. Возврат был уже невозможен. Столько народу успело себя скомпрометировать перед разными правительствами, в разных углах Европы, столько преодолено тяжких препятствий, принесено жертв, что, если бы вожди попятились назад, произошло бы общее смятение, взрыв негодования, посыпались бы обвинения в трусости, в измене (на что поляки необыкновенно скоры: у них сейчас «zdroica! zdrada!»). Начальники округов могли бы предпринять еще более беспотковое восстание, просто с отчаяния, став, иные, может быть, в несравненно безвыходнейшее положение, чем Заливский в доме Тышкевича, в Кульбушеве.

Собравши в Галиции небольшую банду в 24 человека Дзевицкий, по-видимому, весьма хорошо рассчитал действие при переходе в Царство: он думал напасть ночью

¹ Это были агенты разных умеренных партий из Парижа, кажется, более всего партия Дверницкого, которым прямо приказано было разрушать все то, что построит Заливский.

врасплох на казачий пост в местечке Поланце¹, перебить казаков и захватить их оружие и лошадей. Но переправа через Вислу заняла столько времени, что когда Дзевицкий, к счастью людей, очутился на другом берегу, стало светать. Боясь быть открытым, он приказал остальной кучке переправляться как можно поспешнее и догонять товарищей, а сам, всего с четырьмя партизанами, двинулся к Поланцу бегом, измучил людей и себя, и атака была неудачна: казаки перехватывали повстанцев и отвезли в ближайший город, откуда они были отосланы в Варшаву². Дзевицкий где-то на привале спросил стакан воды, быстро всыпал в него яду и отравился. Часть банды, подошедшая потом к Полавцу, узнав об участии товарищей, разбрелась по лесам. Кое-кто после пристал к другим партиям.

24 марта н. ст. пробралась в Царство партия Гецоляда и Шпека, но вскоре, встретив разные препятствия, бросила вождей, и они должны были соединиться с партией Завиши, о которой будет сказано ниже.

2 апреля н. ст. перешла границу около деревни Уфиловец (?) партия Бялковского, в 10 человек, набранная в Галиции, в окрестностях местечка Збышева, приведена к присяге ксендзом с соблюдением всех обрядов, требуемых католической церковью, и пустилась бродить по лесам, в разных направлениях, терпя нужду и голодо такой степени, что солдаты и их начальник зачастую ничего не ели по двое и по трое суток сряду. Первую пищу привез им ксендз Михаил Старжинский; потом прислала сыру и ветчины помещица Новаковская. Позже снова приехал ксендз³.

¹ Поланец на границе Стопницкого и Сандом. уездов Радомской губернии, при впадении реки Черной в Вислу.

² Это были: канцелярист Подольской казенной палаты Евстафий Рачинский, 19 лет; рядовой бывших польских войск Василий Пршеорский; унтер-офицер корпуса Раморино Иосиф Кржиальский и унтер-офицер бывшего 4-го пехотного полка Антон Ольковский. По другим известиям, банда разделилась на две части (по переходе через Вислу, в деревне Будзиках Стопницкого обвода) и на казаков не пошла, а стала искать каких-то солдат в другой деревне, и тут казаки напали на ее след и перехватывали упомянутых повстанцев.

³ Показания захваченных людей этой банды.

Ни в какую деревню, тем более в местечко или в город, воины Бялковского и он сам не смели, что называется, и носу показывать. Им были постоянным убежищем глухие чащи, окруженные трясинами, да и те приходилось беспрестанно менять из опасения столкнуться с казачьими разъездами или быть захваченным крестьянской облавой, какие делали в иных местах войты гмин, по приказанию начальства, так как история Наезда уже разоблачилась¹.

22 апреля н. ст. перешла границу новая партия, в 13 человек, под командой офицера польских войск Лубинского, которая, встретясь с бандой Бялковского в лесу под Юзефовым², соединилась с ней, и вместе предприняли нападение на казачий пост в сказанном местечке. Для этого все силы, 23 человека, где были, между прочим, остатки банды Дзевицкого, разделились на четыре части, и каждой части дан особый начальник. Одной такой частью, в 5 человек, командовал молодой энтузиаст, Антон Карчевский, сын официалиста³ из чьего-то богатого имения, служивший в революцию 1830 — 1831 годов в корпусе Ружицкого. Он явился первый на площади, махая саблей, — и тут же был захвачен казаками с тремя своими людьми⁴ и доставлен в Варшаву. Остальная часть банды разбежалась.

Затем явилась из княжества Познанского партия бывших варшавских студентов: Сперчинского, Дуньского и служивших разными чинами в польских войсках: Хелмицкого, Сильвестра Раценского и Феликса Бугайского. Перейдя границу 27 апреля нов. ст. между деревнями Бобровниками и Мелишевкой (Плоцкой губернии), партия эта двинулась к Бенднову на соединение с показавшейся тогда же в этих местах бандой Сулемирского — и сошлась с ней 29 апреля н. ст. в лесу. После различных приключений и опасностей соединенные банды выслежены и атакованы войском

¹ Тоже показания захваченных.

² Замойского обвода Люблинской губернии.

³ Официалистами называются у поляков высшего разряда слуги, как например, управляющие, конторщики, камердинеры.

⁴ Это были Давыдович, Якубовский и Пленкевич.

13 мая н. ст. под станцией Яновице, в лесу, когда хотели, было, перебраться назад, за границу, и тут часть людей захвачена и доставлена в Варшаву.

В Подольскую губернию пробрался какой-то Иосиф Дуцкий, участь которого нам неизвестна. На Литву, в Гродненскую губернию, проник тамошний помещик Михаил Воллович. Как имевший в этих местах множество знакомых и любимый своими крестьянами, он довольно долго укрывался в лесах и по хуторам, наконец взят посредством облавы из чужих мужиков¹.

Последней, сколько известно, перешла границу при селении Раздиках Плоцкой губернии в самом конце апреля н. ст. партия Завиши из шести человек, набранная в княжестве Познанском. Позже, в Царстве, при переправе ее через Вислу, пристали к ней оставленные своими людьми Гецольд, Шпек и еще несколько человек из других банд. Испытав те же самые неудачи, как и другие партии, Завиша был атакован в Кросненском лесу гусарами эрц-герцога Фердинанда полка и взят со всеми своими людьми в начале июня 1833 года².

Всех захваченных с оружием в руках постигла участь государственных преступников первого разряда.

Люди из банды Дзевицкого: Иосиф Куржиальский, Антон Ольковский и Василий Пршеорский расстреляны в Варшаве 25 апреля ст. ст. в 5 часов утра; а четвертый, Евстафий Рачинский, по молодости лет, избавлен от смертной казни, прогнан сквозь строй через 500 человек четыре раза, также в Варшаве, 28 апреля ст. ст. в 5 часов утра, и после сослан в каторжную работу.

Люди Лубинского и Вялковскаго — Карчевский и Давыдович — повешены в Люблине 10 мая ст. ст., а Якубовский и Пленкевич — 11 мая ст. ст., на том месте австрийской

¹ В брошюре «Artur Zawisza i Michal Wollowicz», кажется пера Леона Зенковича (Pariz, 1859) рассказываются кое-какие подробности о скитаниях Волловича.

² Подробности его походов, начиная с Парижа до Варшавы, мы сочли более удобным рассмотреть отдельно. (Приложение 3).

границы, где ее перешли, именно близ местечка Борова Яновского уезда Люблинской губернии, с надписью на виселице их имен и почему понесли такую казнь.

Пойманный тогда же шляхтич Иосиф Берини (унтер-офицер корпуса Раморино), в уважение того, что взят просто в деревне, без оружия, избавлен от смертной казни, прогнан сквозь строй через 500 человек четыре раза шпигрутенем и потом сослан в Сибирь в каторжную работу. Воллович повешен в Гродне, в мае или июне 1833 года¹.

Завиша повешен на лобном месте между Вольской и Иерусалимской заставами 15 ноября ст. ст. 1833 года в 9 часов утра. Тогда же расстреляны, в том же самом пункте, состоявшие под командой Завиши: унтер-офицер бывших польских войск Эдуард Шпек, помощник экспедитора в бывшем Виленском университете, титулярный советник Степан Гецольд и шляхтич Александр Пальмарт.

Вот какие подробности рассказывали об этой казни. Все преступники были приведены в цепях. Когда стали их снимать, Завиша, одетый в обыкновенный халат, дрожал. Вероятно для того чтобы не подумали, что он дрожал от страха, он сказал окружающим: «Холодно!» (*Zimno*). Потом спросил тоже по-польски: «Нет ли тут кого-нибудь, кому бы я мог передать мою последнюю волю?» (*Czy niema tu kogokolwiek, któremu bym mógł odkryć moja ostatnią wolę?*) Тогда из толпы офицеров отделился капитан Массон², адъютант губернатора Витта, и подошел к Завише. «Скажите моей матушке, что я умираю достойным ее сыном!» (*Proszę powiedzieć mojej matce że umieram godnie jéj!*) проговорил он, так что все близ стоявшие слышали. В это время раздались три залпа: экзекуция с тремя товарищами Завиши кончилась. Он взглянул в ту сторону и сказал: «Отчего я не умираю военной смертью?» (*Dla czego nie umieram wojskowa śmiercią?*) Стали надевать на него смертную рубашу. Завиша сорвал ее и бросил. Кликнули ксендза и предложили

¹ Взят 14 или 15 мая н. ст., если верить цитированной выше брошюре «*Artur Zawisza*».

² Впоследствии начальник почт в Варшаве.

ему успокоить осужденного. Ксендз подошел с крестом и только что произнес слова: «Провидение и справедливость Господня...» (*Opatrzność i sprawiedliwość Boska*), — Завиша прервал его и сказал: «Провидение и справедливость! Если б они существовали, этого бы не было!» (*Opatrzność i sprawiedliwość! Gdyby one istniały, tego by nie było!*) И затем пошел к эшафоту. Последними его словами были: «Когда бы у меня было сто жизней, все бы их я отдал отчизне!» (*Kiedy bym miał sto żyć, wszystkie bym ofiarował mojej ojczyźnie!*) Все время перед казнью он стоял прямо, подняв голову. Товарищи его были несравненно больше смущены, и ни один из них не произнес ни слова¹.

17 ноября ст. ст. расстреляны в городе Липне (Плоцкой губернии) люди разных банд: шляхтич Павел Войткевич, служивший в польских войсках; рядовой тех же войск Григорий Зайонц и дезертир, рядовой Симбирского егерского полка, Игнатий Морозов.

18 ноября ст. ст. расстреляны в городе Калише унтер-офицеры бывших польских войск: Антон Винницкий и Иосиф Домбковский.

Сверх того, тогда же рядовой Брестского пехотного полка Максим Гавриленко, рядовой бывших польских войск Петр Левицкий, рядовой Луцкого гренадерского полка Григорий Загребельный и какой-то Ляховский прогнаны сквозь строй: первые два — через 500 человек по три раза, а последние два — через 500 человек по два раза, а затем сосланы в Сибирь в каторжную работу.

Тем временем Заливский с Дмуховским, не находя нужным подвергать себя опасности в Русской Польше и более или менее зная о бедственной участи вторгнувшихся банд, решились воротиться в Галицию и огласили *отсрочку* восстания. Собственно Заливский и все его друзья были убеждены, что *дело кончено*, игра проиграна безвозвратно; но старый герой, которого самолюбие было глубоко уязвле-

¹ Сообщено одним генералом, находившимся при экзекуции. Все приведенные здесь слова Завиши он слышал своими ушами.

но, над кем все смеялись, кому не было спокойного угла, где бы скрыться, — искал себе какого-нибудь выхода, хоть бы в тюрьму или на эшафот, лишь бы спрятаться скорее от тьмы проникающих его насквозь глаз. Он твердил всем и каждому, что «роковые и непредвиденные обстоятельства расстроили предприятие, но что летом того же года оно непременно возобновится». В первых числах июня по н. ст. он даже выпустил в свет *Воззвание к Галицианам*, где рисуется весь как в зеркале, со всей его детской недалекостью и самым необузданным честолюбием. Все это подложено, однако, тем отчаянием, которое овладело тогда его душой. В самом конце он прямо говорит: «Смерть будет во всяком случае одна, с оружием ли в руках, в тюрьме ли, на эшафоте ли»¹.

Галициане, читая это воззвание, только улыбались. Затея Заливского никогда не имела одобрения во всей массе поляков. В особенности все умеренное вооружалось против него с самого начала, когда еще ничего бедственного не случилось. Но теперь, когда все, поднявшее оружие, было рассеяно или погибло; когда в Париже все разнообразные кружки соединились для того, чтобы отслужить панихиду по жертвам Наезда, расстрелянным в Царстве Польском²: теперь на Заливского, призывавшего соотичей к повторению Наезда, смотрели прямо как на помешанного, которого надо схватить и посадить в желтый дом. Так как, однако же, от его воззваний никто не ожидал никакого результата, то его оставили в покое и свои, и австрийское правительство, которое знало о месте его пребывания. Вдруг случилось происшествие, которое изменило ход дел: кучка отчаянных людей, окружавших Заливского, как и он, не думавших нисколько класть оружие, несмотря на горькие неудачи, на общее негодование и отсутствие всяких средств, будучи недовольна своим вождем, который, в раздражении на весь свет, принял чересчур диктаторский тон с подчинен-

¹ См. Приложение 4.

² 7 июля н. ст. 1833 (I. VIII Biblioteki Pisarzy Polskich. S. 179). На этой панихиде были: Чарторыйский, Ушинский и другие белые.

ными, и, кроме того, потеряв в него всякую веру, основала особый *Комитет польских карбонаров* (Komitet Węglarzy Polskich), с намерением действовать заодно с другими подобными обществами всех стран, имея в виду не только освобождение Русской Польши, но и двух других, а потом и целого света...¹

Это обстоятельство положило предел существованию всей этой партии. Карбонаров и Заливского арестовали, судили во Львове в течение нескольких месяцев, как государственных преступников первого разряда, после чего главные зачинщики, в числе 12 человек², посажены в швейцарскую крепость Куфштейн, более или менее на продолжительный срок³, в цепях по рукам и по ногам, в 6,5 фунтов каждая. Двое не выдержали заключения и умерли (Забоклицкий и Ролинский), а другие потеряли навсегда здоровье. Заливский, выпущенный в 1848 году, с опухшими руками и ногами, глядел стариком и вскоре умер.

Несмотря на эти бесчисленные жертвы, на несчастье целых семейств, отсюда проистекавшие, работы красной партии все-таки продолжались. Те же самые цели преследовались с горячностью невероятной; один план сменял другой, новые эмиссары заступали место прежних, погибших, и пробивались сквозь всякие препятствия, можно сказать, с нечеловеческой энергией. Чем долее заживалась эмиграция на чужой почве, тем более терялись в ней понятия о том, что делается дома. Родимый край представлялся скитальцам в самых неясных красках, где все казалось возможным. Страшная тоска по родине еще более усиливала иллюзию.

¹ Сочинение Борковского «Wyprawa Partyzancka».

² Иосиф Заливский, ксендз Викентий Забоклицкий, Леопольд Бялковский, Карл Борковский, Константин Слотвинский, Александр Комарницкий, Генрих Диоховский, Фердинанд Белинский, Адольф Ролинский и трое чехов, пограничных стражей: Фишер, Бергер, Штих. Первые четверо: Заливский, Забоклицкий, Бялковский и Борковский были осуждены первоначально на смерть через повешение (Wyprawa Partyzancka. S. 68).

³ Забоклицкий, Бялковский и Борковский — на 15 лет, а Заливский — на 20 лет.

«Побуждаемые этой тоской и вместе революционной горячкой, эмиссары часто являлись в край без всякого плана, не имея ни полномочий, ни позволения Централизации, даже не давая себе отчета в том, что должно делать», — говорит их же брат, красный повстанец¹.

Большая часть эмиссаров были люди ничтожные, которых имена пропали для потомства и истории. Но были и такие, которым удалось наделать шума и память о которых сохранилась в Польше до сих пор.

Из таких более всего выдвигается после экспедиции Заливского капитан бывших польских войск Симон Конарский, человек замечательный по уму и твердости характера. Будучи той же школы, что и Заливский, также мечтавший перестроить мир посредством ряда революций и также не умевший никому подчиниться и вечно смотревший в начальники всего, в диктаторы, — Конарский искал себе деятельности, искал места, где бы отличиться, стать по-виднее².

В то время как Заливский сочинял свой поход в Польшу, составилось в Италии особое революционное общество, под именем *Юной Европы*, потом *Юной Италии*, считавшее своим главой Иосифа Мадзини. Это общество затеяло экспедицию против Савойи, куда вовлечено множество поляков, и всеми войсками командовал тоже поляк, генерал 1830 года Раморино.

Конарский, не приискавший еще для себя соответственных занятий, бросился в эту экспедицию. Судьба его известна: Раморино отступил (в феврале 1834 года), войска его разбрелись. Общество, управлявшее всем этим движением, открыто. Члены его подвергнуты арестам, кто

¹ Записки Авейде, I, 163. Он говорит, что «эмиссарская болезнь продолжалась у них если не до Крымской кампании, то по крайней мере до 1848 года...»

Централизация — особое учреждение Демократического общества. Ниже будет точное объяснение этого слова.

² Из наших официальных бумаг видно, что Конарский и Бернсдорф были арестованы прусской полицией в Прейсши-Эйлау, в 1833 году.

не успел бежать; а полякам, пребывавшим в Швейцарии, тамошнее правительство предложило выехать. 30 человек взяли паспорта немедленно; потом выехало еще 50. Остальные, ядро кружка, который назвался *Юной Польшей*, в соответствии *Юной Италии* Мадзини, решили отправиться в виде особых, новых эмиссаров в Русскую Польшу: посмотреть, не оставила ли по себе каких следов экспедиция Заливского, нельзя ли чего сделать, связать разорванные звенья, сплотить разбитые кружки и вести затем дело спасения далее.

В числе пустившихся странствовать по Польше с такими целями был и Конарский¹.

Побродив по Царству Польскому, Литве и Руси и встречая везде препятствия и равнодушие, весь этот народ вскоре собрался в Кракове, безопасном в то время приюте всяких повстанцев, где, что ни день, творились разные революционные общества, строились планы за планами, и один подкапывал другого. Никакой историк не опишет всех кружков, возникших в Кракове от той поры до наших дней; никто не выйдет из этого лабиринта.

Конарский послушал там всяких толков и криков, представлявших в общем совершенный хаос, ничего не мог понять, ничего вынести оттуда, тем не менее пристать к какой-либо партии — и бежал снова во Францию, в Париж, где польские революционные партии все-таки представляли некоторый порядок, партия отделялась от партии, существовала даже революционная литература. Не решившись, вследствие своего независимого характера и воззрений, подчиниться кому-либо, стать под чьи-либо знамена, Конарский, как чистый поляк, начал думать об основании *своего собственного* кружка и для этого принялся издавать газету «Север» (*Pyłnoc*²), другими словами, скликать себе воин-

¹ Wizerunki polityczne dziejów Państwa Polskiego. T. XXIX Bibliot. Pisarz, Polskich, Lipsk, 1864. S. 154.

² Вот ее программа, оглашенная при первом номере: «Предпринимаемая газета будет посвящена счастью северо-восточных народов. В первых номерах она коснется следующих предметов: Взгляд на общее положение Европы; Назначение Польской эмиграции; О религии; О мешанах Польши

ство. Но труд этот был ему не по силам: газета, не имевшая ни сотрудников, ни подписчиков, сама собой остановилась. Сидеть, ничего не делая, когда другие все-таки копошились в своих муравейниках, Конарский по своей живой и беспокойной натуре не мог. Ему нужна была хоть какая-либо деятельность. Как это бывает в подобных случаях, когда человек ищет себе усиленно занятий, сочиняет их, если они не сочиняются сами, Конарскому, при разговорах с лицами, прибывающими из Польши, стало казаться, что там после его отъезда многое переменялось, что семена, посеянные им и прочими эмиссарами, дали свой плод, вследствие чего можно кое-что сделать. Ко всему этому, ко всем фантазиям, которыми были тогда полны головы многих эмигрантов, присоединилась еще и любовь: Конарский оставил на Литве коханку. И вот, переговорив с несколькими кружками и получив благословение *Демократического общества* (которого прямым агентом никогда не был), Конарский снова помчался в Русскую Польшу: готовить ее к новому, неопределенному по времени восстанию, делать что-то такое, чему бы и сам, положив руку на сердце, не приискал настоящего названия.

В ту пору *Демократическое общество* (1835) стало более и более подчинять себе другие красные кружки и выдвигаться в эмиграции вперед, как бы главная, предводительствующая партия. *Общество Польских карбонаров*, *Общество права человека и гражданина* и другие стали мало-помалу меркнуть и сходить с горизонта. Такими успехами *Демократическое общество* было обязано энергии и ловкости своих вождей, своему, так сказать, коллективному правительству, из пяти членов, которое заменило тогда начальствующие секции Парижа и Пуатье¹, назвавшись Центризацией — слово, которое долго было употребляемо в

и России; О собственности; О конституциях; О революционной силе; О народной войне; Ложная точка зрения, с которой до сих пор смотрели на шляхту; О Русских боярах и рабах; О героях России».

¹ Но агитирующие секции по городам, равно в Париже и Пуатье, все-таки остались.

Европе неточно и действительный смысл которого знали только посвященные.

Эти вожди, эти члены Централизации были люди образованные и бойкие писаки. Они выпустили в свет множество брошюр, которые читались с жадностью и с трепетом сердца всей молодежью эмиграции и края, чуть-чуть не заучивались наизусть и с течением времени (в соединении с другими элементами) образовали тот Народный катехизис¹, который, не будучи писан никаким каноником, имел и доныне имеет силу писаного религиозного устава для значительной массы поляков, жил и действовал долго и еще будет действовать в грядущих поколениях. Парадоксы, построенные с извращением исторических фактов предводителями сказанного кружка, были парадоксы самого заманчивого, эффектного свойства. Они нравились всем, и своим, и чужим, и в вихре этих красивых и звонких фраз закрутился не один солидный и крепкий ум. Надо отдать справедливость Централизации: она работала сильно и неутомимо. Она, а

¹ Позже был напечатан и отдельно, под редакцией некоего Правдовского, который работал отдельно от Демократического общества, но иное из его трудов Демократическое общество решилось признать за свое произведение и самого Правдовского, по его значительному влиянию на массы, признавало почти своим членом. Но само общество катехизиса никогда не выдавало.

Катехизис Правдовского напечатан в приложении к книге Самарина «Иезуиты и их отношение к России» (Москва, 1868).

Вот, насколько известно, имена членов Централизации за десятилетие, с 1835-го по 1845-й: Лукьян-Иосиф Зачинский, Генрих Якубовский, Фома Малиновский, Адольф Христовский, Роберт Хмелевский, Александр Мольсдорф, Виктор Гельтман, Иван-Непомук Яновский, Иосиф Высоцкий, Людвиг Мирославский, Иван Альциата, Теофил Виснёвский, Альберт Дараш.

Общество могло сменять членов Централизации ежегодно, на выборах, которые происходили в памятный для всех поляков день 29 ноября. Председателя в Централизации не было. Каждый из членов председательствовал неделю, поочередно. Жалованье членов простиралось до 45 франков в месяц, если было сверх того вспомоществование от французского правительства, а если его не было, то 75 франков. Жили члены в высшей степени умеренно, даже бедно. Сюртук Якубовского, невероятного цвета, был известен целому Пуатье.

никакая другая партия, ворочала делами всех заговоров с того времени вплоть до наших дней. Это был враг, как враг, всех трех правительств, разделивших Польшу. Остальные кружки, взятые вместе, не сделали и половины того, что сделало одно Демократическое общество.

Первый, основной парадокс, ставший польским *Credo*, который поляки надеялись навязать целой Европе, был такого свойства:

«Польша, слив воедино десять веков тому назад многие близкие друг к другу по языку, происхождению, нуждам и характеру поколения, развивала, в пределах известных сословий, демократическую идею славянства, подавленную в иных племенах чуждой властью и насилием, и одна защищала европейскую цивилизацию от напора всякой азиатской дичи: татар, турок и москалей».

«Когда же освобожденная человеческая мысль объявила на Западе войну старому порядку вещей, в защиту которого восстал могущественный абсолютизм Севера, Польша, как передовая стража европейской цивилизации, верная своему призванию, вступила в борьбу и в этой борьбе погибла. Абсолютизм окреп и усилился на ее могиле. Спасение Европы было отложено. Отсюда следует, что дело воскресения Польши необходимо для всех, есть дело не одной только Польши, а целого человечества».

Этими мыслями начинался знаменитый *Манифест* Демократического общества 1836 года, переведенный вскоре на три главных европейских языка: французский, немецкий и английский.

Конечно, тут подразумевалось, что все нации или хотя бы в нациях, что стремится к истинной свободе, должны всемерно помогать Польше, думать об ее воскресении, как бы о своем собственном деле, стараться восстановить эту «передовую стражу европейской цивилизации».

Но это только подразумевалось. На самом деле помощи ни у кого не просили. Практические умы вождей очень хорошо понимали, что Европа не протянет им руки, когда вспыхнет революция, что это не в ее интересах, что Поль-

ша должна встать своими собственными силами. И потому строился еще такой парадокс:

«Всех поляков 20 миллионов (!). Если поднять всю эту массу, то можно ниспровергнуть коалицию всего света. Но как поднять? Как вдохнуть во всех одну отважную, доблестную душу? Нужно работать усердно, неусыпно, день и ночь, энергически; просвещать темных, все отдать народу и всего достигнуть единственно народными силами; очиститься от всех старых грехов, сделаться достойными великой роли, которую еще должна разыграть Польша перед вселенной — и тогда...»

Вот что главным образом лежало в основании принципов Демократического общества¹. Манифест не трогал некоторых чувствительных струн Европы и захватов. Последующее время наслоило много лишнего. Воображение новых, менее осторожных и церемонных сочинителей полетело гораздо дальше. В Европе новые авторы принципов уже не только не нуждались, но считали ее просто неспособной помочь такому делу, как освобождение Польши с другими, истыми славянами, слабой, одряхлевшей, измученной страшными трудами, которые она понесла для человечества. В русском правительстве усматривался главный враг, с которым никак не могло быть примирения, даже временного, лицемерного. Напротив, каждый поляк и каждая полька должны питать к нему постоянное недоверие, презрение и ненависть. «Матери в своих семьях, ксендзы на амвонах и во время исповеди, учителя в школах, все и везде должны научать этому один другого, напоминать один другому об этих не то что чувствах, но священных обязанностях всякого поляка»².

Конарский, наслушавшись принципов Демократического общества, вскоре после его отбытия высказанных в *Манифесте*³, помня кое-что из преданий *Юной Италии*

¹ Весь манифест можно видеть в сочинениях Гельтмана (*Демокрасуа Polska na emigracyi. Bibl. Pisarz. Polskich, XXXV. S. 3*).

² Авейде, I, 106 и далее. Русский архив, 1870. S. 247—251.

³ Конарский отправился весной 1835 года. Манифест выдан в начале 1836-го.

и Юной Польши, наконец, набравшись кое-каких идей в Краковском кружке *Союз польского народа* (*Stowarzyszenie Ludu Polskiego*)¹ — пустил все это под собственной своей окраской сперва на Волыни, потом в некоторых частях Литвы. Он работал горячо и страстно, распространяя революционные брошюры, вербовал людей для будущей революции и заставлял их присягать по форме присяги *Союза польского народа*. В заключение он даже завел типографию, где печатал мелкие воззвания.

Централизация, узнав о таких решительных действиях Конарского и видя, что он чересчур горяч, увлекается ненужными подробностями, забывая о главном, действует иногда, как поэт, даже как ребенок, послала в край особых агентов отыскать счастливого проказника, постараться склонить его на свою сторону и ввести в комбинации, которые тогда замышляла. Но посланные его не нашли, и Конарский до конца руководствовался или советами друзей, или собственными фантазиями, будучи в главном все-таки ратником партии, которая его искала². Отыскать Конар-

¹ Центральная власть этого кружка носила имя *Главного сбора* (*Zbor Gdowny*), где членами были депутаты от Земских сборов (*Wyslancy zborów ziemskich*), иначе сказать *Земель* (*Ziemia*), на которые делилась вся Польша 1772 года и которых было 7 — 9. Затем шли *обводы*, *округи*, *гмины*. Число членов *Главного сбора* было неограниченно. Сам Главный сбор мог принять, собственной своей властью, какое угодно лицо в свое лоно, если находил это нужным. Требовалось только присутствие при этом и согласие крестьянского представителя (*representant wloscianski*), без которого заседание Главного сбора не имело надлежащей силы и значения. Всякое заседание Главного сбора и других открывалось следующей молитвой председателя: «Боже, который прежде всего установил любовь к ближнему, пошли благословение собравшимся во имя Твое; дай восторжествовать добродетели; положи предел господству преступлений; избавь Твой народ от рабства; наполни сердца наши, споспешествуй намерениям нашим. Аминь!» Затем председатель произносил соответствующую обстоятельствам речь, и заседание начиналось. Если было кого принять — принимали, приведя к присяге.

² Альциата (*Wypadki w 1846 roku*, s. 154). Он говорит между прочим: «Если бы работы Конарского вошли в комбинацию, которой инициатива принадлежала Централизации, то приготовили бы, может статься, верные материалы для восстания».

ского было нелегко: он укрывался под разными именами и одеждами по хуторам помещиков, по глухим монастырям, и наша полиция не знала об нем до тех пор, покамест Паскевич не получил известий из Франции о работах польских эмиссаров в нашей Польше, с прежними ее провинциями, причем сообщались имена и приметы главных, в том числе и Конарского. Само собой разумеется, что сейчас начались розыски¹. Конарский счел почему-то более удобным перебраться в это время на Литву под именем Януша Немравы (Неловкий), где пропагандировал с такой же смелостью.

В начале 1837 года государь был проездом в Вильне. Когда тамошний генерал-губернатор, князь Долгорукий, стал докладывать его величеству о совершенном спокойствии края, император заметил: «А Конарский?» — и показал депешу, свидетельствовавшую о работах Конарского с его друзьями в Литве.

Поднялась новая скачка всевозможных полицейских агентов. На многих почтовых станциях были посажены особые наблюдатели, которым приказано всматриваться во всех проходящих и проезжающих. Друзья советовали Конарскому скрыться. Один, даже почти насильно, подвез его на своих лошадях к границе; но Конарский находился тогда в положении игрока, которому сильно везет. Он уже верил в свою звезду и не сумел вовремя положить карты. Посмотрев на черту, за которой ожидало его вероятное спасение, он повернул назад, в край, — и очутился на так называемых

¹ Приказ Паскевича военному генерал-полицеймейстеру действующей армии о разыскании Конарского носит дату: 5/17 сентября 1835 года № 1171. Но была еще прежде общая бумага, в виде письма, написанного по приказанию фельдмаршала к тому же лицу (генерал-майору Стороженке) от 21 июня (3 июля) 1835 года, № 801, где перечислены все выехавшие тогда из Франции эмиссары: Луциан Платер, под именем Лоренса (Laurence), Михайло Карский (он же Донский), Наполеон Эгерсдорф, Леон и Адольф Залесские, Михаил Ходзько и Симон Конарский, с обозначением их примет. Приметы Конарского означены так: «Лет 25 — 30, роста среднего, волосы светло-русые, брови светлые, глаза голубые, нос короткий, рот обыкновенный, усы и гишпанка русые, лицо круглое, здорового цвета; тучен. Псевдоним: Гайпельман или Гэгельман».

Свенто-юрских контрактах в Вильне, где едва не попался¹. Это было весной 1838 года. Какой-то студент Виленской Медикохирургической академии вывез Конарского по Минскому тракту, но на станции Кржижовице оба они были арестованы и отправлены в Вильну, единственно потому, что Конарский, во время перемены лошадей оставшийся на телеге, чересчур прятал свое лицо в воротник шинели².

В Вильне очень скоро дознались, *кто это*. Началось следствие, которое обнаружило довольно обширный заговор, обнимавший Литву, юго-западные губернии и Царство Польское и имевший правильную организацию, народную кассу и типографию. Он носил название: *Союз народа польского или Конфедерация блюстителей польской народности* (Stowarzyszenie Narodu Polskiego, czyli Konfederacya stróżów Narodowości Polskiej)³.

Множество разного народу было привлечено к этому следствию и посажено под аресты, строгий в Варшаве и до невероятности снисходительный в Вильне. Сам Конарский содержался в бывшем здании Базильянского монастыря, где содержался, четырнадцать лет перед тем, Мицкевич с товарищами Филаретами и Променистыми⁴.

Многие караульные офицеры, поляки и русские, всячески облегчали Конарскому его заточение: брали от него записки и передавали другим арестантам или кому-нибудь в городе. Конарский, незадолго до казни, написал стихи, где в одном месте отказывается от Бога и неба, но кончает четверостишием, смысл которого таков: «В этой келье пережил я страдания всех сердец, отсюда видел Польшу, залитую морем слез... Там не думал о жизни, здесь не думаю о душе... Только Польшу спаси, о Господи!»

¹ Подробности об этом в брошюре (кажется, Леона Зенковича): «Szymon Konarski, Paryż», без года, стр. 17—18, если только ей можно верить.

² Цитируется брошюра, стр. 18. Авейде говорит, что за ними была отправлена погоня. I, 166.

³ Присягу этого общества см. в Приложениях.

⁴ Об этих и других партиях в Вильне см. Мохнацкий М. ...Т. II. Познань, 1863. С. 201.

Потом написал он письмо к матери, где опять становится верующим и богобоязненным католиком. Как-то случилось, что то и другое дошло до потомства¹.

В день его казни, 13 февраля ст. ст. 1839 года, огромные толпы народа облегали крутом, с самого раннего утра, лобное место за Троцкой заставой.

Осужденного привезли в санях, в 12-м часу дня. Всю дорогу он бросал народу разные отрывочные фразы, а в одном месте вынул из саней ногу и тряхнул цепями. Раз жандармы, скакавшие около саней, загородили его от народа, и он сказал: «Посторонитесь, братцы, добрые люди хотят меня видеть!» Перед тем как должно было остановиться, Конарский произнес: «Какая толпа! Умираю, точно король!»

Когда стали надевать смертную рубашу, Конарский обратился к распоряжавшемуся экзекуцией офицеру и просил не завязывать ему глаза, но этого не нашли возможности исполнить. Повязка сбила голубую шапочку, бывшую на голове осужденного, — подарок его коханки Эмилии. Он попросил кого-то, чтобы ее надели опять, и это было сделано.

Лишь только труп упал, массы людей, вероятно сговорившись заранее, бросились к столбу, колоди и резали его ножами, чтобы иметь на память куски дерева, к которому был привязан Конарский. Кто-то вырвал из рук квартального голубую шапочку и пропал с ней в толпе. Похитили из саней верхнюю одежду расстрелянного. После ходили слухи, что труп, зарытый на месте казни, был вырыт; а из цепей дамы поделали себе кольца. Рассказывалось вообще много странного и невероятного. Следственные комиссии, сменявшие одна другую, были сбиты с толку. Одна как бы нападала на след нового заговора, другая находила такие

¹ Стихи можно видеть в брошюре «*Szymon Konarski*», с. 23—27. Все чересчур богохульное там, однако, выпущено, но многие поляки знают эти выпущенные места наизусть. Письмо Конарского к матери см. в Приложении 6.

открытия излишним увлечением следователей. Тюрьмы то наполнялись арестантами в такой степени, что не знали, куда сажать, то пустели снова. Из всего написанного об этом времени (тотчас после казни Конарского) официально и неофициально едва ли извлекут когда-нибудь настоящую истину.

Глава вторая



Заговоры и революционные взрывы 1846 года

На всем пространстве Польши царствовало внешнее спокойствие несколько лет сряду; тем не менее подземные силы работали своим чередом под руководством той же Централизации, работы которой, в соединении с Демократическим обществом, тогда образовавшимся, клонились к тому, чтобы подготовить Польшу к той общеевропейской революции, о которой говорилось между всякими революционерами давно и которая, по их расчетам, могла вспыхнуть весьма скоро.

В 1839 году агенты общества, управлявшие секциями и округами, получили приказание Централизации перестроить эти секции и округа из ведущих пропаганду на гражданскую и военную иерархию. Между 1840 и 1841 годами эта организация стала мало-помалу принимать определенный образ. Прежде других устроились: Великое Княжество Познанское, Западная Пруссия, Вольный Краковский округ, с воеводством того же имени в Царстве, Галиция по реке Сан и незначительная часть Малороссии¹. Позже остальная часть Царства, Жмудь, небольшая часть Литвы и Восточной Галиции².

¹ В показании 14 октября 1846 года в Познани Мирославский на вопрос, что он понимает под именем Малороссии, отвечал: «Волынь, Подол и Украину, землю между Днепром, Днестром, Припятью и Черным морем. На востоке Малороссия граничит с Полтавской губернией, на западе — с Галицией, на юге — с Бессарабией, на севере — с Литвой. Главные города: Киев, Каменец и Житомир».

² Показания Мирославского в Познани 10 октября 1846 года.

Иосифу Высоцкому, хорошо образованному офицеру бывших польских войск, Централизация предложила открыть в Париже курс военных наук для молодых поляков, а Мирославского просила быть ему вроде помощника по той же кафедре. Мирославский, до тех пор воевавший с Централизацией в журналах целых семь лет, со времени ее основания (1834 – 1842), и укоряемый ею и многими другими партиями за то, что променял родной язык на французский, охотно согласился помогать Высоцкому: во-первых, потому что, в сущности, был дитя тех же принципов, а во-вторых, смертельно любил рисоваться перед публикой, ораторствовать, учить. Ему как бы польстили, сделав его профессором молодежи. Он стал бойцом Демократического общества, бойцом Централизации, какого она еще и не видала, бился за нее против всех кружков и в ноябре 1842 года принят в члены Демократического общества, в секцию Парижа¹.

Между кружками, желавшими ускорение взрыва, был опаснее всех кружков так называемых Плебеев (Plebejuszów) под начальством Стефанского, в Тарновском округе Восточной Галиции. Он состоял по преимуществу из ремесленников. Все усилия Централизации подчинить его своей власти, а равно подобный ему кружок в Царстве Польском, ксендза Сцегенного, были тщетны. По крайней мере, еще Стефанский с ремесленниками только шумел и грозил подняться, но не поднимался; а Сцегенный со своими крестьянами, вопреки советам чуть ли не целого Царства и множества друзей в Галиции и Познани, произвел возмущение в Кельцах (1844), кончившееся для него и для его сообщников очень печально: его подвели под виселицу и сослали в каторжную работу, а подчиненных ему крестьян (13 человек) наказали шпицрутенном и тоже сослали в каторжную работу².

Общество (внутреннее, в краю) и его провинциальные секции на некоторое время сблизились и выказали род

¹ Его же показания в Познани 10 октября 1846 года.

² Воззвание Сцегенного, в виде послания папы Григория, см. в Приложении 7.

повиновения уполномоченным агентам Централизации, между коими был даже и член ее, Малиновский, человек серьезный, осторожный, враг всего хаотического и бесхарактерного. Он жил тогда в Прусской Польше и видел хорошо, что заговору до надлежащей зрелости еще далеко и о взрыве мечтать может разве какой-нибудь безусый мальчик.

К концу 1844 года, едва полиции трех держав попри- тихли, кружки нетерпеливого свойства снова начали бурлить и выходить из повиновения Централизации. Кроме Стефанского, опять отделившегося, явился довольно сильный и влиятельный кружок какого-то Мальчевского и хотел забрать все в свои руки. Малиновский, пробившись с ними понапрасну, бросил все и уехал в Версаль — тогдашнее местопребывание Централизации. На заседании, назначенном по поводу его возвращения, был обсуждаем вопрос: «Что же теперь делать? Оставить ли несогласные с Демократическим обществом партии на произвол судьбы и самим продолжать работы в том же духе, то есть готовить материалы к возможно скорой революции, или поискать еще средства к примирению с партиями и удержанию всей массы заговорщиков в зависимости от Централизации?»

Мнение Малиновского было: бросить несогласные партии, исключить их из союза. Но Альциата возразил, что эта мера не годится, потому что приведет к несвоевременному и бестолковому взрыву, который, без сомнения, потрясет и общество, погубив множество преданных людей, и остановит его действие на самое неопределенное время. Он добавил, что увлекаться в негодовании на такой ход дел и терять от этого энергию несправедливо, что иначе заговор идти не может; что это нетерпение иных весьма естественно, но что они все находятся под гнетом наблюдающих за ними правительств, под страхом быть ежеминутно открытыми. Взглянув, стало быть, на отпадение товарищей с этой снисходительной точки зрения, необходимо (полагал Альциата) еще раз воззвать к примирению: обещать скорый взрыв и действительно идти к нему всеми силами, чтобы это было

для всех заметно; и, если посчастливится дойти хотя до приблизительного окончания приготовлений, подать знак.

С таким мнением большинство согласилось. На стороне Малиновского оказался только один приятель его Якубовский, такой же осторожный революционер, если только еще не больше. Малиновский подал в отставку, сделавшись, по правилам Демократического общества, обыкновенным его членом. (Выйти совсем из общества он не мог.) На его место был предложен Мирославский — в виде искры, которая должна была воспламенить подготовленные мины, оживить затянувшиеся работы¹.

Действительно, если искали такой искры, трудно было найти что-либо соответственное. У Мирославского давно строились в уме планы, как подвинуть дело вперед. Сверх того, он был тех убеждений, «что даже самые ошибки, самые бесплодные революционные предприятия (как, например, Заливского), если только поведены по плану предводительствующей школы, принесут этой школе несравненно более выгод, нежели спокойная десятилетняя пропаганда»².

В Централизации все изменилось. Из тихой и медленной она стала бурной и стремительной. Мирославский как оратор, как человек живой и неуступчивый легко забрал в руки своих спокойных и миролюбивых товарищей. Он сделался чем-то вроде бессменного председателя Централизации. Чтобы удовлетворить начертанному плану, то есть вести заговор к скорейшему взрыву и расположить нетерпеливых в свою пользу, Централизация разослала приказание по главным секциям, чтобы они изменили, как можно поспешнее, свои комитеты на особую военную организацию, правила которой тут же и сообщались. Уполномоченные агенты Централизации³ принялись работать взапуски друг перед другом. Все

¹ Все это из показаний в Познани, 10 октября 1846 года, и из статьи Альциаты: *Wypadki w 1846 roku*, Biblioteka Pisarzy Polskich, t. XXIX.

² Показания 9 октября 1846 года в Познани.

³ В Галиции действовал Виснёвский, в Малороссии Руфин Пётровский, по арестовании которого (в декабре 1843 года) на его место назначен

это были сильно-красные, исключая одного Гельтмана, управлявшего заговором в княжестве Познанском и в некоторой части Русской Польши. Он был довольно умеренный человек, и ему вверена была высшая власть — заведование всеми другими частями. Он один сдерживал кое-как необузданных.

В Русской Польше, вследствие арестов по делу ксендза Сцегенного и усилившихся потом наблюдений за всяким беспокойным народом, военная организация заговорщиков долго не устанавливалась. Литва помнила еще казни Конарского, Волловича и последовавшее затем опустошение в рядах союза и неохотно шла на удочку агентов Версаля. Малороссия никогда не обещала много повстанцам. Только Вольный Краковский округ с некоторой частью Галиции и Познанского княжества завели довольно скоро кое-какую военную организацию и, вообразив, что дошли до конца, обнаруживали сильное нетерпение. Гельтман дал знать товарищам в Версаль, что он еще ладит с прежними кружками, но явилось много новых, которые никого не хотят слушать и рвутся к восстанию; что необходимо поэтому прислать в край военного человека со значением, кто бы мог или задержать движение, или (когда найдет это неудобным) направить все таким образом, как будет лучше в военном отношении.

Централизация отправила в Познань Мирославского, чтобы он осмотрел положение дел с чисто военной точки зрения и решил, отвечают ли средства заговора тому нетерпеливому стремлению, какое вообще выказывается в партиях.

Мирославский прибыл в Познань в начале марта 1845 года, увиделся немедленно с Гельтманом и узнал от него следующее. Партия Мальчевского, будучи скомпрометирована, не находила для себя иного выхода, как сблизиться с Демократическим обществом. Ей последовали в княжестве

Виснёвский, а на место последнего в Галицию — Эдуард Дембовский. Мирославский скрыл еще двоих, в чем и сам признается.

Познанском так называемые *Старые и Плебеи*. В Галиции сторонники *жизненной правды* (prawda żywotna) и *федерация* тоже изъявили готовность слушаться военного вождя. Из Варшавского комитета пришли довольно благоприятные известия со стороны примирения советов, но организация (писали) там еще все слаба. Малороссия давала знать, что инициативы в деле восстания взять на себя не в состоянии, а готова идти в след за Восточной Галицией во всем, что бы последняя ни предприняла.

Взяв все это во внимание, Мирославский с Гельтманом постановили не начинать ничего до 1846 года, а продолжать дальнейшие приготовления к возможно скорой революции: приобретать сочувственных людей во всех сословиях, собирать деньги и делать другие необходимые восстанию запасы.

Приобретение людей не представляло далеко тех затруднений в Прусской и Австрийской Польше, как в Царстве. Страх имени Паскевича, Варшавской цитадели, Сибири и солдатской карьеры на Кавказе или в Оренбургских батальонах был тогда таков, что охлаждал горячность самых отчаянных. Командовать будущими фантастическими отрядами повстанцев в Русской Польше охотников было немного. Печальные опыты Завиши, Дзевицкого и других были еще у всех в памяти. В особенности трудно было найти командующего центральными силами Царства, то есть в Варшавской губернии. Об этом Централизация рассуждала не раз еще до Мирославского и потом при Мирославском. Наконец из рапортов Познанской организации было усмотрено, что есть в виду на это место человек с именем, со средствами и кое-каким влиянием в обществе, даже немного военный, только, к сожалению, *белый*, который (как все эти так называемые попросту *панки*) привык вести жизнь совершенно праздную, среди охот, конских скачек, ярмарочных съездов и женщин, не думая ни о каком отечестве, — и еще менее о каких-либо революциях. Речь была о богатом познанском помещике Брониславе Домбровском, сыне известного генерала наполеоновских времен, «воеводы

Царства Польского» Генриха Домбровского, имя которого вошло в народные песни и патриотические куплеты. Этот Домбровский был женат на польке самых храбрых свойств, из дома князей Лонцких, которая, вскоре по выходе замуж (1842), получила от отца в заведование прекрасное имение в Станиславовском уезде Варшавской губернии Куфлев¹, что заставило молодую чету переехать на некоторое время в Варшаву, представиться наместнику и сделать другие знакомства. Домбровские были приняты в Замке и во всех русских домах высшего круга самым лучшим образом: поддержка польской аристократии лежала, как известно, в системе управления Паскевича краем. Люди, стоявшие во главе заговора, взяли во внимание такое положение вещей. Связь Домбровских с высшим обществом в Познани и в Варшаве, большие имения там и тут, естественно, позволяли владельцу переезжать границу, когда вздумается, не возбуждая никакого подозрения властей.

В то время когда Централизация нашла командующего на самый важный пункт, во всех организациях уже не церемонились не только с белыми, но и ни с кем. Уже в 1843 году начали некоторые знакомые Домбровского в Познани подшучивать над его немецкими симпатиями², дружбой с

¹ В Познанском княжестве Домбровский имел деревни: Бронислав и Мончники, с фольварками, и Винную Гору, отданную ему в распоряжение, на известных условиях, матерью.

² По воспитанию Домбровский был более немец, нежели поляк. Когда отец его умер, ему было только два года. Мать его, урожденная Хлаповская, жила до того времени то в Познани, то в Берлине, или в имении Винная Гора, переехала на житье в Варшаву и воспитывала сына у себя дома, нанимая разных учителей. Когда ему было 13 лет, они выехали оба в Эмс, на воды, потом на зиму в Дрезден. В то время вспыхнула в Варшаве революция (1830), и Домбровские уже не воротились в Царство. Мальчик был отдан в Дрездене в частный пансион Блахмана, откуда перешел в Лейпцигский университет (1834) на камеральные науки, но пробыл там всего полгода, потому что, приехав на вакацию, летом 1835-го, в Винную Гору, где жила мать, Домбровский ужаснулся ее своими разбитными, буршевскими манерами; при том ей написали, что он участвовал в каком-то поединке и сидел под арестом. Это заставило ее перевести сына в Берлинский университет, где пробыл он тоже недолго. Его тянуло в военную

русскими и прусскими офицерами. Потом он получил несколько анонимных писем, исполненных угроз; а в начале 1845 года ему объявили напрямик, что он *должен* делать то же, что делают все, то есть нести свои силы и средства на помощь воскресающей Польше.

В самом деле, около этого времени заговор охватил уже все, что только было польского в Европе. Домбровский слышал на базаре, в баварской гостинице и других публичных местах Познани довольно открытые рассуждения поляков разного цвета о приготовлениях к самому обширному восстанию, имеющему конечной целью освобождение *всей* Польши и восстановление ее границ 1772 года. Не только демократические кружки, но и вся аристократия сочувствовала этому предприятию. Уже все ближайшие родственники Домбровского по жене: Лонцкие, Бнинские стали на сторону заговорщиков. В имении Лонцких, Свиныхах и у Бнинского в Самострелах происходили даже революционные съезды, как это бывало всегда — под видом охот. Такие же съезды бывали после в *Джокей-Клубе*, основанном под Шверином Домбровским, в сотовариществе с помещиками: Сулковским, Альфонсом Тачановским, Михаилом Мыцельским и Венсерским. В *Охотничьем клубе*, основанном помещиком Здембинским в Чевуеве, под осень 1845 года, учили молодежь ездить верхом, чем заведовали Курнатовский и частью Домбровский, как известные знатоки этого дела. Происходили и другие упражнения, с целью подготовить людей для военной службы в недалеком будущем.

службу, и весной 1836 года он был записан охотником в гвардейскую артиллерийскую бригаду, стоявшую в Берлине, служил в ней всего до зимы 1837 года и уехал потом хозяйничать и охотиться в имения Бронислав и Мончники, Схродовского обвода, Познанского княжества, завещанные ему отцом. С осени 1838 года Домбровский живет то в Дрездене, то в Берлине, в самом высшем обществе. В том же году он был представлен ко двору и снова приглашен на службу, с назначением подпоручиком в Познанский ландверский батальон. В 1844 году вышел в отставку и вел с тех пор свободную жизнь то в Русской, то в Прусской Польше, устраивая с приятелями охоты, конские скачки и кутежи. (Показание его в Познанской цитадели, 9 и 10 сентября н. ст. 1846 года.)

Домбровский, белый, праздный, лентяй, думавший до того времени только об охотах, лошадях да красивых женщинах, решительно ничего не читавший, никаких газет и журналов не бравший в руки, не заметил, как его подхватила и понесла куда-то революционная волна, и он, сам не зная как, был уже полуреволюционером: говорил с сочувствием о том же, о чем говорили все; мечтал о независимой Польше, о месте, которое в ней будет занимать, читал разные листки, являвшиеся из эмиграции, "Пшонку" и другие газетки. Прочел историю Мохнацкого и Мирославского о революции 1830 — 1831 годов, твердил патриотические стихи. В мае 1845 года был он в имении своих родственников, в Букском округе, где встретил человека одних с ним лет, то есть около 30, который рекомендовался ему помещиком Ковальским, прибывшим в ту сторону из Парижа по участию в наследственном процессе Опалинских, наделавшем в то время изрядного шума. Они разговорились. Ковальский очень скоро очаровал Домбровского и даже заинтересовал своей особой. Так как тогда вообще ходили слухи о появлении множества агентов-эмигрантов между поляками всех захватов, то Домбровский решил, что это также агент, прибывший в те места, конечно, не ради процесса Опалинских, а с другими целями. Это было действительно так: Ковальский был не кто иной, как сам Мирославский. Он объезжал различные округа прусского и австрийского захватов, всматривался в положение их повстанских дел, собирал всевозможные сведения, делал знакомства, приобретал, где было удобно, людей, сочувствующих восстанию, и к осени того же года (1845) воротился в Версаль. Он не находил заговора готовым к восстанию, но тем не менее видел, что все напряжено очень сильно, жертв принесено довольно, довольно также и скомпрометированного или хотя полускомпрометированного народа, то есть разорвавшего прежние связи с немцами и наблюдаемого полицией; взрыв мог случиться сам собой, без разрешения высшей власти — Централизации. А потому он счел необходимыми на всякий случай заняться приготовлением плана военных

действий и стал над ним работать вместе с другим членом Централизации — генералом Высоцким.

Тогда же решали они другой, не менее важный вопрос — денежный и вопрос о правильной доставке оружия и снарядов.

Уезжая из Прусской Польши, Мирославский сделал распоряжение, чтобы всякий член организации припас себе оружие, какое может, и хотя небольшое количество пороху — на первые действия. Теперь, в Версале, положено было налечь энергически на всех богатых поляков, заставить их, так или иначе, подписать на пользу восстания значительные суммы, часть которых немедленно отправить в Англию и другие благонадежные пункты, где можно заключить контракты на поставку оружия, пороху и всяких военных снарядов, секретным образом, в различные места всех трех захватов. Для ведения всех этих дел послан был в Познань член Централизации — Альциата. Помощником ему указан выехавший туда же немного прежде бывший член Централизации Малиновский.

Оба они были плохие революционеры, к тому же не разделяли нисколько нетерпение товарищей и находили заготовление оружия в особенности несвоевременным. Малиновский, не сделав ничего, воротился в Версаль и описал бывшим товарищам положение заговора в довольно печальных красках. Он утверждал, что приступить теперь к восстанию будет в высшей степени неосторожным шагом. Его мнение поддерживал друг его, член Централизации, Якубовский. Они до того спорили с остальными членами, в особенности с Мирославским, о необходимости ждать еще и, может быть, ждать долго, что Якубовский в заключение споров сказал, что подает в отставку. Так как близился срок выборов (29 ноября), то не нашли причины удерживать его на службе и назначили на его место Гельтмана, который жил тогда в Познани, по-прежнему управляя тамошней организацией. Ему написали, чтобы он, не медля, ехал в Версаль. В половине декабря (1845) получено было от него письмо, которым он уведомлял Централизацию о крайне

критическом положении их дел в прусском и австрийском захватах. «Все революционные кружки, будучи недовольны нерешительностью высшей власти (Централизации), пришли в брожение. Плебеи, стоявшие недавно на стороне порядка, теперь снова отделились и кричат, что Централизация питается туком глупцов, поддающихся ее деспотизму, а кто не так глуп, должен искать себе другого выхода... Централизации-де легко сидеть в Версале и ждать осуществления своих идей, какой-то неслыханной, возведенной в перл создания, революции, — хотя бы тысячу лет сряду; а каково ждать этого массам народу, под чутким оком трех полиций, когда заговор охватил большие пространства и того гляди прорвется, и тогда все пропало, все жертвы и усилия стольких лет!.. Глава кружка Плебеев, Стефанский, счел нужным для успокоения умов назначить общий съезд всех членов в Тарнове и попался в руки полиции. Последовало множество арестов. Опасность грозит всему заговору».

Уведомляя обо всем этом Централизацию, Гельтман находил, что «более ждать нельзя» и приглашал Мирославского уже единственно затем, чтобы он «принял начальство над заговором и вел его к взрыву в самом непродолжительном времени средствами, какие признает за лучшие по прибытии на место, какими хочет, лишь бы вел».

Подобное этому письмо получено было и от Альциаты. И он звал Мирославского на место действий.

Мирославский выехал и прибыл в Познань 31 декабря н. ст. 1845 года, но не застал уже Гельтмана: отыскиваемый полицией, он принужден был скрыться. Сведения, собранные наскоро разными путями, показали Мирославскому, что заговор далеко еще не в таком положении, чтобы можно было начинать дело. Царство Польское и Малороссия находились, относительно организации, в том же виде, как были в начале года, то есть почти не имели ничего. О Литве прибывший оттуда эmissар Рёр объявил будущему военачальнику и, может быть, диктатору, что там «все спит; молодежь глупа и неразвита; что его принимали местами как

шпиона. Если можно где начать действия, так разве между Бугом и Щарой»¹.

Мирославский занес это в свою памятную книжку и принялся усиленно работать в пользу восстания: мирил партии, собирал деньги, пополнял пробелы в организациях, писал множество инструкций, посылал курьеров, эмиссаров. Местопребывание его, беспрестанно менявшееся, конечно, покрывалось глубочайшей тайной и было известно весьма немногим.

Первые деньги, 2100 талеров, добытые у помещиков и капиталистов польского происхождения разными бесцеремонными средствами, были отправлены с Либельтом и Альциатой во Францию для найма хороших офицеров и отпечатания 1000 экземпляров Военного устава. Познанская организация обещала достать еще 10 тысяч талеров, но и это, если бы было действительно собрано, составило бы, по признанию самого Мирославского², только *третью часть всей суммы, необходимой на открытие первых военных действий*. Между тем и ее не было собрано; хаос в партиях был страшнейший, а восстание все-таки предпринималось.

Разные отчаянные кричали, что «единственный способ привести все противоречие к одному знаменателю — это барабан и пушка!»

Фраза была в духе вождя. Он повторил ее несколько раз сам и уже не слушал никаких возражений, а мчался вперед, закусив удила, как борзый конь, заслышавший звук военной трубы.

В самых первых числах января н. ст. все высшие члены познанской организации были приглашены Мирославским

¹ Показания Рёра, который был арестован во вторую свою поездку в Литву, в городе Кнышине Гродненской губернии, 25 февраля 1846 года. Паскевич подтверждал: «Прогнать его сквозь строй через 500 человек два раза и потом сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет». Мы еще с ним встретимся.

² Показания Мирославского в Познанской цитадели, 11 октября н. ст. 1846 года. Также статья: *Sprawa więźniów Poznańskich 1846 — 1848*. Т. XXIX. Bibliot. Pisarzy Polskich. S. 207.

выбрать членов будущего народного правительства, причем со стороны приглашавшего были употреблены все меры, чтобы выбор более или менее отвечал взглядам и настроению Централизации, точнее сказать, самого Мирославского, то есть чтобы выбранные были люди демократических стремлений, а если можно — и происхождения.

Мирославский первый предложил от эмиграции Альциату. Краснее его из влиятельных и известных представителей эмиграции тогда в Познани никого не было. Возражения не последовало, и Альциата был выбран.

Некто Владислав Косинский, человек весьма красных свойств и с большим влиянием в целой Прусской Польше, предложил от Познанской организации доктора Либельта, и этому никто не противился.

Затем выбрали самого Мирославского начальником всех военных операций с обещанием повиноваться всем его распоряжениям, какие только он признает в военном смысле лучшими.

Так как депутатов от Краковского Вольного округа, а равно от Галиции, Царства Польского и прочих провинций Польши 1772 года не прибыло, то присутствующие решили отправиться в Краков и вызвать депутатов туда, как в более безопасное место. Уполномочие Мирославскому и все прочее, состоявшееся в Познани, было написано на небольшом клочке бумаги химическими чернилами и передано Косинскому, с тем чтобы в случае какого-либо возражения Галициан или иных он вызвал написанное и предъявил.

Около 10 января н. ст. Мирославский с Косинским и еще кое-кто прибыли в Краков (Мирославский под именем Маевского) и целую неделю ждали депутатов из Царства и других мест.

Прибывший наконец из Царства депутатом помещик Меховского уезда Радомской губернии¹ Николай Лисовский объявил, что пославшая его организация соглашается наперед со всеми постановлениями Кракова и Познани.

¹ Деление губерний тогдашнее.

К этому он прибавил, что Царство встанет, лишь бы показались повстанские колонны из Галиции и Пруссии.

Из Западной Галиции приехал бойкий агитатор Иван Тиссовский¹, в то время поверенный в делах графа Кучковского.

От Восточной Галиции ждали Висневского, а от Малороссии — помещика Подольской губернии Торжевского, но они не явились.

18 января н. ст. было приступлено к выборам. Против происшедшего в Познани никто не возражал.

От Галиции был предложен Тиссовским граф Франциск Веселовский и выбран; но после, под влиянием Мирославского, заменен самим Тиссовским, которого Мирославский считал способнее к революционной службе. Притом, по принципам Мирославского, граф, аристократ, не годился в члены народного правительства. Веселовского назначили главным начальником Галицийской организации.

От Краковского округа и Верхней Силезии был выбран бывший адъюнк-т-профессор Краковского университета, Людвиг Горшковский, человек очень хитрый и недоверчивый. Перед выборами он ездил с какими-то секретными планами в Познань, но, по-видимому, не достиг там своих целей и, по возвращении в Краков, был несколько задумчив. Мирославскому не хотелось его, но устранить его он не мог. Все же остальное отвечало его мыслям. Поэтому на последнем заседании, которых было всего четыре, Мирославский сказал весело приятелям: «Теперь подобрали аккорд»².

Срок восстанию был назначен тогда же: 21 февраля н. ст., канун последнего карнавального дня, с субботы на воскресенье.

¹ О прошлом его известно только, что он родом из Тарнова. По окончании курса в Львовском университете он бежал от родителей, в 1831 году, в Царство Польское и поступил на службу в артиллерию Дверницкого, по переходе Дверницкого опять ушел в Царство и до конца восстания служил рядовым в корпусе Рыбинского, с которым и перешел через границу.

² Его показания в Познани 12 октября 1846 года.

После этого Мирославский с товарищами снова возвратился в Познань, где на сходбище всех влиятельных лиц заговора были назначены военачальники в разные пункты из местных организаций, так как из-за границы никого не прибыло.

Одним из последних назначили Домбровского. Для него нарочно оставили как можно менее дней до конца, чтобы он не успел обдуматься и как-нибудь не изменил.

Вызванный, или сам по себе, он прибыл в Познань из Силезии 1 февраля н. ст. 1846 года и немедленно приглашен к Мирославскому Магдзинским, начальником будущих повстанцев на Жмуди.

Мирославский жил на Фридриховой улице, в квартире учителя Лицеевского, куда вход был через Штиллеровскую ресторацию.

Пройдя темную переднюю, Домбровский с Магдзинским очутились в небольшой комнате с двух окнах во двор, где сидели: Мирославский, Рёр и Дзвонковский, то есть были собраны только те лица из находившихся в Познани, с кем Домбровскому должно было действовать более или менее сообща.

Так как Домбровский был уже приобретен заговором и отказаться ни от какой службы не мог, то Мирославский, после кратких приветствий припомнив ему встречу в Букском округе, сказал: «Вы — наследник имени, которое озарено в польской истории неувыдаемой славой; вы — человек с влиянием в высшем кругу, с большими средствами; вам нельзя занять какое ни попало место при тех операциях, которые предпринимает воскресающая Польша: я назначил вас начальником военных действий на правом берегу Вислы, в центре Царства Польского. У вас там значительное имение. Оно даст вам все нужное для восстания на первых порах. Съезды у вас других помещиков, принадлежащих заговору, могут быть съездами на охоту. Людям своим вы откроете тайну, когда вам вздумается».

Домбровский решился возразить, что он — точно наследник военного имени, но сам весьма плохой военный,

служил всего-навсего года три, участвовал в нескольких маневрах, между прочим, на больших маневрах 5-го и 6-го корпусов в Силезии, в 1841 году, как ординарец генерала Грольмана, но войны никогда не видал; кроме того, решительно не знает, как приобретать восстанию людей, и это его чрезвычайно бы затруднило.

«Приобретать вам никого не нужно (перебил Мирославский): люди есть; вам остается только принять над нами начальство».

После этого разложили карту Польши, издание Энгельгардта, состоявшую из нескольких частей. Мирославский, отделив от нее то, что было нужно для Домбровского (про странство между Вислой, Наревой, Бугом и Вепрем), стал ему объяснять, что желательно было бы овладеть прежде всего крепостью Ивангородом и городом Седльцами. Если же это окажется невозможным то, обойдя их, нужно поддерживать коммуникацию между Литвой и Жмудью, где начальниками назначаются предстоящие здесь Рёр и Магдзинский. Они, если можно, возьмут Вильну, Слоним и Брест; если же нельзя, то, обойдя эти пункты, двинутся на соединение с Домбровским. Когда последует это соединение, Домбровский ведет все три отряда в местность между Сандомиром и Варшавой, где должны соединиться корпуса, имеющие прибыть из Галиции и всех земель левого берега Вислы в Царстве Польском; а равно и отряды из княжества Познанского, под начальством Мирославского — и пойдут на Варшаву.

Когда Домбровский возразил, что поддержка коммуникаций его с Литвой и Жмудью едва ли возможна и, по всей вероятности, он долго не будет знать ничего, что там делают Рёр и Магдзинский, последние стали его заверять, что «все это уже обдумано и людей, готовых восстать, весьма достаточно в обеих провинциях».

Домбровский более возражать не стал. Кончили беседу тем, чтобы начальник правого берега Вислы старался держать свои силы в постоянных маршах, над границами: Мазовша, Подлясья и Люблина, пока не придут к нему отряды Рёра и Магдзинского.

Рёр, которому следовало прежде всех пуститься в путь, предполагал побывать в Куфлеве, где хотел дожидаться прибытия Домбровского для соглашения с ним в некоторых подробностях действий, а потому просил дать ему записку в Куфлев к управляющему. Домбровский дал.

Затем все простились друг с другом. Мирославский настаивал, чтобы они все выехали как можно скорее к местам своего назначения, а Домбровскому заметил, что он, вероятно, не потребует никаких денег¹.

Так легко, в какой-то запечной каморке, раздавались должности вождей, брались города и крепости, улаживались сложные военные операции!

Еще поразительнее план военных действий. Вот этот план в том виде, как он набросан рукой самого Мирославского на карте Польши 1772 года, найденной прусским правительством в бумагах главных заговорщиков.

«Пользуясь первым замешательством, которое, естественно, произойдет в правительствах всех трех захватов после всеобщего взрыва, в один и тот же час повстанцы собираются в разных пунктах, каковы суть:

- 1) Для княжества Познанского: Бук, Плешев и Рогово.
 - 2) Для Пруссии: Хелмно, Торунь и Гомбин.
 - 3) Для Верхней Силезии: Тост над Козлим.
 - 4) Для Кракова и Галиции: Львов, Краков и Новое Место над Вислой.
 - 5) Для Подола и Волыни: Константинов, Новгород Волынский и Корец.
 - 6) Для Литвы и Жмуди: Минск, Вильно и Россиены.
- Затем соединяются:
- 1) Отряды Великого княжества Познанского, Хелма и Торуня — под Колом.
 - 2) Отряды Верхней Силезии и Царства Польского — под Ченстоховым.
 - 3) Отряды из-под Кракова и Нового Места — под Мало-гощем.

¹ Показания Домбровского в Познани 12 сентября н. ст. 1846 года.

4) Отряды из-под Львова, Константинова, Новгорода Волынского и Корца — под Ковелем.

5) Отряды из-под Гомбина и Россиен — под Ковном. Отсюда оба идут к Гродну, для соединения с Виленским отрядом; наконец вся масса направляется в Слоним, на соединение с повстанцами Минска.

Эти различные части войск должны после того идти к Петркову и Ровну и образовать две армии: западную, заключающую в себе отряды из Великой Польши, Кракова и Галиции, и восточную, состоящую из отрядов Малороссии и Литвы.

Обе армии пойдут, действуя наступательно, к Ивангороду для овладения этой еще неоконченной крепостью. Если это не удастся, оба отряда воротятся к границам Галиции, дабы привлечь к себе там новые силы.

Что касается лиц, кои будут командовать сборными силами Царства Польского, Литвы, Жмуди, Западной Пруссии и Познанского княжества, то назначаются на главные пункты следующие.

В Царстве Польском — помещик Бронислав Домбровский.

На Литве — Иван Рёр.

На Жмуди — Теофил Магдзинский.

В Западной Пруссии — полковник Михаил Бесекирский.

В княжестве Познанском — майор Людвиг Мирославский¹.

Инструкции этим командующим:

Магдзинский собирает все силы из Шавлей, Тельш и Россиен на Жмуди, а также все, что окажется в Восточной Пруссии, и идет под Ковно для овладения этим городом. Затем через Августовское воеводство заходит напротив отряда, собранного Домбровским. Если же взять Ковно

¹ С этим чином стоит он в наших официальных документах того времени. Где и как он получил его — неизвестно. Выходя за границу при корпусе генерала Рыбинского, Мирославский был только поручиком.

не удастся, Магдзинский переправляет свой отряд через Нижний Неман для соединения с Домбровским.

Рёр стягивает на Литве все силы между реками Щарой и Бугом; соединяется затем, сколь можно поспешнее, с Августовским и Подляским восстанием и идет к Нижнему Бугу, где поступает в распоряжение Домбровского.

Домбровский собирает под Седльцами всех повстанцев, каких только удастся; соединяется затем над рекой Нуржец, недалеко от Буга, с колоннами Жмуди и Литвы и движется с этой восточной армией к Ивангороду. Здесь соединяется с повстанцами левого берега Вислы, то есть с восточной армией.

Бесекирский стягивает все отряды Западной Пруссии над рекой Дрвенцой, переходит ее, идет через Плоцкое воеводство к Висле, переправляется через нее под Добржином и соединяется затем под Колом с войсками, которые придут из Рогова и Плешева. Если бы все это не удалось, Бесекирский начнет в Плоцком воеводстве оборонительную войну.

Сборным пунктом для Великого княжества Познанского, как сказано выше, будут: Бук, Рогово и Плешов.

Что же до западных обводов: Медзыховского, Мендзыржецкого, Вольштынского, Всховского, Косцянского, Буковского, Шамотульского и Познанского, — их сборные пункты за озерами Супя и Непрушова, под Бугом. Начальство над ними примет офицер из эмиграции.

Авангард, состоя из жителей Познани и окрестностей, на пространстве от двух до двух с половиной миль в окружности, под начальством Феликса Бялоскурского, Александра Понинского и Альфонса-Климентя Бялковского, старается овладеть Познанской цитаделью. С этой целью познанские повстанцы, в четырех отрядах, каждый с особенным вождем, ударят на цитадель, на артиллерийский парк, гусарские казармы и жилища высших чиновников военного и гражданского ведомств.

Если бой на улицах и баррикадах продолжится, тогда повстанцы из окрестностей, собравшись под прикрытием

ночи вблизи города, в виде арьергарда вступают в него. Если все это не удастся, то атакующие отходят к Буку и там пристраиваются к различным отрядам. Тогда уже все силы западного округа составят резервный Великопольский корпус, который притянет к себе, в окрестностях Шрема и Оборников, другие части восточного округа. По занятии двух этих городов и укрепившись в них как можно лучше, равно устроив на Варте хорошую переправу, сказанные силы имеют тройное назначение:

1. Препятствовать войскам, идущим на помощь Познани, проникнуть в этот город и стараться разбивать их врознь;

2. Поддержать связь с действующей армией на правом берегу Варты, через города Оборники и Шрем; равно защищать эти города, из коих первый должен быть резиденцией властей Великого княжества, а из второго главный вождь посылает приказание на оба берега Варты;

3. Резервный корпус старается атаковать Познанский гарнизон, пока не подошли прусские войска из Померании и Силезии; при появлении же таковых атакует их со всей стремительностью. Если же эти атаки не будут иметь успеха, тогда резервный корпус переходит Варту под Шремом или Оборниками для соединения на правом ее берегу с действующей армией.

Если же удалось бы занять Познань и цитадель ее сразу, тогда первый набор западного округа будет относиться к действующей армии, на усиление которой со стороны Бука и Познани он потянется от Пыздр. Здесь, при слитии рек Просны и Варты, будет разбит укрепленный лагерь.

Другой набор расположится, при сказанном обороте дел, вокруг Познани, укрепитс там и будет защищать ту местность от вторжения прусских войск. Если же ему придется уступить превосмогающей силе, тогда он двинется из княжества Познанского к действующему корпусу войск, с которым сольется в одно целое.

Первые наборы, из обводов Плешовского, Одолановского, Остршешовского, Кротошинского и Кробского,

собираются под начальством Аполлинария Курнатовского и образуют маршевую колонну. Для прикрытия этой операции будет произведена фальшивая атака на кавалерию, стоящую в Острове; Курнатовский же проникает в Калишское воеводство и старается занять Калиш, а потом — удастся это или не удастся — поворачивает через Пыздры или Турек на Конин, неподалеку от Кола, дабы здесь соединиться с колонной, которая прибудет из Рогова. Если бы русские войска этому воспрепятствовали, то колонны из-под Пleshева и Рогова соединяются недалеко от Пыздр, при слитии реки Просны с Вартой.

В Рогове, между озерами у истоков реки Велны, сойдутся отряды под команду Мирославского, из обводов: Иновроцлавского, Быдгощского, Шубинского, Выржиского, Ходзешинского, Чарнковского, Оборницкого, Венгровского, Гнезненского, Сржоцкого, Шремского, Бржесневского и Могельвицкого.

Для того чтобы отвлечь внимание неприятеля от передвижения этих отрядов, а частью для их прикрытия и овладения в то же время некоторыми складами оружия, — исполнять где фальшивые, где настоящие атаки будут следующие лица: Станислав Садовский — на Быдгощ¹; Альбин Мальчевский — на кавалерию, стоящую в Иновроцлаве, Гневкове и Глинках; Адольф Мальчевский — на Гнезно и, наконец, граф Игнатий Бнинский — на Пилу.

Как только повстанцы всех обводов соберутся под Роговом, Мирославский, произведя им в течение четырех или пяти дней учение, вторгнется в Царство Польское².

Таков был общий план. Частные подробности предоставлялось развивать каждому отдельному начальнику согласно средствам и условиям местности, где кто будет действовать. Так, подробности Галицийских операций оставлены на волю тамошним начальникам, которые были: для восточной

¹ Бромберг.

² Альциата (Biblioteka Piszarzy Polskich, T. XXIX, s. 162 — 164, 203 — 216) и показания Домбровского и Мирославского в Познани и Тиссовского в Кёнигштейне.

Галиции майор Фаленцкий и полковник Каминский; для западной — Высоцкий и Бобинский. Военные операции Малороссии зависели от тамошнего начальника Ружицкого. Некоторые подробности в действиях отрядов Царства Польского согласно с Литвой и Жмудью мы видели из беседы Мирославского с Рёром, Магдзинским и Домбровским.

Магдзинский и Рёр, получив нужные бумаги и снабженные средствами, какими организация могла располагать, отправились к местам своего назначения, но Домбровский медлил. Между тем за ним зорко следили. Дзвонковский (под именем Козловского) пришел к нему раз и спросил, когда же он едет. Домбровский отвечал, что ему нужно съездить сперва в имение свое Винную Гору повидаться с женой, которая не так здорова, а потом уж он поедет в Русскую Польшу. Он точно отправился в Винную Гору для свидания с женой, которой открыл все и условился с ней, чтобы она тоже перебралась в Царство и наблюдала за ходом дел восстания, а в случае нужды подавала бы необходимую весть или помощь.

Дзвонковский явился к Домбровскому и в Винную Гору и объявил, что едет также в Царство, а потому полагал, что им лучше всего выехать вместе. Так они и сделали.

7 числа февраля н. ст. они выбрались из Винной Горы втроем: Дзвонковский (с паспортом на имя Богданского), Домбровский и его поверенный во всех делах, старый повар Краковский, человек безгранично преданный их семейству. Сначала ехали в своем экипаже до прусской пограничной таможни Стршалкова, потом взяли экстра-почту. В городе Коле Дзвонковский расстался с товарищем, вручив ему большой пакет для передачи варшавскому купцу Степану Добричу, у которого (как он говорил) учреждено центральное бюро революционных предприятий Царства; потом клочок бумажки для передачи помещику Тулинскому, тоже в Варшаве; письмо к брату своему Адаму, в деревне Новый Двор (Варшавской губернии, Станиславского уезда) и, наконец, письмо к помещику Андрею Дескуру. Все эти письма, как равно и пакет к Добричу, были писаны химическими

чернилами и представляли на вид простую белую бумагу. Даже и самые адреса не были видны. Домбровский сделал на пакетах свои особенные отметки, только ему одному понятные, и пустился в дорогу. Вечером 9 февраля н. ст. он прибыл в Варшаву. Тогда же, по условию, пришли к заставе его люди из Винной Горы, с тремя английскими лошадьми, собственно для употребления во время военных действий; при них, для естественности, находилась старая кобыла, пони и жеребец. Фураж для всех этих лошадей везли на особой огромной телеге, запряженной четверкой дюжих коней, на дне которой помещались, под сеном и кулями с овсом, нужные снаряды и порох. Все это Домбровский, знакомый с чиновником на заставе, легко препроводил в город.

На другой день, 10 февраля, в 11 часов Домбровский пошел к Добричу и передал ему пакет, который тут же был вскрыт и прочтен Добричем в особой комнате. В пакете лежали инструкции Мирославского к окружным комиссарам¹ и разные другие важные бумаги. Была также и рекомендация Домбровского как вождя правого берега Вислы.

Добрич в кратких словах объяснил Домбровскому положение их дел, заметив, что организация сильно расстроена недавними арестами², но все-таки люди есть. Он обещал собрать кое-кого завтра же, дабы потолковать сообща, как и что предпринять. И они расстались.

Домбровский отправился к Тулинскому и передал ему относившийся до него клочок бумаги от Дзвонковского; но Тулинский прочесть его не мог и отдал назад Домбровскому, сказав, впрочем, что служить отечеству готов и от других в патриотическом самоотвержении не отстанет.

¹ См. Приложение 8.

² Эти аресты были произведены по случаю полученных из Пруссии предостережений, что у нас заговор. Кроме того, было открыто, как говорили, особенное покушение против Паскевича и всех русских на балу, который давало незадолго до нового 1846 года Общество благотворительности в так называемых «редутовых», то есть увеселительных залах театра.

Собранные на следующий день Добричем¹ деятели Варшавской организации были: эмиссар Прусской Польши, берлинский студент Карл Рупрехт, прибывший в Царство как бы для свидания с родителями, которые жили в Бяле (Варшавской губернии и уезда); архитекторский апликант Михаил Мирецкий; обыватель Тулинский и еще человек до десяти разных мелких чиновников. Они относились к Домбровскому, явившемуся около 11 часов, как к своему начальнику и наговорили ему самых необыкновенных вещей, представляя заговор Царства в более или менее блестящих красках. Особенно говорил много и с увлечением горячий студент Рупрехт. Мирецкий обещал набрать людей в Мацеевицах, где у него много родных, которые помогут делу². Но когда Домбровский попросил список всех участвующих, собеседники стали поглядывать друг на друга, и никакого списка не явилось³.

Говорили между прочим о том, как приобрести крепостян. Домбровский находил, что самое лучшее обещать им свободу и землю; сказать, что восстание предпринимается с целью воскресить Польшу под правлением демократическим, которое уравниет сословия, что этого достигнуть можно не иначе, как с помощью всего народа: стало быть, они должны соединить свои силы с помещиками, стать в этом деле их друзьями, так как это дело столько же их дело, сколько помещичье или еще больше.

В заключение рассматривали карту Польши и рассуждали, как действовать, кто откуда пойдет, и читали инструкции Мирославского.

¹ В показаниях от 11 апреля говорится, что Добрич тут же послал за этими людьми.

² Мирецкий говорил, что крепость Ивангород можно взять, имея кучу смелых и отважившихся на все людей: гарнизон сейчас положит оружие, если броситься на него вдруг.

³ Так рассказывал Домбровский в показаниях 14 сентября н. ст. 1846 года в Познани, желая, может быть, скрыть участников. Трудно предположить, чтобы Варшавская организация состояла из той кучки людей, которая собралась у Добрича.

Домбровский ушел домой несколько успокоенный. Дома он нашел приглашение от одной старой своей знакомки, Коссовской, которую видал шесть лет тому назад в Самоштрах (имении графа Бнинского), где она сводила с ума всю молодежь. Это была женщина поразительной красоты и самая пламенная и отчаянная патриотка. Она приехала из Познани в Царство именно затем, чтобы одушевить и поддерживать, чем и как может, слабую организацию Варшавы. Не имея надлежащим образом выправленного паспорта, она остановилась у какой-то приятельницы на Козьей улице с намерением перевидать знакомых ей варшавян, а потом ехать в свое Люблинское имение и действовать там в пользу заговора.

Домбровский прибежал к ней ту же минуту. Коссовская обратилась к нему с самыми задушевными приветствиями, наговорила кучу любезных вещей. Разговор их принял фантастическое направление, более чем все планы Мирославского. Кончилось тем, что Домбровский, чувствуя себя действительным начальником правого берега Вислы, предводителем выросших из-под земли полчищ, достал из кармана карту с инструкциями Мирославского и стал все это читать и разъяснять прелестной хозяйке, так долго и подробно, что она должна была остановить его красноречие...¹

Потом на него напало опять раздумье. «Глупо я сделал, — сказал он, — что перебрался для действий сюда. Мне бы лучше оставаться в Познани: там все-таки есть нечто, а здесь ничего».

«Э, полноте, — возразила Коссовская, — это вам так кажется, потому что вы не знаете здешних дел близко. Вглядитесь и увидите, что здесь такая же организация, как и в других пунктах. В Радомской губернии вам помогут много вот эти лица».

¹ «Einer so feuerigen, energischen Wittwe gegenüber vermochte ich nicht kaltblütig zu bleiben, stimmte deswegen nicht nur in den Gegenstand der Auerhaltung ein, sondern mag überhaupt damals viel gesprochen haben, dessen ich mich gegenwärtig nicht zu erinnern vermag...» (Показания в Познани, 14 сентября н. ст. 1846 года).

Тут она дала ему три письма: одно Ксаверию Ясинскому в селении Бендзинове Сандомирского уезда, другое Роману Цихоцкому в Марушове и третье — помещику Карчевскому в Воле Сенинской¹.

Затем они расстались. Вечером Домбровский хотел опять с ней увидеться, но уже не застал: она уехала в деревню.

12 февраля Домбровский, условясь с разными лицами организации, что они прибудут к нему в Куфлев, в самом непродолжительном времени для окончательных совещаний выехал из Варшавы с Мирецким вечером в 9,5 часа; тогда же тронулись и лошади с фурой и были благополучно переправлены через заставу.

13-го, в 8 часов утра, Домбровский и Мирецкий прибыли в Куфлев. Управляющий подал записку от Рёра, который извещал Домбровского, что «жил у него трое суток и, не имея возможности ждать долее, отправился к месту своего назначения; что, впрочем, ничего особенного не случилось, что бы могло изменить ход вещей и их планы».

На другой день, 14-го, Домбровский и Мирецкий выехали в сторону Ивангородской крепости с целью осмотреть ее верки, о которых говорили, что они еще не кончены. В местечке Новый Двор заехали они к старику Дзвонковскому, где нашли и сына его Адама и вручили ему клочок бумаги от брата Владислава; но Адам, прочтя написанное, не выразил большой готовности служить предприятию чересчур необдуманному².

Дальнейшие странствия показали начальнику правого берега Вислы, что организация везде довольно слаба. Миновав Мацеевицы, Мирецкий нашел возможность переслать к Андрею Дескуру химическую записку Дзвонковского, с особым приглашением от себя — явиться для совещаний в Куфлев.

¹ Письма к Ясинскому и Цихоцкому в Приложении 9.

² Так, по крайней мере, говорил Домбровский в показаниях своих 14 сентября 1846 года, в Познанской цитадели.

16-го числа осмотрели крепость, не входя, впрочем, внутрь. Домбровский набросал в бумажнике легкий очерк ее верков. Действительно, кое-что не было окончено, и пушки не поставлены на валах. По мнению обоих странников, располагая большой массой на все решившихся повстанцев, можно было сильным и отчаянным натиском врасплох взять эту крепость и обезоружить гарнизон. Только Домбровский полагал, что все-таки при этом нужны пушки, а Мирецкий говорил, что обойдется дело и без них.

17 февраля н. ст., около полудня, они воротились в Куфлев с расстроенным несколько духом, так как оба более или менее убедились, что предводители, пожалуй, кое-какие еще и есть, но предводительствовать, кажется, будет не кем...

Начали, от нечего делать, осматривать и приводить в порядок оружие, как находившееся в доме прежде, так и прибывшее вновь с лошадьми из Пруссии. Оказалось всего: три обыкновенные двустволки, восемь одноствольных ружей, несколько пистолетов, два палаша и один кортик¹.

На следующий день, 18 февраля, явился в Куфлев Рупрехт с молодым помещиком из-под города Седлец, Панталеоном Потоцким, человеком самых отчаянных свойств: для него не существовало никаких преград и сомнений; он был отдан восстанию душой и телом и верил в его успех; повстанцы грезились ему везде не то что десятками и сотнями, а десятками тысяч: одна Варшава с окрестностями должна была дать, по его мнению, до 30 тысяч.

Когда Домбровский объявил ему, что, согласно плану, составленному Мирославским и Высоцким, при помощи многих других стратегиков, решено взять, если можно, прежде всего крепость Ивангород и город Седльцы, — Потоцкий недолго думая предложил для нападения на последний пункт самого себя, с людьми, которых легко будет набрать в окрестностях, потому что его имение Цысь лежит

¹ Показания 16 апреля н. ст. 1846 года, в Зонненбурге. Позже, 15 сентября н. ст. 1846 года, в Познани, Домбровский показал другое число, меньше. Поэтому можно предполагать, что настоящее число оружия скрыто.

всего в 10 верстах от Седлец, его все там знают за честного патриота, он имеет некоторое влияние... в дальнейшем изложении своих мыслей Потоцкий дошел до того, что обещал помощь санями самому Домбровскому; но Домбровский сказал, что этого добра у него вдоволь: может даже послать, куда потребуется. Потоцкий говорил о занятии Седлец так горячо и с такой уверенностью, что Домбровский чуть-чуть не проговорился, что и он не прочь с ним действовать заодно, так как взятие крепости Ивангорода представлялось ему делом сомнительным; однако не сказал ничего и после был этим доволен.

Стали рассматривать карту и план Мирославского. Домбровский, мысли которого постоянно менялись и никак не могли установиться на одном месте, шел опять на Ивангород самым решительным образом и приглашал туда Потоцкого по взятии Седлец.

Вся ночь прошла в разных толках и соображениях о предстоящем предприятии. Домбровскому то хотелось идти с Потоцким под Седльцы, то он пугался этой мысли и шел на Ивангород. Таково было состояние души этого человека: за три дня до назначения действий он, командующий войсками на значительном пространстве, не знал еще, *где именно будет действовать.*

На заре, 19-го, Потоцкий и Мирецкий отправились к местам своего назначения. Последнему Домбровский не велел предпринимать никаких действий до тех пор, пока не получит известия, что сделано относительно Ивангорода и Седлец и где находятся отряды Домбровского и Потоцкого.

С полудня того же 19-го числа начали прибывать лица, приглашенные отчасти самим хозяином, отчасти Рупрехтом и Мирецким. Прежде всех явился Андрей Дескур, человек вроде Потоцкого: на все готовый, веривший в силы восстания, бравший города и крепости.

Потом пришли из Варшавы пешком: мелкий чиновник губернского правления Адольф Грушецкий, рослый и здоровый парень с большими усами; апликант прокурорской

канцелярии при Варшавском уголовном суде Станислав Коцишевский; аппликant другого какого-то суда Владислав Жарский и, наконец, аппликant мирового суда 4-го Варшавского округа Иван Литынский.

Они остановились в корчме и послали от себя в дом хозяина только одного Грушецкого, но Домбровский приказал звать всех. Представаясь ему, они ту же минуту заговорили об оружии и пошли в оружейную выбирать, что кому по вкусу, без всякой церемонии, а вечером приступили к литью пуль, которых налито ими штук 200, в четыре формы, при помощи только что нанятого Домбровским охотника Лютынского и повара Краковского. Даже сам Домбровский вылил несколько штук; но, чувствуя от всех денных тревог чрезвычайную боль головы, лег в постель, спал, однако, плохо.

20-е число пролетело незаметно, в толках об одном и том же предмете, куда кто пойдет... Дворовые люди, конечно, смекнули, что такое затевается господами. Поняли то же самое наиболее сметливые из крестьян, но все село оставалось пока в неведении. Домбровский велел собрать разных бобылей и холостеж как бы на охоту, но решил не говорить им до последней минуты, что это за охота. Большого сопротивления он от них не ожидал. Думал только: чем их вооружить? Вилы все с непрочными деревянными ручками, а косы тонки... Потом предоставил это случаю и судьбе.

Наконец наступил роковой день 21 февраля — день, когда, по расчетам заговорщиков, должна подняться вся Польша в границах 1772 года!

Легко понять, с какими чувствами покинули свои постели все лица, собравшиеся в Куфлеве, если только кто-нибудь из них ложился. Первой мыслью Домбровского было пойти в костел и исповедаться. Потом все завтракали вместе, разговаривая о разных подробностях нападения. Грушецкий и Рупрехт попросили оседлать лошадей, чтобы поездить и попрактиковаться, но оказались весьма плохими кавалеристами. Стали снова беседовать, все разом, о своем страшном предприятии. Вдруг отворились двери, и вошел

ником не ожидаемый Потоцкий¹. Он был сильно расстроен. Товарищи услышали от него, что взятие Седлец сопряжено с большими затруднениями, каких он не ожидал, потому что не ожидал такого равнодушия со стороны обещавших содействие: все изменили, остался он один, вследствие чего просил ему помочь идти на Седльцы вместе.

Тут для Домбровского определилось окончательно, куда он должен идти, и он отвечал Потоцкому, что теперь уже поздно делать какие-либо перемены в плане; что он идет к Ивангороду и относительно этого отдал уже приказание кому нужно². «Ну, дайте мне хотя офицеров, хотя тех людей, которые тут сидят», — сказал Потоцкий. Домбровский согласился уступить только троих: Литынского, Жарского и Коцишевского; и Потоцкий, забрав их в сани³, поехал в Цысю, только заметил Домбровскому на пороге: «Советую служить нашему делу верой и правдой; иначе знаешь, конечно, что ожидает трусов и изменников»⁴.

По отъезде Потоцкого Домбровский увидел некоторую перемену в обращении с ним его якобы подчиненных. Они глядели какими-то стражами, а не подчиненными, и выражение «*Rap jeneral*» имело уже в их устах что-то саркастическое. Грушецкий даже сказал, что они намерены следовать неотступно по пятам начальника и не позволят ему уклониться от своих обязанностей.

Незадолго перед обедом прибыли помещики Тулинский и Бембковский, а в 5 часов пришло с нарочным письмо от жены Домбровского, которая извещала его, что «только что приехала в Варшаву, что заговор в Познани открыт полицией, Мирославский со многими высшими членами

¹ Около 11 часов перед полуднем.

² Домбровский сказал, что он с Рупрехтом пойдет к Ивангороду вдоль Вислы; что если предприятие Потоцкого под Седльцами удастся, то могут позже соединиться под Гарволиным и Желеховым.

³ Выехали около первого часу пополудни в санях Потоцкого и других мужицких из Куфлёва, забрав часть пуль, оружие и амунисию (Зонненбург 16 апреля н. ст.). Рупрехт дал ему экземпляр прокламации.

⁴ Показания Домбровского 15 сентября н. ст. 1846 года в Познани.

организации и со всеми планами и бумагами захвачен». В заключение умоляла мужа бросить все и бежать в Пруссию; «что до паспорта — он будет».

Прочтя это письмо, Домбровский впал в совершенное отчаяние и решился объявить обо всем гостям, представив им всю бессмыслицу их одиночного восстания, без помощи из-за границы; но Рупрехт и Грушецкий ничего и слышать не хотели и требовали с угрозами, чтобы он вел их в бой с москалями, говоря, что другого выхода нет, что они скомпрометированы все до единого и должны погибнуть; «лучше же погибнуть в битве со врагом, нежели как-нибудь иначе, на виселице или в каземате».

Делать было нечего. Домбровский написал жене письмо, что возврат уже невозможен, и просил ее думать только о своем спасении. Письмо это повез в легких саночках Краковский, которого мы уже видели занимавшегося литьем пуль. (Его употребляли на все важные поручения.) Он встретил госпожу свою на полудороге: она сама спешила в Куфлев. Бросив свою изнуренную четверню, она пересела в сани Краковского и в них прибыла в Куфлев около 8 часов вечера.

Домбровский передал ей в уединенной беседе свои затруднения относительно подчиненных и вытекающую отсюда необходимость идти в бой. Домбровская решилась выручить мужа: это была, как мы уже сказали, очень храбрая полька. Она вышла с мужем к гостям и произнесла им краткую речь, в которой высказала всю безрассудность их странных требований и умоляла оставить предприятие, ведущее всех их к несомненной гибели. Грушецкий схватил было пистолет и грозился положить Домбровского на месте, если он им изменит. Но госпожа Домбровская стала между ним и мужем. Тулинский и Бембковский явились на ее стороне и начали точно так же убеждать товарищей отказаться от предприятия. Кончилось тем, чем кончаются многие житейские дела и что изменяет характер самых неговорчивых и неукротимых: Рупрехту и Грушецкому были предложены некоторая сумма и лошади, готовые везти их,

куда прикажут. Они сели и выехали. Тулинский и Бембковский сели в другие сани, а потом уехал и Домбровский и на другой день бежал за границу...¹

А несчастный Потоцкий, ничего не зная и не ведая о случившемся в Познани и о решении его товарищей в Куфлеве², делал у себя последние приготовления. Точно так же как и Домбровский, он приказал собрать мужиков, только не на охоту, а под видом того, чтобы потолковать с ними о предстоящем наборе. Мужики, однако, смекнули дело — какой это набор. Особенно же подозрения их усилились, когда Коцишевский и Жарский начали угощать их водкой и совать им в руки деньги, говоря не очень связно, что «дело идет о пользе их отечества и об их собственной пользе... что час пришел освободиться и получить в надел землю... не знать над собой никого, кроме пана бога».

Те, кто был посмышленнее и пил меньше водки, отвечали господам наотрез, что «бунтовать не пойдут», а кто подпил, те, чисто по-мужицки, начали плакать и причитать³. Из них набралось человек с десятков, которые сказали, что «пойдут в огонь и в воду за своим паном, что они также поляки».

Потоцкий отделил их от прочих и произнес к ним речь, где были между прочим слова: «Сегодня встает вся Польша; нам ли отставать от братьев?» А Коцишевский прочел им *прокламацию*, имевшуюся у него от Рупрехта в восьми экземплярах; но никто ничего не понял, потому что сильно были пьяны. Затем заряжены ружья и уложены в трое саней. Близ 12 часов поезд тронулся. Потоцкий ехал впереди,

¹ Показания Домбровского, Рупрехта и Потоцкого.

² Нет никакого сомнения, что он мог быть предупрежден: от Куфлёва до Цыси только 24 версты. Потоцкий в тот день проехал это расстояние в 3 часа с небольшими. Рупрехт в своих показаниях от 11 (23) февраля в Седльцах, где был взят, говорит, что «сначала Д. хотел дать знать Потоцкому, но после отдумал на том основании, что было будто бы уже поздно, и таким образом Потоцкий и его товарищи были брошены одни на всевозможные опасности. А Домбровский обвиняет Рупрехта и Грушецкого, что они не дали знать, когда это им было поручено.

³ «Płakali i lamentowali», — выражение Потоцкого.

верхом, как предводитель. Литынский и Жарский сидели в санях с крестьянами, которых при отправлении оказалось девять человек. Коцишевский ехал верхом сзади, чтобы наблюдать за мужиками, не вздумал бы какой бежать. Но, несмотря на эти предосторожности, лишь только поезд очутился в лесу, двое мужиков тихонько свалились в кусты и давай бог ноги ко дворам.

С остальными семью Потоцкий и трое его приятелей прибыли к Варшавской заставе города Седльцы во втором часу ночи¹, оставили лошадей под присмотром кучера в поле, а сами пошли по тихим и темным улицам, толкуя о том, как и с чего начать нападение.

План нападения, сочиненный незадолго до отъезда самим Потоцким, был таков: «Прежде всего ударить на гауптвахту, перебить там солдат и ружья их раздать местной организации, которая, без сомнения, не замедлит явиться на выстрелы. Потом, захватив в уездном казначействе и в Провиантской комиссии деньги (которых считали не менее миллиона рублей), идти на собрание, где должен быть бал; перебить там всех русских, между прочим ненавистного всем начальника уезда Гинча, арестовать начальника гарнизона генерала Ладыженского и вынудить у него приказание войскам, какое будет потребно. В собрании, вероятно, еще пристанет несколько народу; тогда идти и освободить арестантов, снабдить их оружием гарнизон, а далее действовать по усмотрению».

Поспорив немного с Жарским, который находил более выгодным атаковать прежде Собрание, а потом гауптвахту, Потоцкий настоял, чтобы от плана несколько не отступали, и повел свою команду к гауптвахте².

На платформе бродил чуть видимый во мраке часовой, слабо озаряемый близ висевшим фонарем. Потоцкий, подойдя к нему внезапно и уставя в упор ружье, сказал: «Кричи

¹ Следовало приехать скорее (от Цыси до Седлец всего 10 верст), они попали не на ту дорогу (на Зельков), блуждали и наконец, взяв направление к деревне Игоне, выехали на тракт, ведущий к Седльцам.

² До нее от заставы около 400 сажень.

пardon!» Но часовой, вместо всякого ответа, спустил на руку ружье. Тогда Коцишевский, бросившись с другой стороны, ударил его в бок кинжалом: солдат упал, застонав. Потоцкий взял его ружье и отдал одному из мужиков, которые все время держались боязливо поодаль. Происшедший на платформе шум и стоны раненого солдата разбудили часть команды; двери отворились, и оттуда выглянуло несколько голов. Потоцкий закричал: «Клади ружья, клади ружья!», хотя никаких ружей не было и видно, и с этими словами выстрелил в дверь и ранил солдата. Потом кто-то из его людей пустил выстрела два-три в окна, после чего все побежали к казначейству, которое было недалеко. Там вышла точно та же история: ранены часовой и солдат; последний — выстрелом, пущенным в окно. Потоцкий опять кричал: «Клади ружья!» Разумеется, нападающие ожидали помощи, но ее ниоткуда не являлось. Улицы были тихи. Только немного погодя раздался звон каких-то шпор: это шел жандарм, посланный уездным начальником из Собрания узнать, где и кто стреляет. Едва люди Потоцкого его увидели, как грянуло несколько выстрелов, и один сбил жандарма с ног. Сочтя его убитым, Потоцкий с командой пошел поспешно к Собранию¹. Мужики опять держались поодаль.

Бал был в полном разгаре, несмотря на позднее время. Многие из находившихся там поляков поджидали Потоцкого, но только не с семью человеками его же собственных крестьян...

Вдруг грянули выстрелы. Дамы бросились в задние комнаты. С иными сделалось дурно. Мужчины, подбежав к ним, сказали: «Не бойтесь, это наши!»

Одним выстрелом ранило жандармского унтер-офицера, а другим — служителя при шинелях. Потоцкий кричал: «Кто поляк — к оружию и соединяйся с нами!» Но и здесь никто не шел. Уездный начальник Гинч выскочил на крыльцо посмотреть, что такое делается. Потоцкий, узнав его, подбежал и, уперши пистолет в самую грудь, спустил курок. По

¹ От гауптвахты до Собрания 50 саженьей.

счастью, произошла осечка. В дверях стали показываться военные... Видя, что дело плохо, заговорщики бежали врассыпную по Флорианской улице, к Збучинской заставе. Впрочем, Гинч захватил двух мужиков.

Проблуждав целый день, 22 февраля, по лесам, Потоцкий, Жарский и Коцишевский очутились к вечеру в деревне Млынки (21 верста от Седлец), где наняли фурманку до Мелехова; но, доехав до деревни Жебрака (от Млынок 4 версты), бросили ее и пошли пешком. В 11-м часу ночи они добрались до деревни Новаки (от Жебрака 8 верст) и постучались в одну крестьянскую избу, прося пустить их переночевать. Хозяин пустить пустил, но со страху бежал куда-то, а жена его сварила гостям яичницу. Это была первая их пища после того, как они оставили Цысю. Из Новак Жарский и Коцишевский перебрались в деревню Пирог (от Новак 3 версты), принадлежавшую матери Потоцкого, а сам Потоцкий попал на мельницу той же деревни, называвшуюся Деркач (Пирог от Седлец 1,5 версты, а мельница Деркач саженьях во ста от этой деревни). Мельник Яворский, узнав барина и догадавшись, что заставило его искать приюта на мельнице в такую пору (слухи о затеях панов давно бродили между разными сословиями сел и деревень), перепутался и дал знать в Цысю, тамошнему солтысу: тот явился с мужиками и арестовал своего помещика¹. Точно так же взяты Жарский и Коцишевский и доставлены в Седльцы. Литынский и прочие разысканы после — кто в Седльцах, кто в Варшаве². Добрич взят в имении своего брата, куда, как мы видели, уехал.

¹ В Цысе уже знали о происшествии в Седльцах.

² Сообщаются такие подробности о взятии Жарского и Коцишевского. Они зашли к крестьянину Песеку, который, сочтя их за недобрых людей, собрал 9 человек мужиков, но не решился с ними идти на двоих вооруженных и побежал в ближайшую деревню, к эконому Фридриховичу, за народом. Фридрихович сказал, что у него весь народ пьян, по случаю Масленицы, некого дать. «А ты карауль бунтовщиков: я смахаю в город и возьму оттуда казаков!» — сел верхом и, проскакав 16 верст в три четверти часа, явился к уездному начальнику, и тот дал казаков; но когда они прибыли в Пирог, Жарский и Коцишевский были уже связаны тамошними мужиками при помощи трех, пришедших из деревни Котуня.

Деятельность следственной комиссии закипела. Менее чем в месяц было рассмотрено и окончено дело всех захваченных лиц. Затем, по составлении приговора военным судом, Паскевич подтверждал: «Потоцкого, Коцишевского и Жарского повесить: первого — в Седльцах, а двух остальных — в Варшаве. Рупрехту и Добричу, исполнив над ними весь обряд повешения, даровать жизнь и потом сослать их в каторжную работу, в рудниках, без срока; а Литынского, прогнав сквозь строй через 500 человек один раз, тоже сослать в каторжную работу в рудниках без срока».

Государь император утвердил эту конфирмацию, и она была исполнена: в Варшаве 4 (16) марта, в 10 часов утра, на гласисе Александровской цитадели; в Седльцах 5 (17) марта, в 3 часа пополудни.

С остальными обвиненными поступлено согласно приговору военного суда, а именно: Грушецкий сослан в Сибирь, в каторжную работу в крепостях, на 10 лет. Толинский и Бембковский сосланы просто на поселение. Сопричастные заговору помещики Островский и Боржеславский отданы в солдаты в отдельный Сибирский корпус.

Тем временем Варшава приняла вид военного положения, хотя оно, собственно, и не было объявлено. В разных пунктах поставлены военные посты: у Замка — рота пехоты и сотня казаков; на Старом Месте — рота и эскадрон; у моста через Вислу — взвод пехоты; у банка — рота и взвод; у арсенала — тоже рота и взвод; на Саксонской площади — то же самое; на Александровской и Красинской площадях — то же по роте и по взводу.

Сверх того, к складочному варшавскому магазину, где хранились косы, приставлен сильный караул и приказано свезти все косы Царства Польского, хранившиеся на частных и казенных заводах, в ближайшие крепости и остановиться дальнейшим их производством впредь до особого разрешения¹.

По всему Царству скакали офицеры, которым приказано проследить, не замечается ли где революционного

¹ Официальные источники.

движения, и в случае, если что будет замечено, — распоряжаться энергически. Говорят, что главную массу этих офицеров взяли, по приказанию Паскевича, с какого-то бала: каждому в руки подорожная, простая и ясная инструкция — и катать!

Все беспокойное, что, может быть, и подымало там и сям головы, спешило снова спрятаться. Скакавшие по Царству офицеры видели кое-где одни подозрительные *съезды на охоту*, например, под местечком Турек (Плоцкой губернии) съезд в 500 человек, которые, впрочем, тут же и разъехались по домам.

Несколько мелких банд возникло единственно на самом юге Царства, у австрийской границы, именно в Меховском уезде, Радомской губернии, и то с тем, чтобы немедленно скрыться в Галицию. Часть из них сформирована помещиками Лисовскими, Романом и Иосифом, под влиянием Казимира Хмелевского, которого послал в ту сторону Добрич. О них мы не имеем подробных сведений.

Другие банды возникли под влиянием арендатора деревни Люборжиц (Меховского уезда) Людвиг Мазараки. О них известно следующее. Незадолго до восстания Мазараки и зять его Алоизий Венде, тоже арендатор, распространили по ближайшим к ним гминам, Острову, Ваврженчицам, Иголомии и местечку Бржеску, довольно много возмутительных прокламаций, где говорилось, что «скоро встанут все славянские народы прежней Польши, от моря до моря, и крестьянам будут дарованы земли. Поэтому войты гмин и бургомистры должны вооружать, под страхом смерти, народ подведомственных им мест, от 18 до 45 лет, чем придется: косами, топорами, пиками, а где можно, и огнестрельным оружием, и явиться со своими людьми к Логановской корчме (две версты от местечка Прошовиц) 20 февраля н. ст.¹, в 12 часов ночи, а оттуда высшими вождями будут направлены в разные пункты для партизанских действий, а именно: нападать на мелкие отряды, казаков

¹ Прошовицы — 12 верст от границы.

и пограничную стражу, забирать у них оружие, лошадей, седла, сбрую и все пригодное для повстанческих войск.

В назначенный срок две банды, одна Франца Сташевского, а другая Сигизмунда Иордана, явились у Логановской корчмы. К ним присоединился и сам Мазараки, с бандой из Люборжиц, и все вместе, прождав понапрасну банду экспедитора почт Подгурского из Гебдова¹, двинулись к Прошовицам, окружили дом, где стояли три казака; один притом выскочил и был ранен, а другие два спрятались. Банды забрали их лошадей и пошли к Иголомии и Ваврженчицам², где отняли у инвалидной команды и стражников оружие и бежали под Краков.

Здесь дела были в самом критическом положении с того времени, как Мирославский, окончив выборы членов будущего народного правительства, уехал в Познань. Ожидаемые с часу на час офицеры из Франции не прибывали, а дни летели быстро, притом самые тревожные, под страхом ежеминутных арестов и разоблачения тайны. Назначенный срок восстания близился. Пришлось набрать поспешно предводителей из шляхты вроде тех, какими были Мазараки, Венде, братья Лисовские. Пока они знакомились с бандами, изучали инструкцию и местность, производили возможные учения, — грянул гром: Австрийский отряд внезапно занял Краков (утром в 4 часа 18 февраля н. ст.), где дотоле не было никаких войск; а потом получено известие об аресте Мирославского и отсрочке восстания. Что тут было делать? В квартире Альциаты, незадолго пред тем воротившегося из Франции, сошлись выбранные от Галиции и Кракова члены народного правительства, Тиссовский и Горшковский, и стали обдумывать свое положение. «Чтобы отложить восстание, разослать об этом приказы в разные

¹ Он был разбит на дороге казаками, которые отправились выручать товарищей, захваченных бандой войта гмины Кршешовице, Романа Працкого, на посту в Видоме, и выручили. Перед тем та же банда Працкого произвела нападение на Кршешовице, но была отражена местной командой. Вот и все нападение в Царстве.

² Оба местечка у самой границы. В Иголомии — таможня.

места, времени было еще довольно: трое суток¹. Но будет ли толк? Послушают ли везде этих приказов люди, которых чувства до такой степени напряжены и которые употребили на приготовление столько хлопот, испытали такие тревожения, принесли довольно существенные жертвы? Наконец, надо знать и своеволие этого народа в Галиции, этих маленьких диктаторов и вождей, воображающих о себе бог весть что. Иные и внимание не обращали, что есть в Кракове какой-то член Централизации Альциата, члены будущего правительства Тиссовский и Горшковский. Не лучше ли было поэтому встать всем и ударить на Краков, даже хотя бы погибнуть; в такой жертве будет смысл, будет урок следующим поколениям. Но можно и не погибнуть... Если взрыв произойдет сейчас, дружно, всеми силами, то есть еще шансы выиграть дело, разбить австрийцев, занявших город: их не так много... и они что-то суетятся, как бы чем-то встревожены... Только нужно не медлить ни минуты. Иначе к этим робким австрийцам подойдет подкрепление или придут русские, о которых уже носились слухи, что они готовятся к походу. Удачное же, благовременное восстание, всеми существующими силами, может поднять всю Галицию, и тогда пусть приходят русские, пусть приходят австрийцы, пруссаки: будет чем с ними помериться!»

Так, более или менее, рассуждали сошедшиеся у Альциаты вожди Галицийской организации². Тиссовский сказал под конец, что согласился бы на последнее, то есть поднять край и ударить на Краков, если бы только был под рукой человек, способный принять начальство над войсками; но такого человека нет: стало быть, восстание будет без вожда, массы лягут бессмысленной жертвой. На такое восстание Тиссовский не изъявлял согласия. Альциата объявил, что он вполне разделяет его мнение, прибавя, что есть и еще недостатки, известные ему очень хорошо и почти равняющиеся отсутствию вожда; а потому и он готов употребить все, от

¹ Сборище у Альциаты происходило утром 19 февраля н. ст.

² Альциата, из статьи Wypadki w 1846 roku.

него зависящее, чтобы восстания не было и бессмысленных жертв не пало. Хитрый и осторожный Горшковский не возражал и вообще вмешивался в эти рассуждения мало. Поэтому было решено послать немедленно по Галиции курьеров с отменой восстания, а там, послушают или не послушают такого приказа, это уж не их дело, не дело правительства: в жертвах, которые падут тогда, они вины на себя не примут. Тиссовский и Горшковский положили выехать во Францию и пошли укладываться. Альциата же стал готовить курьеров, и несколько человек собрались к нему довольно скоро. В то время, как он с ними разговаривал, снабжая их всем необходимым: письмами, знаками, декретами — вдруг отворилась дверь и вошли опять Горшковский и Тиссовский, объявляя, «что они не едут; что, по соображении у себя на дому всех обстоятельств, находят неприличным блуждать по чужим землям, когда своя в таком критическом положении. К тому же они еще не так скомпрометированы, чтобы бежать. А что вот таких-то де не мешало бы отправить за границу, а то им будет плохо».

Альциата отвечал, что эти лица выезжают немедленно и сейчас явятся за инструкциями и бумагами¹. Они действительно вскоре явились. Произошли трогательные проводы, с известной обстановкой, вроде той, при которой вручалась Заливскому в Париже сабля: правительство, оракулы восстания, попросту сказать, подкутили, и все вдруг настроилось совершенно иначе: у каждого в ушах затрубили трубы, перед глазами мелькнули победоносные орлы. Восстание стало возможным, необходимым. Те отряды, что ближе к Кракову, должны представить действующий корпус, а те, что далее (иные стояли за семь миль от города), послужат резервом. Ура!.. Альциата, рассказывая об этой сцене, справедливо замечает: «Прискорбно положение народа, на судьбы которого имеют влияние подобные заседания и советы!»²

¹ В показаниях Тиссовского, 25 мая н. ст. 1846 года, в Кёнигштейне, говорится, что и Альциата выехал внутрь края.

² Альциата, Wypadki w 1846 roku.

Приготовленные курьеры полетели рассеивать приказание совсем другого свойства, нежели те, за какими их призывали. Из опасения подкреплений австрийцам и прихода русских войск восстание подвинуто вперед целыми сутками, не с 9-го на 10-е, а с 8-го на 9-е, в ночь.

Отряды только этого и ждали. Несколько ближайших к Кракову банд немедленно двинулись в поход и ударили на город около 12 часов ночи, от предместья Звержинец, но были отражены австрийскими войсками, понеся большой урон¹. Другие, отдаленнейшие, ударили в 4-м часу утра, от предместий: Клепажа, Весолы и Страдомя. Их судьба была та же, что и первых: часть перебита, часть рассеялась, часть захвачена в плен. Раздавшиеся в это время выстрелы из трех домов, из одного на Гродской улице, из другого на углу Флорианской (что зовут «под Арапами») и из третьего, трактира Фохта, обошлись очень дорого жителям этих домов: они были все до одного переколоты разъярившимися австрийскими солдатами; в том числе погибла какая-то красивая молодая девушка, тоже, как говорят, стрелявшая из окна.

К полудню 9 (21) февраля настала в городе необыкновенная тишина. Начальствующий австрийскими войсками генерал Коллин-де-Колштейн объявил военное положение, которым запрещалось жителям спустя два часа по оглашении показываться на улицах, впредь до особого распоряжения. А кто не послушается, в тех грозили стрелять, и действительно стреляли.

Казалось, все кончено... Вдруг, на следующий день, 22 февраля н. ст., в 6-м часу утра, начавший так грозно и так энергически генерал Коллин отступил к предместью Подгурже, имея (кто этому поверит?) 1300 человек пехоты, несколько эскадронов кавалерии и 6 орудий; а потом удалился вглубь страны.

¹ С этих пор наши официальные документы: донесения резидента и других лиц, а также правительственный «Дневник сведений и распоряжений вследствие покушения мятежников в Кракове, Позене, Галиции и Царстве Польском».

Альциата говорит в своих «Записках», что поводом к этому отступлению послужили слухи о некоторых успехах восстания внутри края, о взятии местечка Хршанова, где рассеян австрийский гарнизон, и о движении народных масс на помощь повстанцам, что могло пресечь Коллину отступление к главному отряду¹.

Вслед затем выехали из города президент сената со своим помощником и полицейские власти.

Город ничего не мог понять, что такое творится и чего испугался генерал Коллин. Более влиятельные лица белой партии собрались в доме графа Иосифа Водзицкого и решили отправить от себя депутацию в Подгурже: спросить у президента сената, действительно ли он и войска удалились из Кракова и назад не воротятся?

Получив утвердительный ответ, собравшиеся у Водзицкого составили *Комитет общественной безопасности* из следующих лиц: графа Иосифа Водзицкого, графа Петра Мошинского, обывателя Иосифа Коссовского, банкира Леона Бохенка и проживавшего у него некоего Антона Гельцеля, людей более или менее в городе известных и пользовавшихся уважением.

Этот комитет, в виде временного правительства, начал свои действия тем, что учредил *городскую стражу*, разделил ее на сотни и назначил сотников, которые разместили свои команды по разным пунктам; между прочим часть была приставлена к тюрьмам и казначейству.

Затем граф Водзицкий написал *воззвание к народу*, где, устраняя от себя всякую власть и объясняя учреждение комитета и стражи единственно необходимостью сохранить в городе какой-либо порядок, по случаю отбытия войск и действительного правительства, просил жителей помочь ему чем кто в состоянии, покамест будет учреждено что-либо прочное или воротятся власти².

¹ Альциата, Wypadki w 1846 roku.

² Из показаний разных лиц, между прочим Гавронского, которому было поручено отправиться с этим воззванием в типографию; но он, придя туда, нашел, что печатается воззвание другого правительства, о коем мы сейчас скажем.

Между тем улицы наполнялись вооруженным народом, притекавшим со всех концов. Это были остатки нападавших накануне банд, перемешанные с пьяными мужиками и не имевшие никакого предводителя, или такие, кого никто не слушал. С Марьявицкой башни¹ кто-то ударил в набат. Везде раздавались крики: «К оружию! к оружию!» Жители в испуге попрятались, а вооруженный сброд начал гулять по рынку и по главным улицам, врываясь в иные дома и лавки, стреляя из ружей и производя разные другие беспорядки. Стражники, приставленные к тюрьмам, бежали; арестанты были выпущены и присоединились к гулявшей толпе.

Водзицкий бросился на площадь и, собрав около себя кучу народу, стал читать им свое скромное *воззвание*, никак не воображая, что в нескольких шагах оттуда готовилось тогда же другое *воззвание*, другого правительства, точнее *манифест*, не так скромный.

В дом Вальтера, почти напротив Марьявицкой башни, через площадь, в квартире, нанятой заблаговременно Рогавским, будущий диктатор Тиссовский (пока член революционного правительства от Галиции), опершись на стол, важно диктовал этот *манифест*, сообщенный ему в общих чертах из Парижа. Продиктованное поспешно уносили в типографию, набирали и печатали (и с этим-то печатанием встретился Гавронский, посланный Водзицким).

Вдруг, во время диктовки, среди шума и движения разных лиц, отчасти близких «правительству», отчасти привлеченных любопытством, в залу вбежала вооруженная толпа, предводимая Горшковским, и объявила Тиссовскому, что в городе существует другое правительство и что глава его, граф Водзицкий, уже читает на рынке воззвание к народу. Вмиг сообразив опасность, Тиссовский крикнул вошедшим

¹ Так называется довольно высокая колокольня храма Успения Богоматери на углу главной площади, иначе рынка, и Флорианской улицы, замечательная тем, что с нее, по старому обычаю, всякий час, днем и ночью, трубят трубач на четыре стороны света, за что город платит ему около 10 рублей в месяц. Этот трубач имеет две каморки с печью под самыми колоколами.

по-диктаторски: «Привести их сюда, кто это читает! Если не послушают слов, употребить силу!»

Толпа ринулась, и Водзицкий с товарищами, бледный и перепуганный, явился через минуту перед Тиссовским, который объявил ему, что «народное правительство, в таком-то составе, приняло бразды правления и заботится о приведении города в надлежащий порядок; а потому существование другого правительства, одновременно с действительным, странно и неуместно».

Водзицкий спросил только: «Кто же выбрал это *действительное* народное правительство? Откуда оно имеет власть распоряжаться так, как распоряжается?»

Тиссовский отвечал, что «выбрано оно Познанской организацией, с польскими депутатами из Франции и других мест».

Коротко и ясно. Дальнейшие вопросы не повели бы ни к чему. Тон Тиссовского, зала, набитая наполовину вооруженным сбродом, который слушался только Тиссовского, говорили Комитету общественной безопасности, что не время выказывать власть, а надо повиноваться. Тиссовский, продиктовав последние строки *манифеста*, объявил своим гостям, что вскоре соберутся военные чины для обсуждения разных вопросов, между прочим для выбора командующего войсками; что им уже «дано знать». В самом деле, посланные народным правительством люди спешно рассылали воззвание ко всем отставным и состоявшим на службе военным полякам, чтобы они к 9 часам утра собрались, под страхом смерти, в дом народного правительства, находящийся там-то.

Делать нечего: поднялось с одров разное старичье, достало свои заплесневелые мундиры и потащилось в дом народного правительства. Между ними был один, помнивший даже Косцюшку: некто Ржуховский¹. Он явился, об-

¹ Он был родом из Келецкого повета. Отец его арендовал разные деревни. В 1786 году Казтан Ржуховский, будучи 14 лет, вступил в Литовскую гвардию и прослужил в ней всю Костюшкину революцию. Потом взят в австрийскую военную службу. В 1795 году произведен в поручики.

лаченный в белый сюртук с эполетами, и рекомендовался Тиссовскому воином Косцюшки.

Это ли обстоятельство или его эполеты на белом, хотя и грязном, сюртуке выдвинули его вперед. Тиссовский, объявля присутствующим, что открывает баллотировку для выбора командующего войсками, повел себя и тут как диктатор: сам читал список баллотируемых офицеров и объяснял достоинства каждого. Ржуховский был выставлен им как более всех других отвечающий званию командующего¹, и его выбрали. Первое, что нужно было сделать: занять чем-нибудь шатающийся по площади вооруженный народ, который продолжал стрелять и дебоширствовать. Ржуховский получил приказание вести людей к мосту, соединявшему город с предместьем Подгурже, и развести его, якобы для того, чтобы австрийцы не могли воротиться. Ржуховский отправился, но развести моста не сумел, а только сжег одну его арку, после чего команда его опять вышла из повиновения, воротилась на площадь и принялась за то же, что делала прежде, то есть стреляние из ружей и разгуливание из угла в угол, без всякого порядка. Назначенный комендантом города офицер бывших польских войск Червинский (человек тоже весьма немолодой) занял некоторую часть бродивших учреждением караулов у гауптвахты, находившейся там же, на площади, и дал знать Тиссовскому, чтобы тот принял какие-нибудь меры для окончательного обуздания своевольных масс. Тиссовский сам видел в окошко, что дело умирения толпы идет плохо, и сам придумывал средства... В это время принесли только

В 1805 году вышел в отставку капитаном, но в следующем 1806 году опять поступил на службу и в 1812 году получил чин подполковника. В 1815-м снова вышел в отставку, арендовал разные имения, а в 1830 году очутился опять в воинских рядах, командуя 1-м полком Кракусов. В 1831-м вышел окончательно в отставку и поселился в Кракове. В 1846 году ему было 74 года.

¹ Так, по свидетельству многих из бывших в зале. Тиссовский же говорит, что «какой-то нахал в белом сюртуке сам выбрал себя в командующие, пользуясь хаосом».

что отпечатанный экземпляр *манифеста*. Тиссовский ухватился за него, как за якорь спасения, и, являсь на площадь, прочел громким голосом:

«Манифест Польской республики к народу польскому.

Поляки! Час восстания пробил. Вся разорванная Польша встает и собирает свои части. Встали наши братья в княжестве Познанском и Конгрессовой Польше, на Литве и на Руси, и бьются с супостатом за свои святые права, отнятые у них коварством и насилием. Вы знаете, конечно, что творилось там и творится постоянно. Цвет нашего юношества гниет по тюрьмам; старцы, которые нас поддерживали, преданы поруганию; духовенство лишено всякого значения, — словом, каждый, кто только делом или даже хоть одной мыслью стремился жить и умирать для Польши, уничтожен, либо ждет с часу на час в тюрьме этой участи. Отдались в наших сердцах и растерзали их до крови стоны миллионов, засеченных, замученных по темницам, служащих солдатами в рядах угнетателей; стоны терзаемых всем, что только может человек вынести. Враги отняли у нас нашу славу, запрещают нам говорить по-польски, исповедовать веру отцов, препятствуют улучшениям всяких учреждений, вооружают братьев против братьев, распространяют клеветы о достойнейших сынах отечества. Братья! Еще один миг — и Польши не будет! Не будет ни одного поляка! Внуки наши будут проклинать нашу память за то, что вместо лучшего края земли мы оставили им пустыню и развалины; допустили оковать цепями самый доблестный из народов мира; что они должны исповедовать чужую веру, говорить на чужом языке и быть невольниками похитителей прав своих. Прах отцов наших, мучеников за народное дело, вопиет к нам из могил, чтобы мы отмстили за них; вопиют к нам дети, чтобы мы сохранили им отечество, вверенное нам Господом Богом; вопиют к нам свободные народы всей земли, чтобы мы не дали погибнуть святым основам народности; взывает сам Бог, который потребует от нас отчета в делах жизни нашей.

Нас двадцать миллионов: встанем как один человек, и силы нашей никто не одолеет! Будет у нас свобода, какой еще не видали на земле; дойдем до такого устройства общества, где каждый будет пользоваться доходами с земель по мере заслуг и способностей. Ни о каких привилегиях, под какой бы то ни было формой, не будет и помину. Напротив, каждый поляк найдет обеспечение для себя, жены и детей; каждый, страдающий каким-либо недугом, душевным или телесным, будет призрен, не слыша ни малейшего укора с чьей-либо стороны. А земля, состоящая только в условном владении крестьян, сделается их безусловной собственностью; всякий чинш, панщина и тому подобное уничтожаются; а служба народному делу с оружием в руках будет награждена землей из народных имуществ.

Поляки! Забудем всякую между собой разницу, станем братьями, сынами одной матери-отчизны, одного Отца Бога на небесах! Его призовем на помощь, и Он ниспошлет силу нашему оружию и даст нам победу. Но дабы Он услышал наши молитва, не будем позорить себя пьянством, грабежом, самоволием, убийством безоружных иноверцев и чужеземцев; ибо не с народами, а с притеснителями нашими мы имеем дело. Теперь же в знак единства наденем народные кокарды и произнесем такую присягу: "Клянусь служить моей отчизне, Польше, словом и делом! Клянусь посвятить ей все мои личные интересы, имущество и жизнь. Клянусь исполнять беспрекословно всякие приказания народного правительства, учрежденного в Кракове, 22 сего февраля, в 8 часов пополудни, в доме под Христофорами¹ и слушаться всякой власти, от него поставленной. Господи Боже, помоги мне в этом!"

Манифест сей должен быть напечатан в правительственной газете и разослан по целой Польше в отдельных экземплярах, дабы его оглашали с амвонов по костелам, а в гминах прибывали по стенам, на видных местах»².

¹ Так в народе называется дом Вальтера, что на рынке.

² Подлинник, между прочим, в «Записках» Гельтмана (Biblioleka Piszarzy Polskich. T. XXXV. S. 87). Авейде говорит, что этот манифест написан И. Высоцким (I, 180).

Чтение покрывалось не один раз оглушительными криками восторга. В манифесте было все, что нужно поляку, чтобы настроить его патриотически. Многие фразы повторялись потом на площади, когда Тиссовский, упоенный эффектом, который произвел на чернь, воротился опять в правительственный дом, даже почти был унесен на руках при громогласных "ура". Он чувствовал силу, власть. Квартира, занимаемая правительством, показалась ему сумрачной и недостаточно обширной. Он решил тут же, для придания правительству большего значения и важности, перебраться немедленно в какой-нибудь дом повиднее. Таким домом представился ему Общественный клуб, носивший в городе название Серого дома. Ту же минуту народное правительство (то есть Тиссовский, Горшковский, Гржегоржевский и Рогавский) отправились в залу клуба, увлекая за собой все, что было в прежнем правительственном доме: кучу военных, дожидавшихся приказаний, и разный любопытный народ. Едва только члены уселись, Тиссовский, снова играя роль председателя, диктатора, первенствующее лицо, спросил: «Что теперь делать, господа? Что вам всего нужнее?» Гржегоржевский и несколько за ним, по преимуществу статских, отвечали, что всего нужнее баррикада!

Такие странные требования возбудили почти всеобщий смех. Особенно смеялись старики военные. Однако Гржегоржевский настаивал и, когда Тиссовский, по соображении всех обстоятельств, отказал в согласии на постройку баррикады, сказав решительным тоном, что «ее не будет, покамест он — член правительства, что такой нелепости, ни с чем не сообразной, допустить нельзя», Гржегоржевский подал в отставку. Тиссовский счел лишним закрепить свое постановление о баррикаде декретом, который и был напечатан в правительственной газете. Вслед за тем выдано еще несколько постановлений, между прочим предписано всем вооруженным людям, где бы они ни находились, сосредоточиваться в окрестностях Кракова. Манифест и это предписание, разосланные с осо-

быми курьерами, жадно читаемые и по-своему толкуемые по деревням и местечкам, усилили движение. В самом деле, к Кракову направились толпы народа, вооруженного и невооруженного. Как всегда случается в революциях, это движение масс было чересчур преувеличено в рассказах и толках жителей всех мест. Пантофлёва почта (то есть жида) переносила из края в край, что идут десятки тысяч, что восстание с часу на час приобретает силу; что уже тронулись силезцы из Пруссии; что народное правительство снабжает всех, желающих поступить к нему на службу, белыми и синими куртками; что в одном Кракове не менее 10 тысяч повстанских войск; что часть их скоро двинется на Кельцы, а к 1 марту будет поголовное восстание. Про генерала Коллина говорили, что он отрезан от сообщения с внутренней армией.

Эти слухи и кое-какие революционные явления (захват повстанцами разных казенных сумм) до того перепугали некоторых бургомистров и крейс-комиссаров Галиции, что они решились обратиться за помощью к хлопам и возбудить их против помещиков, что всегда так легко. Даже, если верить иным официальным источникам (не говоря уже об общих слухах), крейс-капитаны и старосты округов Тарновского и Бохенского прямо объявили крестьянам, что «за живого предводителя восстания правительство выдает 5 гульденов, а за мертвого — 10»¹.

Хлопство ринулось на ненавистное ему по крови и по преданиям сословие. Произошли сцены, которые тяжело описывать. Конечно, австрийское правительство (на совети которого лежит много всяких мрачных деяний) желало

¹ По другим сведениям, за живого — 6 гульденов, а за мертвого — 12. Военный начальник Радомской губернии, полковник Горлов, известный своей расторопностью, вследствие чего был послан фельдмаршалом на границу наблюдать за движением, в одном из своих донесений, от 1 (13) мая 1846 года № 474, выражается так: «Я удостоверился, что тарновский и бохенский старосты и крейс-капитаны, устрасясь возмущения и желая предупредить всеобщий бунт, объявили награду за каждого доставленного шляхтича, живого или мертвого».

бы вычеркнуть из своей истории эти печальные страницы... Помещиков били, увечили, часто ничуть не причастных к заговору. Одного, какого-то Карла Котарского, перепилили пилой¹. А может, и не одного. Считалось необыкновенным счастьем, если, избив до полусмерти, вязали и отправляли в город. Дома и хутора помещиков на пространстве нескольких округов были разграблены, а кое-где даже и сожжены. Скот и хлеб помещичий разделены мужиками между собой. Разумеется, кто успел, бежал куда глаза глядят. Иные явились на нашем берегу Вислы. И долго ни помещиков, ни ксендзов, ни мандатариев², ни экономов, ни войтов гимн не видно было по селам и деревням. Главная резня происходила на Масляной. Всех убитых помещиков насчитывают до 800 семейств, преимущественно в округах: Тарновском, Бохенском, Ржешовском, Ясельском, Саноцком и Сандецком. В одном Тарновском убито 180 человек, из которых только 16 можно было кое-как узнать в лицо³.

Были, впрочем, места, где крестьяне ограничились одной ревизией помещичьих домов: не скрыто ли где оружия, пороха и припасов, — а самих помещиков не трогали. К таким местностям относятся деревни: Кросно, Долгое, Жненцин, Жеальцы, Хорховка, Ворки, Кобыляки, Сулистров⁴.

Народ ходил в праздничных одеждах, ничего не делая, а только бражничая, по крайней мере целую неделю. Кое-где галицийские мужики подходили кучами к нашей границе и кричали мужикам Царства Польского, через Вислу: «Что ж,

¹ Сведения из письма, сообщенного киевским генерал-губернатором Бибиковым Паскевичу. Надо заметить, что тогда юго-западные губернии и Литва были подчинены наместнику Царства Польского высочайшим приказом от 21 февраля 1846 года, почему оба генерал-губернатора обязаны были доносить фельдмаршалу обо всем, что только найдут достойным замечания. Известное побоище в селе Горожане Самборского обвода в 3,5 мили от Львова, описано очевидцем, счастливо спасшимся от смерти, неким В. Чаплицким, и напечатано под заглавием: «*Powiesć o Horożanie, Lwów*» (1862).

² Мандатарий (*mandatariusz*) — деревенский судья. Также — агент и поверенный по делам.

³ То же письмо с места действия, доставленное Бибиковым Паскевичу.

⁴ То же письмо.

вы-то скоро ли начнете душить своих панов?» Говорят, будто шляхта крикнула в одном пункте с нашего берега галичанам: «Нет, это мы придем к вам на Пасху и наделаем из вашего брата окороков и колбас!»

Вот когда грянуло известное *Письмо польского дворянина к князю Меттерниху* — «Lettre d'un gentilhomme polonais au prince de Metternich...»

Вести об этой резне и о приближении русских и прусских войск очень скоро достигли Кракова и сильно встревожили белых, точнее сказать — все умеренное. Конечно, люди, ничего не ожидавшие от детского, необдуманного восстания, стали задавать друг другу вопросы: «Куда идет так названное народное правительство? Что готовит краю? В чью голову распоряжается по-диктаторски Тиссовский?» Недовольных им было много, но ни одного, кто бы решился против него открыто вооружиться. Все только шушукали в тишине, высказывали друг другу неудовольствие, и более ничего. Первый, решившийся объясниться с Тиссовским, иначе сказать, с правительством (которое, по выходе в отставку Гржегоржевского, состояло собственно из двух только членов: Горшковского и Тиссовского), — был Николай Лисовский, присланный, как мы видели выше, организацией Царства Польского для подачи голоса на съезде уполномоченных при выборе членов правительства от Галиции. Он считал себя очень важным лицом, воображал, что за ним следят больше, чем за другими, и в первые минуты взрыва спрятался. Теперь, когда порядок в революционном смысле, по мнению гг. Тиссовских, стал восстанавливаться, то есть прекратилось, более или менее, разгуливание праздного народа, выстрелы и дебоширство, Лисовский явился в старый правительственный дом, куда Тиссовский ушел с Горшковским для домашних совещаний после прений о баррикаде и других предметах в Сером доме.

Прежде всего он сообщил товарищам, что «он жив». Потом стал укорять Тиссовского за некоторые распоряжения, могущие вызвать вмешательство соседних держав, в особенности России, и разрушить их Краковскую республику.

Тиссовский слушал молча. Состояние его духа было в высшей степени тревожно. Он и сам, без всяких Лисовских, знал, что дело идет плохо, был не прочь свалить с себя приличным образом бремя правления, предоставив другим решать крайне затруднительные вопросы отечества, отвечать перед современниками и потомством. Сверх всего, что носил он в своей груди, сверх той нравственной тяжести, которая его постоянно давила к земле, во все эти дни, он был просто-напросто болен и разбит физически. Он почти не спал трое-четыре суток сряду. Ему нужен был покой, хотя бы на несколько часов. Подумав немного и сообразив все обстоятельства, он сказал Лисовскому: «Хорошо так рассуждать, а ты бы вот попробовал управлять республикой в такие минуты, при такой печальной, безвыходной обстановке, когда нет ниоткуда помощи, когда кругом апатия и безмолвие, а русские штыки нависли и угрожают! Коли хочешь, садись и пиши законы. Вот тебе моя власть, вот тебе и мой шарф!»

С этими словами Тиссовский снял с себя шарф, который носил постоянно, как знак высшей власти, и повязал его Лисовскому. Лисовский был утешен этим, как ребенок. Ему показалось, что он точно может направить реку по тому руслу, по какому ей нужно течь, что именно его-то и недоставало для спасения погибающих. За все это время в нем вращалось очень много всяких мыслей и проектов. Не было только случая пустить их в ход. Теперь этот случай неожиданно представляется... Точно так же утомленный и не спавший, Лисовский как будто выспался, когда Тиссовский украсил его знаком своей власти, как известно, почти диктаторской. Лисовский почувствовал в себе необъятные силы творить, и творить много. Потолковав между собой еще с четверть часа, все четыре лица, составлявшие тогдашнее народное правительство Краковской республики, пошли в Серый дом, где Лисовский и Горшковский тотчас же начали что-то писать, а Тиссовский только смотрел издали, ни во что не вмешиваясь. Сон смыкал ему глаза; наконец, он не выдержал и ушел домой спать.

На другой день (24 февраля н. ст.), часов около семи, Тиссовского разбудили звуки труб, смешанные с каким-то неопределенным шумом и криками: в город вступал довольно стройный кавалерийский отряд Эразма Скаржинского. Отряд этот был невелик: всего 50 всадников, но за ними тянулась страшная масса вооруженных чем попало мужиков, тысяч до пяти. Слезши с коня, Скаржинский стал спрашивать: «Где народное правительство? Где Тиссовский?», и скоро был препровожден на квартиру последнего, который принял его совсем не так, как отставной член-руководитель правительства. Много значит для человека выспаться. Окинув взглядом из окна «свою армию», Тиссовский почувствовал себя опять диктатором. Вчерашнее происшествие с Лисовским, передача власти и шарфа представились ему странным, неестественным сном, каким-то нелепым кошмаром, который магически рассеяли звуки труб и солнечные лучи, игравшие на саблях улан, правда немногочисленных, но все-таки улан! Отчего нельзя превратить в таких же улан и все стоявшее сзади мужицкое воинство, с разным дреколием в руках? Отчего нельзя переменить это дреколие на сабли и пики, а сукманы — на мундиры с народными цветами?.. Тиссовский пошел немедленно в Серый дом, где Лисовский с Горшковским продолжали что-то спешно писать. Взглянув на них иронически, он сказал: «Все это, что вы написали, господа, теперь не нужно. Кто бы что ни думал и ни говорил об этом, — я принимаю диктаторскую власть. А вот и новый командующий войсками, Скаржинский, услуги которого республика, надеюсь, скоро оценит!»

Лисовский с Горшковским возражать не посмели. К тому же они были точно так же утомлены, и глаза их смыкались еще пуще, чем накануне у Тиссовского. Бой был ни с какой стороны не равен. Таким образом Тиссовский сделался диктатором и выпустил в свет следующий приказ.

«Диктатор Иван Тиссовский к народу польскому.

Беспорядки, начавшие вторгаться в коллективное правительство и получаемые отовсюду вести, что крестьяне, не понимая, в чем дело, бросаются на помещиков, заставили

меня взять власть в свои руки, о чем, извещая в особенности жителей города Кракова, предостерегаю всех, что часовые, стоящие у моих дверей, получили приказание не впускать ко мне никого, кроме тех, кто является, за известным знаком, с рапортом. А рапортовать могут только те, кто имеет сообщить что-либо существенно важное. С проектами и советами могут являться только те, кого я вызову.

Краков. Февраля 24-го дня 1846 года (Подписали) "Иван Тиссовский". "Секретарь Рогавский"».

Началось диктаторское правление. Тиссовский с новым командующим (старого вовсе и не уведомляли об отставке, на что он ничуть не претендовал и куда-то скрылся) занялись приведением в порядок армии, сортировкой солдат и назначением командующих частями, чего до тех пор не было, кроме назначения одного только коменданта. Старому артиллеристу, Францу Каминскому, старику 52 лет, приказано быть инспектором артиллерии. Он заметил диктатору, что никак не понимает, в чем будет состоять его служба как инспектора артиллерии, *когда артиллерии никакой нет*. Тиссовский отвечал: «Правда, что теперь нет, но скоро будет. Вы же сами выльете пушки на заводах Штейгера. А пока займитесь осмотром пороховых магазинов»!

Эти «пороховые магазины» состояли всего из 20 бочонков пороху, которые Каминский и осмотрел в каком-то сарае. Пушек никаких не выливали, а поставили на колеса одну валявшуюся с давних пор в Замке пушку, фунтового калибра, которой ни разу не удалось даже выстрелить.

Другой подобный воин прежней Польши, старик под 60 лет, Яцентий Кохановский, сделан был инспектором пехоты, и ему велено отправиться немедленно в Замок, где заняться сортировкой войск: отделить стрелков от косинеров, косинеров — от тех, которые имели какое-либо другое холодное оружие, и, наконец, таких — от не имевших оружия вовсе.

Кохановский отправился и нашел в Замке массу людей в самых разнообразных костюмах, где кое-какой сюртук играл роль мундира, а дрянное охотничье ружье было лучшим вооружением. Многие лица смотрели по-разбойничьи.

Это были выпущенные за два дня арестанты. Привести в порядок такое воинство было нелегко. Тиссовский ждал-ждал Кохановского с рапортом, наконец не выдержал, сел на лошадь и поехал в Замок сам, сопровождаемый тогда же назначенным начальником своего штаба, Иваном Непршецким, воином времен Наполеона. Они сделали строгий выговор Кохановскому за медленность и нерасторопность и принялись все втроем производить сортировку. Она кончена была кое-как часа в два. Затем начальство поехало смотреть собранную на рынке городскую стражу, которую разослали потом по разным пунктам. Заметим, что здесь инспектор артиллерии Каминский явился сотником 9-й гмины: таков был недостаток в офицерах.

Вечером диктатор занят был устройством министерств и разных управлений. Рогавский писал без усталости кучу приказов. Как творились министерства, достаточно рисует рассказ Горшковского о назначении министром внутренних дел седого старика Велегловского (когда-то председателя Краковского сената). В правительственный дом продолжали заглядывать разные любопытные; пришел и Велегловский. Диктатор, заметя его, шепнул Горшковскому, сидевшему подле: «Видишь этого седого мужа? Мне кажется, он бы годился в министры... например, внутренних дел? Не предложить ли?» — «Что ж, можно попробовать», — отвечал Горшковский. Подозвали «седого мужа» и приказали ему быть министром внутренних дел. Каноник Развадовский сделан точно таким же образом министром духовных дел. Некто Сухоржевский назначен организатором кавалерии, Воровский — организатором милиции, Губерт — военным начальником Подгуржа, Свитковский — военным губернатором города Кракова, Экельский — интендантом, Стражевский — директором полиции, Ротарский — президентом комиссии по продовольствию войск.

С духовным министром велись после переговоры о том, нельзя ли в Ченстохове произвести чудо!..

В промежутки от занятий (конечно, очень краткие) диктатор принимал разные депутации и давал аудиенции

некоторым лицам, желавшим ему представиться. Между прочим являлся к нему молодой граф Дзялынский, скиталец по белому свету и по всем польским диктаторствам. Начальник банды (человек в 200), действовавшей в Величке, и в то же время галицийский эmissар, Дембовский (уже известный читателям), который поспевал везде и напрашивался на разные предприятия, представил диктатору, 24 февраля н. ст., захваченную им в Величке казенную кассу — в 100 тысяч гульденов. Диктатор, желая умерить его чересчур горячие порывы, определил его в канцелярию холодного и рассудительного Велегловского (министра внутренних дел) секретарем, но тот расстался с ним через несколько часов.

Само собой разумеется, что все сколько-нибудь солидные и серьезные люди Кракова смотрели на эту диктаторскую комедию с сокрушенным сердцем. Появление австрийских войск снова под Краковом не обещало ничего хорошего для повстанцев. Говорили и о русских войсках, шедших на помощь австрийцам. Бывший *Комитет общественной безопасности*, с добавлением кое-каких новых лиц, собрался в ночь с 24-го на 25 февраля н. ст., в Сером доме, лишь только диктатор ушел отдыхать к себе на квартиру, и весь город успокоился. Тут были: граф Водзицкий, граф Мошинский, Иван Мирошевский, Иларий Менцишевский, профессор Вишневский и другие влиятельные представители белого Краковского кружка. Стали рассуждать о том, как бы помочь беде. Почти все находили необходимым прежде всего свергнуть диктатора, не стесняясь средствами. Пока обдумывали план, каким образом этого легче достигнуть, Тиссовский узнал о заговоре и прибежал в Серый дом. Раздражение против него было так велико, что его едва пропустили в залу. Он увидел себя во враждебном лагере, где, при малейшей заносчивости, не только мог быть арестован, но даже убит. Необходимо было уступить напору неблагоприятных обстоятельств. Тиссовский, выслушав, почти без возражений, укоры Вишневского и Хршановского в том, что он ничего не делает такого, что могло бы обеспечить спокойствие города на будущее время,

опять сложил власть и удалился. Собственно, ему нужно было только безопасно уйти домой. Здесь, окруженный друзьями, он разразился гневом на похитителей власти, представлял их изменниками отечеству и замышлял новое *coup d'état*. Слухи о появлении казаков у Михаловицкой таможни и общее смятение по этому случаю в городе утром 25 февраля н. ст. как нельзя более пригодились тут отставному диктатору. Военные силы его, между которыми были сверх прежних банд кавалерийский отряд Мазараки и банды двух Иордавов, обратились все-таки к нему же с вопросом: что им делать? Тиссовский послал их на границу для рекогносцировки. Потом, когда рекогносцировка, при небольшой стычке с казаками, кончилась, Тиссовский собрал другой отряд, включив в него всю свою пехоту, и велел ему отправиться против москалей и разбить их, если можно... Словом, он распоряжался опять всем. Он опять, сам не зная как, стал *de facto* диктатором, точно и не был никогда сменяем: партии, работавшей против него, как бы и не существовало. Удвоив вокруг себя стражу и никого не пуская к себе на глаза без подробного осмотра и расспросов, диктатор назначил военный суд над Менцишевским, Вишневым и Мирошевским как главными руководителями заговора. Суд этот¹ приговорил Вишневого к смертной казни, а Мирошевский и Менцишевский были оправданы. Впрочем, и Вишневскому дали уйти.

Чтобы не иметь врагов в бывшем *Комитете общественной безопасности*, Тиссовский учредил постоянный *Городской совет*, в котором заседали: граф Водзицкий, граф Мошинский, Юлиан Завищевский, генерал Вонсович и банкир Иван Бохенек. Военным министром назначен некто Бадени, также из белых.

Кроме того, для успокоения простого народа, двинута в край, через Подгурже, большая духовная процессия, под начальством Эдуарда Дембовского, который все хотел

¹ Состоял из: нотариуса Севастьяна Корытовского, Эдуарда Дембовского и Юлиана Савичевского. Должность инстингатора при этом исполнял люблинский помещик Карл Бржозовский.

что-нибудь делать, выставляться напоказ, идти на опасности; как только австрийские войска перехватили всех зачинщиков, множество ксендзов было арестовано, а Дембовский куда-то пропал.

Катастрофа, долженствовавшая положить конец всей комедии, близилась.

Глава третья



Распоряжение фельдмаршала Паскевича. — Занятие Кракова русскими войсками. — Краткий очерк беспорядков в княжестве Познанском. — Несколько слов о последующих восстаниях до 1849 года.

Наместник Царства Польского получил очень скоро довольно подробное описание всего случившегося в Кракове, частью от австрийцев, частью от нашего краковского резидента, д. с. с. барона Унгерн-Штернберга, вследствие чего приказал двинуть в ту сторону ближайшие свои войска: батальон Кременчутского егерского полка и сотню казаков под начальством командира этого полка, полковника барона Менгдена, и занять Краков к 12 февраля ст. ст. Но этот приказ был тут же отменен по причине распространившихся слухов, что восстание принимает весьма обширные размеры и что австрийские войска (пехота, кавалерия и артиллерия) отступили.

Везде говорили о какой-то *всесветной революции*.

Фельдмаршал сделал распоряжение о сосредоточении около города Кельц большого отряда в 10 батальонов пехоты, 4 эскадрона кавалерии, 13 сотен казаков и горцев, 2 роты саперов, 2 стрелковые роты и 20 орудий. Войска эти должны быть на месте (около Кельц) к 18 февраля ст. ст. Между тем, пока они сходились, отдан приказ начальнику 8-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Панютину занять Краков теми силами, какими он располагает; а он располагал (16 февраля) 3 батальонами пехоты, 6 сотнями казаков и 4 сотнями

горцев, при 12 орудиях. Разумеется, этого было слишком достаточно, чтобы разбить краковских повстанцев со всеми другими повстанскими полчищами Галиции и Познани; но Панютин почему-то медлил выступлением, вследствие чего Паскевич послал к нему генерал-майора Безака под видом начальника артиллерии, предложив Панютину «относиться к посланному с полным доверием и не иметь от него никаких секретов»¹.

Впрочем, торопя Панютину, фельдмаршал сам смотрел на дело довольно серьезно и предполагал возможность некоторого столкновения, в обыкновенном, «регулярном», так сказать, смысле этого слова. Как человека, понимавшего силу правильно организованных отрядов, его приводило в недоумение более всего бегство из Кракова австрийских войск с артиллерией.

В одном из предписаний командиру 3-го корпуса генерал-адъютанту графу Ридигеру² от 15 февраля 1846 года № 687 фельдмаршал так излагает план действий против повстанцев. «Артиллерия должна расстроить неприятеля. Она действует *предпочтительно прежде*, и пехота отнюдь не должна ее заслонять. Если неприятель выдержит картечь, послать пехоту, которая должна быть в двух линиях, никак не в одной. Потом кавалерию. Мусульман не посылать в атаку на пехоту, ибо они будут только горячиться, а употреблять их в перестрелках и фланкерах против кавалерии, равно во флангах, когда атакуют казаки»³.

Предполагалось, таким образом, что неприятель выдержит картечь 12 орудий! Можно заметить при этом, что к отряду, отправленному от нас, ожидали еще немедленного

¹ Предписание от 16 февраля ст. ст. 1846 года за № 752.

² Находился тогда в Кельцах, так как войска, назначенные для занятия города Кракова, принадлежали к его корпусу.

³ В конце предписания есть такая собственноручная заметка Паскевича: «А лучше, чтобы он (Панютин), по получении сего предписания, форсированно пошел до Мехова; ибо, ставши там, он ближе будет к секторам, которые идут из Пруссии или Австрии. Ему же нечего бояться. Странно будет, если австрийцы или пруссаки прежде нас придут. А генералу Панютину нечего опасаться».

присоединения австрийцев из Подгуржа, где было 6 орудий. Да Пруссия должна была двинуть отряд, тоже, конечно, не без артиллерии. Такие силы! А в сущности чересчур было довольно одних наших войск, имя которых вселяло в те времена панический страх и не в повстанцах, собранных на скорую руку.

Безак, по прибытии на место (в Кельцы), тоже не выражал решительного мнения.

Наконец, вследствие предписания фельдмаршала от 16 февраля 1846 года за № 744¹ войска выступили 17 февраля ст. ст. утром, а 19-го были уже под Краковом. Одушевление возросло до невероятной степени. Солдаты не чувствовали усталости, несмотря на то что шли по страшной грязи, в самую дурную погоду и делали огромные переходы.

В город отправлена немедленно такая прокламация:

«Жители города Кракова!

Сильное русское войско идет для восстановления нарушенного спокойствия в вашем городе. Спешите принять его в ваши стены, дабы оно могло защитить невинных. Всякий, кто положит оружие, будет пощажён. Смерть ожидает тех, кто будет взят с оружием; а сверх того и город, если в нем станут защищаться, будет предан без пощады огню и мечу. Объявляю вам это по повелению его светлости наместника Царства Польского, фельдмаршала князя Варшавского.

(Подписал) Начальник войск, назначенных для занятия города Кракова, генерал-лейтенант Панютин»

Почти в то же самое время (несколькими часами раньше) Краковское народное правительство получило известие, что генерал Коллин намерен вступить в переговоры. Тиссовский тотчас отправил в Подгурже двух французов. Одного из них австрийцы задержали, а другого отправили обратно в город для уведомления жителей, что генерал Коллин требует безусловной сдачи, революционных парламентариев не

¹ «Идите сейчас с тремя батальонами, артиллерией и казаками, какие у вас уже есть, и отрядом князя Бебутова вперед в Михаловице, а Краков окружите казаками. Бояться нечего, стыдно! Деритесь и держите бунтовщиков в страхе».

принимает, а может войти в сношение только с депутатами от города. Тогда отправлены в Подгурже: Вольф, граф Водзицкий, Гельцель и Федорович. Но тут же распространились слухи о приближении русских войск, и в город прибыло воззвание генерала Панютина. Переговоры с австрийцами прекратились; внимание всех сосредоточилось на русских, как бы единственно от них ожидали решения вопроса: быть или не быть вольной Краковской республике.

Само собой разумеется, что в городе никто не думал о сопротивлении. Средства Тиссовского состояли в 1000 человек кое-как вооруженных, 200 всадников и 5000 невооруженных крестьян. Все это войско имело одну пушку фунтового калибра, о которой мы уже сказали.

Все влиятельные лица народного правительства сошлись в Серый дом, и военный министр Бадени предложил Тиссовскому написать отречение и передать власть Комитету общественной безопасности. Другие министры поддерживали предложение Бадени. Тиссовский, после некоторого колебания, написал следующее:

«Диктатор — министрам-товарищам.

Обстоятельства принуждают меня выступить в поход с вооруженной силой, почему передаю власть управления министрам, предписывая им соблюдать в делах существующий порядок и представить мне, по возвращении, отчет в своих действиях».

После этого поднялся шум. Предложено было несколько разных мнений, между прочим — сдать русским войскам. Тиссовский отвечал на это решительным тоном, что «сдаваться пока никому не намерен, а будет донельзя действовать вооруженной рукой. Если выступает из Кракова, так единственно за тем, чтобы узнать о положении дел в крае, что даст возможность решить, куда идти: в Галицию или в Царство».

Затем дано секретное предписание собрать войска к 1-му часу пополудни (со 2 на 3 марта н. ст.) в предместье Клепаж. В 7 часов утра Тиссовский сделал смотр около деревни Бржовицы и потом двинулся к селению Крешевицам.

У него было: 900 косинеров, 200 стрелков и 200 кавалеристов. В свите диктатора находились: Эразм Скаржинский, Мазараки, Рогавский, младший Иордан, Венда, Наполеон Экельский, два Калинки, Осип Хладек и другие.

Комитет общественной безопасности тем временем отправил депутатов к генералу Панютину с заверением в самом добром расположении жителей Кракова к русским. После сего наш отряд вступил в город, имея впереди казаков¹. Жители кричали: «Да здравствует русский император!»

По собрании сведений, куда направились повстанцы, послан отряд для их преследования, состоявший из 4 сотен мусульман, с двумя конными орудиями и батальоном Кременчутского егерского полка, под начальством полковника князя Бебутова. Соединенно с ним приказано действовать полковнику князю Барятинскому, имевшему под командой полк донских казаков.

Повстанцы шли форсированными маршами. В Кршешовицах сожгли бумаги и прокламации; деньги, имевшиеся в кассе, роздали войску. Военный совет, собравшийся ночью (кажется, с 3 на 4 марта н. ст.), решил сложить оружие перед пруссаками на прусской границе, что и совершилось близ города Хелмна. Тиссовский сдался простым офицером². Альциата, описывая этот факт, восклицает: «Стоило же вставать против одного врага, чтобы сложить оружие пред другим!»

Через три часа после нас вступили в Краков австрийцы, имея 5 рот пехоты и 2 эскадрона кавалерии. Позже несколькими днями прибыл прусский генерал от инфантерии граф Бранденбург. Прусские же войска в Краков не вступали, а расположились в местечке Хршанове: 2 батальона пехоты, 4 эскадрона кавалерии и пешая артиллерийская батарея, под начальством полковника Гобе.

¹ Казаки с Бебутовым вступили раньше пехоты, одни, в самом ограниченном числе, и подвергались опасности; но в городе все уже упало духом. Город был сдан подполковнику Повало-Швейковскому.

² Потом бежал, имея паспорт на имя француза Шевалье Ганри де Тонд (Chevalier Henri de Tonde), но скоро схвачен и посажен в Кёнигштейн.

Союзники учредили немедленно *временное военное управление* под председательством (по примеру прошлых лет) какого-либо австрийского генерала, кого назначит австрийское правительство. Назначен был на этот раз фельдмаршал-лейтенант граф Кастильони¹.

* * *

Дабы кончить с восстанием 1846 года во всех захватах, нам остается сказать еще несколько слов о том, что произошло в это время в Пруссии.

Изготовив *план и инструкции*, Мирославский поспешил разослать приказание к разным высшим чинам Познанской организации, чтобы они в течение недели, от 4 до 11 февраля (н. ст.), съезжались в указанные им места для выслушивания от него и других уполномоченных необходимых объяснений по предмету предстоящих операций, что и было исполнено очень многими начальниками без соблюдения надлежащих предосторожностей со стороны полиции, которая шла, уже довольно давно, след вслед за каждым шагом заговора.

Мирославский являлся на сборища почти везде сам, принимал рапорты о сделанных в той или другой местности распоряжениях и давал нужные советы и приказания. Самое многолюдное и (добавим) самое неосторожное сборище было в местечке Серебряная Гора, 8 февраля, где Мирославский, по принятии обычных рапортов от разных лиц, изложил перед всеми ими очень подробно план действий, а комиссарам обводов, не имевшим еще письменных инструкций, вручил таковые, и это было вместе с тем и утверждением их в сказанных должностях (номинациями). 9-го числа съехавшиеся в Серебряной Горе отправились по своим округам; а 11-го утром Мирославский выехал в село Свиняры, для новых совещаний с другими вождями. Тут прусская полиция арестовала Мирославского, Бесекирского, владельца Свиняр Лонцкого и нескольких еще, а потом пошли и дальнейшие аресты.

¹ О пребывании наших войск в Кракове см. приложения.

Так кончились затеи заговорщиков в княжестве Познанском.

В Западной Пруссии дело было немного иначе.

Прежде всего, еще в декабре (24) 1845 года, арестован из более видных деятелей заговора повстанский комиссар Старогродского обвода, академик Трояновский, назначенный на это место главным начальником той части, Северинном Эльжановским.

Старогродский обвод считался важным, потому что с него начинались действия по местному плану, составленному Владиславом Косинским (с которым мы уже встретились) — именно: прежде всего думали взять Старогрод.

Лишь только стало известно, что Трояновский арестован, Эльжановский назначил на его место администратора пробства, ксендза Лободзкого, а этот пригласил к себе в помощники очень бойкого молодого человека Путкаммер-Клещинского, ученика школы сельского хозяйства. Но оба объявили Эльжановскому, что, несмотря на полную готовность служить восстанию изо всех сил, они, по своему положению в обществе, наделают немного, если у них не будет кого-либо со значением и опытностью в военном искусстве.

Эльжановский обещал приискать, но пока приискивал, его арестовали. Начальство над краем принял Косинский, распорядившийся в то время приготовлениями к действиям около Быдгоща¹, почему должен был очень много ездить и, конечно, обратил на себя внимание полиции. 16 февраля н. ст. его тоже арестовали под Лаусбергом, и эта часть восстания замерла.

Меж тем обещанный Лободзкому соратник прибыл в Старогрод из Крулевца февраля 20-го². Это был тамошний студент-медик Флориан Цейнова, завербованный Магдзинским, и они составили с Лободзким такой план нападения на Старогрод:

¹ Бромберг.

² Кёнигсберг.

Союзники учредили немедленно *временное военное управление* под председательством (по примеру прошлых лет) какого-либо австрийского генерала, кого назначит австрийское правительство. Назначен был на этот раз фельдмаршал-лейтенант граф Кастильони¹.

* * *

Дабы кончить с восстанием 1846 года во всех захватах, нам остается сказать еще несколько слов о том, что произошло в это время в Пруссии.

Изготовив *план и инструкции*, Мирославский поспешил разослать приказание к разным высшим чинам Познанской организации, чтобы они в течение недели, от 4 до 11 февраля (н. ст.), съезжались в указанные им места для выслушивания от него и других уполномоченных необходимых объяснений по предмету предстоящих операций, что и было исполнено очень многими начальниками без соблюдения надлежащих предосторожностей со стороны полиции, которая шла, уже довольно давно, след вслед за каждым шагом заговора.

Мирославский являлся на сборища почти везде сам, принимал рапорты о сделанных в той или другой местности распоряжениях и давал нужные советы и приказания. Самое многолюдное и (добавим) самое неосторожное сборище было в местечке Серебряная Гора, 8 февраля, где Мирославский, по принятии обычных рапортов от разных лиц, изложил перед всеми ими очень подробно план действий, а комиссарам обводов, не имевшим еще письменных инструкций, вручил таковые, и это было вместе с тем и утверждением их в сказанных должностях (номинациями). 9-го числа съехавшиеся в Серебряной Горе отправились по своим округам; а 11-го утром Мирославский выехал в село Свиняры, для новых совещаний с другими вождями. Тут прусская полиция арестовала Мирославского, Бесекирского, владельца Свиняр Лонцкого и нескольких еще, а потом пошли и дальнейшие аресты.

¹ О пребывании наших войск в Кракове см. приложения.

Так кончились затеи заговорщиков в княжестве Познанском.

В Западной Пруссии дело было немного иначе.

Прежде всего, еще в декабре (24) 1845 года, арестован из более видных деятелей заговора повстанский комиссар Старогродского обвода, академик Трояновский, назначенный на это место главным начальником той части, Северином Эльжановским.

Старогродский обвод считался важным, потому что с него начинались действия по местному плану, составленному Владиславом Косинским (с которым мы уже встретились) — именно: прежде всего думали взять Старогрод.

Лишь только стало известно, что Трояновский арестован, Эльжановский назначил на его место администратора пробства, ксендза Лободзкого, а этот пригласил к себе в помощники очень бойкого молодого человека Путкаммер-Клещинского, ученика школы сельского хозяйства. Но оба объявили Эльжановскому, что, несмотря на полную готовность служить восстанию из всех сил, они, по своему положению в обществе, наделают немного, если у них не будет кого-либо со значением и опытностью в военном искусстве.

Эльжановский обещал приискать, но пока приискивал, его арестовали. Начальство над краем принял Косинский, распорядившийся в то время приготовлениями к действиям около Быдгоща¹, почему должен был очень много ездить и, конечно, обратил на себя внимание полиции. 16 февраля н. ст. его тоже арестовали под Лаусбергом, и эта часть восстания замерла.

Меж тем обещанный Лободзкому соратник прибыл в Старогрод из Крулевца февраля 20-го². Это был тамошний студент-медик Флориан Цейнова, завербованный Магдзинским, и они составили с Лободзким такой план нападения на Старогрод:

¹ Бромберг.

² Кёнигсберг.

«1) Ночью с 11-го на 12-е ударить на город, уничтожить гарнизон (гусар), взять лошадей с их конюшен и занять арсенал. 2) Перебить на балу, в клубе, всех членов клуба, офицеров и гражданских чиновников, равно и всех тех, кто будет оказывать сопротивление. 3) Забрать публичные кассы. 4) Если все это не удастся, то назначить уездного комиссара, огласить революцию и дать епископу в Пелплине адъюнкта, для направления его действий; наконец, учредить революционный трибунал. 5) Послать вслед за тем несколько вооруженных людей в Грудзендз как в центральный пункт для открытия сношений с повстанцами Западной Пруссии, а с оставшимися людьми, созвав ландвер, усилить и распространить местное восстание»¹.

Затем Цейнова и Путкаммер-Клещинский с другими лицами начали подымать народ по деревням Сумине, Липну, Быттоню, Ривальде, Вонбржезне, Яблове и Кленовке.

Сам начальник округа Лободзкий только писал письма и воззвания, то есть действовал влиянием своего имени и звания. К вечеру 21 февраля н. ст. собралось около ста человек, вооруженных чем попало: вилами, косами, топорами, палками (редко кто имел ружье) — и двинулись к трем сборным пунктам. В рядах Клещинского еще на дороге произошли несогласия. Какой-то каменщик из деревни Кленовки, по имени Куна, просто-напросто ругал старую Польшу, говоря, что «если б не она, не было бы всех этих тревог; и зачем ее восстанавливать?» На месте (в какой-то роще, под самым городом) оказалось недовольных и непослушных еще более. Напрасно Клещинский махал саблей, произносил речи, вынимал из-за пазухи распятие: ничто не помогало. Подчиненные его говорили, что на город не пойдут, что сделать им ничего нельзя, а лучше разойтись. Пробившись с ними с полчаса или более, Клещинский отправился разыскивать начальников других отрядов, Цейнову и какого-то Мазуркевича; нашел и объявил им о

¹ Показания самого Лободзкого и Цейновы. Вообще, здесь все по прусским материалам.

положении своих дел. Но и у них было то же самое: те же крики недовольствия и непослушания. Поговорив меж собой еще немного, вожди решили распустить своих людей, взяв с них клятву о хранении тайны. Такой имели конец замыслы повстанцев на Старогрод.

Все утихло. Нигде в Прусском захвате не было никакого взрыва. С 21 на 22 февраля вдруг весть о восстании Кракова пробудила опять в повстанских сердцах некоторые надежды, и под влиянием их возник заговор в Познани: поднять какие только можно силы и осадить Познанскую цитадель с 3 на 4 марта н. ст. в ночь и, если нападение удасться, выпустить на волю заключенных в ней Мирославского с товарищами.

В расчете заговорщиков было, что солдаты польского происхождения и часть офицеров сочувствуют восстанию, а потому помогут нападению. План составлен такой:

«Так как главное укрепление лежит подле города и днем имеет с ним сообщение, то часть заговорщиков может легко забраться внутрь и там до известного времени спрятаться.

По знаку, данному из города ракетой, два унтер-офицера из заговорщиков, переодевшись в солдатское платье, пойдут к главным воротам крепости, как бы возвращаясь с караула от цейхгауза, и вдруг бросятся на часового и обезоружат его.

В то же самое время часть забравшихся внутрь людей otvorит ворота крепости поддельным ключом (который был сделан в Бреславле по слепку, доставленному начальнику заговора Неголевскому поручиком Мацкевичем) и впустят в крепость народ, обезоружив предварительно внутреннюю при воротах стражу.

Другая часть заговорщиков, находящихся в крепости, врывается в казармы гарнизона, припирает, где нужно, двери и захватывает ружья, стоящие в коридорах, с тем чтобы раздать своим. Конечно, тут помогут сочувствующие из войск.

В городе должны произойти тогда же следующие распоряжения: все заставы и выходы в поле преграждаются

вооруженным народом, дабы власти не могли дать знать о штурме расположенным в окрестностях войскам. Равно должны быть окружены: Хвалишевский мост и артиллерийский парк, дабы находящийся в реформатском укреплении гарнизон не мог подать помощи осажденным, а орудие — действовать. Этот пункт поручен лесничему графа Дзялынского, Тромпчинскому».

Сверх всего изложенного было еще в предположении застрелить коменданта генерал-поручика Штейнакера в 12 часов дня (3 марта) во время смотра войск, на Вильгельмовском плацу; но он в 9 часов уже воротился в крепость, а перед вечером имел от обер-полицеймейстера сведения о заговоре и принял предосторожности.

Увидев, что они открыты, заговорщики изменили час нападения, намереваясь вести приступ не ночью, а в 8-45 вечера. Равно изменили и сборные пункты, но это произвело только путаницу: часть попала на старые места и, не найдя там ни обещанного оружия, ни начальников, пождала-пождала и разошлась. Другие не нашли ничего на новых местах... Таким образом, нападающих оказалось очень немного. Поговорив между собой и получив известие, что в крепости приняты меры и против новых распоряжений, начальники распустили команду. Оружие было частью брошено в Варту, частью зарыто.

Только у Хвалишевского моста было все исполнено по начертанному плану: смелый и энергический Тромпчинский собрал до 60 человек народу, как бы на охоту, вооружил их, посадил на 6 больших телег и первый въехал на мост. Когда часовой крикнул: *кто идет?* — с воза выстрелили; на выстрелы отвечали приготовленные в воротах солдаты тоже выстрелами и ранили самого Тромпчинского и двух его товарищей, а третий был убит. Воз, конечно, тут же был забран, и в нем оказалось много оружия.

Другие возы, державшиеся сзади, увидев эту сцену, остановились; народ бежал, и подошедшие войска взяли только телеги с лошадьми и оружием.

В ночь произошли многочисленные аресты.

Так кончилось восстание 1846 года, задуманное, по-видимому, на широкую руку. Маленькая Краковская республика перестала существовать. Однако революционное брожение умов продолжалось в крае еще довольно долго. Поляки не хотели верить, чтобы восстание, в котором принимали участие все высшее сословие и которое располагало хорошими средствами, чтобы оно действительно кончилось, и кончилось как-то странно вдруг, как будто и не начинавшись. Когда взяли Бесекирского (в имении Лонцких, Свинярах, в одно время с Мирославским) и полицейский офицер стал утешать плачущую его жену, она приподнялась и сказала: «Вы думаете, что я плачу по мужу? Я плачу о том, что решение участи Польши отложено еще на шесть месяцев!»

Во многих местах всех трех захватов от марта до мая месяца происходили незначительные вспышки, кончавшиеся арестами двух-трех человек и только. Киевский генерал-губернатор писал к Паскевичу, что замечает даже и у себя некоторое движение молодежи, в пунктах, соприкасающихся с границей, и при рапорте от 23 марта 1846 года прислал *прокламацию*, ходившую там; но, кажется, она была более раннего происхождения.

Австрийцы извещали, что у них, в округе Сандецком, распространено какое-то *письмо с неба*.

У нас в Томашове (Люблинской губернии Замостьского уезда), в ночь с 11 на 12 апреля ст. ст. подброшен пакет в синагогу, заключавший в себе довольно безграмотное *воззвание к евреям* на еврейском языке.

Было еще несколько подобных фактов в нашей Польше, не стоящих того, чтобы о них говорить подробно.

Мы упомянем только о заговоре варшавских гимназистов против Паскевича.

Повторяя за некоторыми взрослыми, что восстание 1846 года не удалось единственно потому, что тут вмешался «Эриван», школьники бросили между собой жребий, кому его убить, чтобы поправить дела, если не в настоящем, то

хоть для будущего. Жребий пал на какого-то неловкого и очень юного гимназиста. Тогда один ученик 7-го класса 1-й Варшавской гимназии, Антон Рудский, вызвался сам, без всякого жребия, убить «Эривана» из ружья, не то из пистолета, будучи хорошим стрелком.

Заговор этот сделался известным правительству по причине хвастливой болтовни ребят. Рудского арестовали. После оказались сопричастными к тому же делу варшавские жители: Генрих Мониковский и Лосевич.

Так же точно медленно приходили в себя разыгравшиеся деревенские элементы Галиции. Мужики не хотели ничего делать, ни вносить податей. Были даже такие, кто пресерьезно требовал от правительства обещанных наград за головы помещиков. «Ведь нам же читали о Пасхе (говорили они) по всем костелам благодарность эрц-герцога за то, что мы порешили помещиков!»

Так поняли они *прокламацию* эрц-герцога Фердинанда, которую действительно читали по костелам и где была выражена благодарность правительства крестьянам за сочувствие и за то, что между ними не открыто заговорщиков.

Весной во многие деревни пришлось послать военные команды, и только при их помощи водворился кое-как прежний порядок, и крестьяне стали работать. В иных, особенно беспокойных деревнях даже были поставлены для устрашения народа виселицы.

Союзные войска стояли в Кракове до июня месяца. Наших было там постоянно: 2 батальона, 2 конных орудия, легкая батарея № 5, сотня донских казаков и сотня мусульман.

Карбонарские клубы, прокляв своих союзников-поляков за излишнюю горячность и неумение вести надлежащим образом заговор, продолжали свои работы и подготовили к 1848 и 1849 годам несколько взрывов. Поляки не преминули пристроиться там, где это оказалось удобно. Восстание Познанского княжества имело для них связь со всеми революционными затеями эмиграции после 1831 года; было одно и то же дело, прерывавшееся вследствие разных обстоятельств.

Вот что говорит об этом Мирославский, начиная свое описание «Познанских происшествий».

«Страдающая местная демократия (Demokracja krajowa) и взывающая демократия эмиграции, долго отыскивая друг друга под двойным гнетом чуждого наезда и своего шляхетского хозяйничанья в стране, наконец встретились в заговорах, начавшихся с 1836 года спорадически во всех трех захватах вдруг и приведенных в 1844 и 1845 годах Централизаций демократического общества к одной общей деятельной конфедерации. Приостановленное (zawieszone) в 1846 году, восстание ничуть не сложило оружие под виселицей Потоцкого и Висневского¹, под топором Шели², под процессами пруссаков. Запертое в тюрьму в течение 1846 — 1847 годов³, в 1848-м оно выступило опять на зов европейских потрясений, все то же самое, с тех же самым евангелием, которое не весть когда будет проповедано (nie przegadana ewangelja), с той же непреложной верой в святость своих догматов и в достоинство средств, которыми рассчитывало дойти до цели»⁴.

Поляки поднялись в Познани в 1848 году, потому что там поднялось и немецкое население, узнавшее о движении Берлина и требовавшее от правительства того же, чего требовал Берлин. Само собой разумеется, что заговорщики

¹ Теофил Виснёвский повешен во Львове, вместе с Капустинским, в июне 1847 года.

² Это был предводитель огромной крестьянской банды, в 1846 году действовавшей под покровительством австрийцев. Сам он был тоже крестьянского звания. Мужики звали его *Krol Chlopow*. Говорят, банда его простиралась до 5 тысяч человек.

³ Мирославский разумеет заключенных в крепость и подвергнутых более или менее продолжительному аресту в разных местах, себя и товарищей своих по заговору 1846 года. Из 254 захваченных в то время суд приговорил: восьмерым отрубить голову топором, других заключить на всю жизнь или на известный срок, третьих выслать вон и т. д. Конфирмацией короля приговор этот был смягчен: осужденных на смерть посадили в одиночные казематы без срока, до ста на разные сроки, и, наконец, иные совсем освобождены. Имена всех этих лиц можно видеть в *Allgem. Zeit.* 1847, от 3 декабря и в *Biblioteke Pisarzy Polskich*, Т. XXIX. S. 278.

⁴ *Powstanie Poznanskie w roku 1848*. Paryż, 1860. S. 5 — 6.

немцы обрадовались лишним революционным рукам и братались с поляками до тех пор, пока поляки были им нужны для их *немецкого дела*. Берлинцы вынесли Мирославского с торжеством из Моавитской тюрьмы¹, при оглушительных криках «ура», как бы своего собственного вождя, и он, имев несколько бесплодных объяснений с берлинскими заговорщиками, которых учил, «как действовать далее», отправился в Познань и принял начальство над познанскими повстанцами из поляков, которые называли его «*wodzem zmartwychwstalym*», то есть «воскресшим из мертвых вождем».

Но берлинское правительство весьма скоро и ловко окончило все счета со своими немецкими повстанцами, и они, будучи удовлетворены в своих требованиях, успокоились и обратились к мирным занятиям. Поляки остались одни, и тоже, конечно, должны были успокоиться и положить оружие, несмотря на несколько удачных схваток с прусскими войсками, например, под Вржеснею, Соколовым и Милославом. Мирославский снова попался в руки прусского правительства, но на этот раз был помилован и уехал в Париж.

Мы не описываем подробно этого восстания, так как оно не имело с нашей Польшей никакой связи. По крайней мере эта связь нигде и ни в чем ярко не обнаружилась. Любопытствующих знать о нем ближе отсылаем к книге Мирославского, несколько раз нами приведенной. Кроме того, есть и еще описание тех же событий, между прочим, Морачевского.

В следующем за тем 1849 году известный маневр Паскевича предупредил восстание Галиции, а с ней, вероятно, и Познани.

В это время возник в Литве одинокий (если верить Авейде), независимый от Централизации заговор, о котором, ка-

¹ Так названа новая в то время тюрьма в Берлине, с одиночным заключением. По ней заключенных там узников поляки называли «моавитскими узниками», и все знали, о ком идет речь. До сих пор этот термин употребляется между поляками.

жется, нигде еще не было писано. Он состоял преимущественно из школьной молодежи и ограничивался главнейшим образом литовскими губерниями, с самым незначительным участием Малороссии; но в Царство, по-видимому, не проникал. Вождями этого заговора считаются два брата Далевские, Франц и Александр, к которым пристал позже служивший чем-то в наших войсках, стоявших в Вильне, Сигизмунд Сераковский, тогда еще молодой человек.

План литовских заговорщиков был таков: или поднять восстание в то время, когда венгерская революция примет счастливый исход и Дембинский или Высоцкий вторгнутся в русские пределы; или восстанием, поднятым в тылу действующей армии, отвлечь русские силы и этим помочь мадьярам. Сераковский был послан переговорить об этом с Дембинским и благополучно перебрался через Польшу и Галицию, но на обратном пути арестован, и тут все узнали¹.

Далевские были сосланы в Сибирь, в каторжную работу, а Сераковский разжалован в рядовые и отправлен в Оренбургские батальоны. И с ним, и с Далевскими нам еще придется встретиться.

Наконец настал тяжелый для нас 1855 год, с его Крымской кампанией, с Севастополем. Казалось, когда бы лучше встать полякам, как не в это время; между тем они не встали; даже не было нигде к этому видимого поползновения. Авейде говорит: «Люди, не знавшие нашего положения, но вспоминавшие наши до 1850 года конвульсивные революционные порывы, предлагали вопрос: отчего не восстали мы во время Крымской войны, несмотря на всю нашу ненависть к русскому правительству? Мы не восстали, потому что не могли восстать, потому что мы отупели и были слабы, невыразимо слабы»².

Впрочем, Иосиф Высоцкий входил от имени *Демократического общества*, точнее от его бранных остатков, в

¹ Авейде, I, 196 — 197.

² Там же. 209, прим.

переговоры с английским и турецким правительствами о том, с какой бы стороны поляки могли быть им полезны в действиях против русских в Крыму; но предложения, сделанные ему Англией и Турцией, он нашел для Польши не только невыгодными, но даже оскорбительными, и ничего не предпринял¹.

¹ Авейде, I, 200.

Глава четвертая

Прибытие в Варшаву князя Горчакова. — Перемена в воздухе. — Партии. — Первые манифестации.

В 9 часов утра 20 января 1856 года¹ не стало человека, который без малого 25 лет *держал Польшу в руках* и при помощи соответственного положения дел в России добился того, что на огромных пространствах начало вырабатываться в значительной массе поляков убеждение, что *иначе, стало быть, нельзя*; что мы и они должны слиться, жить в каком ни на есть согласии; что ссоры ни к чему не ведут, разве только к разорению края; что, как бы поляк ни мало получал от правительства, находясь с ним в ладах, все-таки это малое больше того, что он получит, разрушив добрые отношения с правительством, затеяв восстание, хотя бы даже такое, как в 1830 году.

Само собой разумеется, бывали минуты, вследствие каких-либо движений в Европе или наших собственных ошибок, когда эти же самые *замиренные*, так сказать, *черкесы* Польши, в ком *начало что-то вырабатываться*, думали иначе, поворачивали в другую сторону. Мицкевич, со свойственным ему талантом, очерчивает такое состояние польской души в прелестном сонете *Морская тишь*:

¹ Рассказываются такие подробности о похоронах фельдмаршала. Он был фельдмаршалом трех армий: русской, прусской и австрийской. Как прусский, так и австрийский жезлы были сделаны наскоро из дерева и обернуты густым крепом. Настоящий жезл был один только русский, очень дорогой в 7 тысяч рублей, по цене бриллиантов, его украшавших.

О море! спят в минуту непогоды
Чудовища твоих глубоких вод...
Так и во мне тревожный змей живет:
Он долго спит... Проходят дни и годы...
Но чуть блеснет коварный луч свободы —
Проснется он и кольца разовьет.

Этот змей проснулся, когда на опустелый трон наместника Польши сел дряхлый и ветхий во всех отношениях князь Михаил Дмитриевич Горчаков, только что разбитый турками и французами. Увы, никакие лавры не осеняли слабой, расстроенной годами и несчастьями головы. После представительной фигуры отошедшего в вечность фельдмаршала непредставительная фигура преемника его казалась еще непредставительнее.

Впрочем, назначение Горчакова правителем в Польшу было самым простым и естественным фактом того необыкновенного времени: на всероссийский престол вступил великодушнейший из государей, по слову которого стихла прежде всего брань на холмах Севастополя, а потом начались громадные преобразования во всей империи, из конца в конец. Развязано печатное слово, приподняты разные шлагбаумы, задумано освобождение 25 миллионов рабов.

Все кипело, шел треск необыкновенный. Русский человек — во всем русский человек...

Читатель, конечно, хорошо помнит это необыкновенное, это странное, это страшное время. Враг не дремал. Здание, стоявшее таких трудов покойнику, двадцатипятилетних трудов, покачнулось в немного дней. Самые невероятные фантазии, возможные только в голове этого *ребенка-народа*, стали занимать все партии. Польская интрига принялась работать горячо и серьезно. Салоны русских редакций незаметно наполнились поляками. Когда поляк захочет искать, он очень ловок. В этом он опередил, может быть, иные и старшие нации. Искать в русских, в нашей неслыханной доверчивости и, как обыкновенно выражаются, доброте (хотя тут нужно приискать другое слово) не трудно. Особенно было не трудно тогда, когда все

хляби разверзлись, в те необыкновенные минуты России, о коих теперь речь. Добрые русские редакторы и вообще русские люди сильно попались. Если б повторить то, что говорилось тогда нашими патриотами о поляках, что бы они теперь сказали!..

Ошибка, ротозейность, объятия и крики увеличивались еще и оттого, что польское наше дело было для нас тогда очень плохо знакомо, было новостью, как бы только что родившейся на свет. То, что теперь знает о Польше всякий гимназист, тогда знали немногие оракулы. Польша и Варшава представлялись нашему воображению чем-то далеким, каким-то заброшенным в неведомом море островом Буяном, где все иначе, и пусть себе иначе! О тамошней жизни мы получали кое-какие баснословные и сбивчивые сведения от заезжих оттуда офицеров, а они больше всего рассказывали о красивых варшавских женщинах и дешевых перчатках... Мы были равнодушны к вопросам, к которым нельзя быть равнодушным, считая себя европейским человеком. Да, признать сказать, ничего другого и не оставалось, как быть равнодушным. Грозная фигура фельдмаршала (не тем, Бог с ним, будь помянут!) стояла во весь рост не перед одним завоеванным народом, стояла она и перед глазами русских редакторов. Никакая тень корреспонденции из Польши была немыслима. Не было к тому же и железных дорог.

Странно было бы, если б в это время пробудившихся так или иначе симпатий к Польше, в это вообще суетливое, доброе, мягкое, либеральное время, когда теплые «крымские» струи неслись и затопляли пространства, которым нет подобных, странно было бы, если б тогда на упразднившийся трон варшавского наместника стали искать лица, подобного во всех отношениях покойному фельдмаршалу. Все строилось тогда мягко. Разумеется, можно было бы обойти одряхлевшего и неспособного Горчакова; но... за него стояли 25 лет, проведенные им в Польше при Паскевиче в качестве преимущественно начальника его штаба. Польша казалась тиха, так тиха, что ею мог управлять решительно всякий генерал, считавший за собой лет 50 службы.

В самом деле, Паскевич оставил Польшу совершенно спокойной. Тамошние поляки довольно долго держали себя тише, чем их братья в России. Ни о каких подземных работах не было и помину.

Вероятно, иным из читателей случилось слышать, что *военная диктатура* (так звали поляки управление Паскевича) переломала кости Польше, убила в стране все. Эти черные краски занесены из эмиграции, от врага, имевшего свои причины изображать все Паскевичевское с одной только дурной стороны. В действительности, строгая эпоха не парализовала развитие Польши ничуть; напротив, все двинулось там вперед, и сильно вперед, сравнительно с тем, что мы нашли, являсь победителями в конце 1831 года. Цветущие поля и фольварки Царства Польского во дни Паскевича были относительно России тем, чем относительно их кажутся высокообработанные нивы и дышащие жизнью сельские поселения пруссаков. Переезжая польский рубеж, всякий русский чувствовал себя мгновенно как бы за границей. Что собственно до Варшавы, — она за время управления Паскевича превратилась из грязного городка в опрятную европейскую столицу, снабжена водой, тротуарами, фонарями и прекрасным съездом на Вислу. Ничего этого не было в Варшаве до Паскевича, по крайней мере в надлежащих размерах. Каким образом съезжали к Висле до сороковых годов, всякий может полюбоваться, спустись по Беднарской улице. Домов в чисто европейском духе, каких до революции 1830 года было крайне мало, явились целые улицы. А как весело жилось в Варшаве Паскевича и немного позже, вам расскажет всякий, кого заносила туда судьба. Эти погасшие теперь, пасмурные палацы аристократов горели огнями, гремели музыкой. По улицам мелькали изящные экипажи, иногда по-польски, цугом на вынос, при звуке медных рогов и хлопанье длинного польского бича. Везде и во всем допускалась эта размахистость национального польского характера. Фельдмаршал умел извлекать политические барыши из медных рогов и других детских побрякушек. Да не подумают, однако, что

все тогда было хорошо, что система покойника есть то, на чем можно остановиться. Здесь не место рассуждать об этом подробно; автор — партизан деспотизма только там, где его нечем заменить...

Если взглянуть на карту, подумаешь, что Варшава — большой город. Но если ее взять, какой она представляется всему более образованному населению, ограничить пределами, где вращается все живое, европейское, где решаются наисущественнейшие вопросы города, — эта Варшава невелика: ее можно вместить в четырехугольник следующих улиц: Нового Света, Краковского Предместья (составляющих почти прямую линию — *Невский Проспект* Варшавы), Медовой, Долгой, Римарской, Маршалковской до Иерусалимских аллей и закончить этими аллеями до Нового Света. Здесь, в этом четырехугольнике, все: и лучшие дома, и богатейшие магазины, и гостиницы, и театр, и превосходный публичный сад с каштанами, доживающими другую сотню лет.

Бывают в домах уютные комнаты, где как-то приятнее сидится, читается, беседуется: то же самое можно сказать и о Варшаве между городами, разумея ту ее часть, которую мы только что очеркнули. Это прежде всего *уютный* город, где жить удобно, где все под руками. Стремление жителей со всех концов к центру и страсть поляков к «спациерованью» делают сказанные улицы чрезвычайно оживленными, даже иногда тесными через меру. В воскресенье или просто в хороший день на этих улицах истинно парижская толкотня. Все суетится, блещит и сияет. Ни поляк, ни полька не выйдут на «спациер», не позаботятся о своих маншетах. В праздники женщины «спациеруют» с молитвенниками в руках. Иной раз увидишь с молитвенником и мужчину.

При Паскевиче и немного позже «была пора, боярская пора». Аристократы давили все, были до известной степени соправителями наместника. Чего только не мог тогда сделать в польских судах влиятельный польский аристократ, в особенности при необычайной продажности польских чиновников!

Посредством аристократов Паскевич приводил в действие все другие пружины. Выше было сказано, что он считал этот способ правления не только лучшим, но и неизбежным, вследствие всеобщего положения дел в империи и тогдашних взглядов на вещи.

Во главе этого всемогущего шляхетского мира Польши стоял тогда граф Андрей Замойский, не столько богатый, сколько изящный, благовоспитанный, симпатичный аристократ. Во всей его легкой, высокой, красивой фигуре, во всей физиономии было что-то необыкновенно милое и привлекательное. Его все знали и любили: русские, поляки, жида, высший слой и низший, умеренная половина населения и не довольные ничем «корсиканцы». Все самое несговорчивое и неудобное смирялось и уступало невольно, едва было произнесено это имя, едва взглядывал в их сторону граф Андрей своим мягким, глубоким, тихим взглядом. Не было имени в крае популярнее имени графа Андрея. Фамилию произносили редко. «Граф Андрей» — и конечно, как будто один только граф Андрей и был отпущен на всю Польшу. Некоторые русские звали его *Андрюхой*, что выражало у них и простоту, и задушевность этого лица.

Видный и казистый дом графа Андрея стоял на соединении двух лучших и оживленнейших улиц Варшавы: Нового Света и Краковского Предместья. Кто не знал этого дома!

Молодость графа Андрея протекла, как протекает молодость всех подобных людей, родившихся в особой сорочке. Его учили всему, но хорошо научился он только разным языкам, в особенности французскому, на котором писал и говорил безукоризненно.

До революции 1830 года о нем как-то мало было слышно.

В революцию, именно в первой половине 1831 года, народное правительство отправило изящного графа дипломатическим агентом в Вену; но он, будучи тогда еще молодым человеком, повел себя немного ветрено: встретясь где-то с одной хорошенькой землячкой и не разузнав путем, кто она и что она, влюбился в нее и разболтал ей, в припадке разных любовных излияний, причину своего прибытия в Вену.

Когда мы взяли Варшаву, Паскевич, обладавший секретом поручения, которое давалось Замойскому революционным правительством, полушутя пригрозил ему (когда он вернулся в Варшаву, как ни в чем не бывало) расстрелянием, но потом протянул дружески руку. Изящный граф сделался нашим верным слугой, разумеется, настолько, насколько может быть нашим слугой поляк-аристократ, *pur sang*, который выше польской аристократии не знает ничего в мире и всякого москаля считает варваром.

Никто аккуратнее его не посещал Замка во дни официальных торжеств; он стал, можно сказать, официальной необходимостью Замка в известные минуты, этот эффектный граф, в жилете и галстуке белее снегов.

Люди, знавшие графа Андрея ближе, упрекали его в некоторой бесхарактерности. Карикатура Фредро, ходившая одно время по Варшаве, изображала графа с руками в одну сторону, с ногами в другую, с волосами в третью. Подпись гласила: *Comte André Zamojski, emporté par les tourbillons de l'opinion publique*¹. Все понимали как нельзя лучше, что из этого человека, случись необходимость, вождя не сделаешь. Тем не менее масса людей, считавших себя заодно с аристократами, держалась все-таки графа Андрея, как бы своего вождя. Таковы уже были симпатичные свойства этого человека. Настоящего вождя к тому же тогда и не требовалось: ни о каких ратях, ни о каких партиях не было ни слуху ни духу. Если и говорили «аристократическая партия», так это ровно ничего не значило, было пустым звуком.

Вторым влиятельным лицом между аристократами Варшавы был граф Фома Потоцкий, с типом древнего поляка, которому пристали бы очень кунтуш и вылеты; но вследствие ли своих свойств, или нежелания и неумения брататься со всеми (что очень ловко и прилично делал граф Андрей), или просто-напросто потому, что носил фамилию,

¹ То есть граф Андрей Замойский, увлекаемый вихрями общественного мнения.

которую считали чересчур преданной русскому правительству, Потоцкий не пользовался популярностью.

Далее шли: граф Константин Замойский, называвшийся обыкновенно *ордином*, что означало «владельца ординации», иначе сказать: древнего майората¹; графы Август и Маврикий Потоцкие, отличавшиеся особенной привязанностью к правительству. Графу Августу принадлежало известное поместье Вилянов, память короля Яна III Собесского, с отличным парком, где все наши государи обыкновенно охотились, когда бывали в Варшаве.

Еще далее выступали: графы Красинские, Браницкие, Островские, Лубинские, Коссаковские, Урусские, Бромирские, князья Любомирские...

Вокруг них, как это всегда бывает, обращалось несколько планет помельче: помещики без графских и княжеских титулов, но влиятельные и образованные: Горский, Венглинский, Лущевский, Ставиский, братья Курцы, Мокроновские, Сементовские.

Все это, вместе взятое, принадлежало, как обыкновенно выражались, к партии Замойского, считая его если не вождем, то хоть смелым защитником их аристократических интересов перед правительством, а эти интересы казались им интересами всего края.

Вдали, на горизонте того же аристократического мира, показывалась иногда, почти без всяких сателлитов, грузная, сумрачная фигура маркиза Александра Велепольского, на которую тогда мало кто обращал внимания.

Этот кружок (эта партия, пожалуй) старалась всячески возвысить сельский быт страны, умножить фабрики и заводы и жертвовала на это капиталы. Граф Андрей, как говорили, рисковал более всех и даже будто бы потряс свое состояние. Здесь новая причина популярности этого лица.

Партия побаивалась, кроме того, усиливающихся кутежей молодежи (хотя и сама тоже кутила, так что сын учил

¹ Майорат К. Замойского, как нам говорили, заключает в себе 68 квадратных миль и с лишком сто деревень.

отца, а отец — сына); ей хотелось вообще влиять, править всем, что стояло по рождению или по воспитанию в передовых рядах нации. Но как было править? Для этого нужен был прежде всего какой-либо орган, общество? Легко сказать: орган, общество! Это были в те времена звуки страшные, редко кем-либо произносимые.

Оставалось таким образом, за неимением правильно организованных работ, съезжаться довольно праздно у разных влиятельных лиц и беседовать, за бутылкой доброго дедовского «венгржина»¹, о том о сем, с польской точки зрения. Случалось, что эти беседы уносили пирующих бог знает куда, на крыльях необузданной польской фантазии... Но при этом вдруг подсаживалась к ним тень еще неубитого Банко, в Георгиевской звезде и в лаврах... Беседы кончались ровно ничем. Все расходились совершенно здоровыми, совершенно белыми, тянувшими по-прежнему руку правительству.

Была в Варшаве еще кучка аристократов клерикального направления, которая, соскучась праздными съездами собратьев, решила ради провода своих идей в публику попытать счастья на поприще литературном.

Во главе этого кружка стоял неслыханный ультрамонтанец, граф Генрих Ржевуский, известный автор «*Листопада*» и «*Записок Соплицы*», человек вполне нам преданный; даже говорили, что он в преданности Москве дошел до роли какого-то шута при Паскевиче. Как разумел его государь Николай Павлович, лучше всего покажет следующий анекдот. Однажды приехал в Варшаву король прусский Фридрих-Вильгельм IV, то есть брат нынешнего, и ему назначили в проводники по городу графа Генриха Ржевуского. Последний, как поэт, до того увлекся в истолковании великого исторического значения иных памятников, что король, воротясь, сказал государю, тоже находившемуся в Варшаве: «Кого это мне дали в проводники! Если у вас все такие "белые", что же подумать о "красных?"» — «Не

¹ Венгерское вино.

бойтесь, возразил государь: *il est plus russe que moi et plus royaliste que vous*¹.

Такому лицу, разумеется, было легко выхлопотать позволение издавать газету. Ржевуский, в товариществе с графом Пршездзецким, основал в 1851 году ежедневный листок под названием «*Варшавский Дневник*» (*Dziennik Warszawski*).

Все было употреблено, чтобы новая газета пошла, и она действительно пошла. Хороший и исправно платимый гонорар (иные варшавские газеты ничего не платили тогда сотрудникам) привлек со всех сторон многие ретивые перья. В первый же месяц газета имела уже около двух тысяч подписчиков!.. Ей предсказывали торжество над всеми, как вдруг удивительная статья редактора «*Suwilizacja i Religja*», грянувшая неожиданным громом над Варшавой, испортила все. Газета пала, спустя в третий месяц с двух тысяч на двести пренумерантов. Неприятеля Ржевуского с красными (таившимися по разным углам) распорядились так, что все кондитерские и другие подобные заведения, где есть газеты, стали гонять от своего порога мальчишек, разносивших опальный листок. Дошло до того, что никто не хотел брать газеты Ржевуского даром. Он передал ее Шимановскому, автору нескольких мелких статей и фельетонов, а тот — Бартошевичу, известному в польской литературе своими историческими исследованиями; но все их усилия не могли уже воротить к павшей газете сочувствие публики. Через год газету перекрестили, назвав *Kronika*, но и это не помогло.

Из всей этой кутерьмы (заметим в скобках) извлекла лишь пользу старейшая между варшавскими газетами *Gazeta Warszawska*. Ловкий ее редактор пустил в ход несколько статей, на которые публика, задохнувшаяся в ультрамонтантских абсурдах Ржевуского, бросилась с жадностью: ей нужно было поскорее подышать другим воздухом. «*Варшавская Газета*» приобрела до 7 тысяч подписчиков и стала на твердые ноги, так что уже никакие последующие

¹ «...он более русский, нежели я, и более роялист, нежели вы».

подкопы и невзгоды (о чем скоро придется нам рассказать подробнее) ничего не могли ей сделать.

Однако варшавские клерикалы не унялись. В начале последней Восточной войны (1853) граф Пршездзецкий вздумал повторить опыты Ржевуского (может статься, и по внушению фельдмаршала): основана новая газета или, точнее сказать, возобновлена приобретенная у Мясковских «Ежедневная Газета» (*Gazeta Codzienna*), куплены новые перья; но, увы, минуты были не такие, чтобы издание белых, да еще клерикалов, пошло. И этот голос, едва раздавшись, умолк. Партии белых, клерикалам и неклерикалам, пришлось опять праздно сходиться в разных домах, где хорошо ужинали, и вздыхать о недостатке органа.

Средний круг, мелкие помещики, чиновники, литераторы, образованные купцы, собирались по домам «своих» влиятельных лиц, не то в Купеческом клубе. Эти лица, равно и самый клуб, скоро выступают на сцену, а потому теперь мы проходим их молчанием.

Между этими *средними* таились и *крайние*, иначе *красные* — кружок тогда не очень слышный и видный; одиночные, вырывавшиеся оттуда время от времени голоса терялись в пространстве.

Все это, как сказано, держалось, при Паскевиче, на своих местах; все чувствовали власть, и никому в голову не приходило с ней заигрывать.

Но едва его не стало, в самое непродолжительное время, может быть, пока князь Горчаков ехал из Бахчисарая в Варшаву, было замечено поляками всех оттенков отсутствие руки, которая ими недавно управляла. Вихры стали понемногу подниматься. Однако долго еще царствовала тишина. Дух Сиды носился над полчищами мавров.

Проезжая Россию, князь Горчаков не мог не заметить резкой перемены в воздухе. Кажется, прошло не бог весть сколько времени с тех пор, как князь проехал то же странство сверху вниз, но много, очень много утекло воды. Москва и Петербург, где новому наместнику Царства Польского пришлось остановиться на несколько недель, еще бо-

лее представили перемен, и волей-неволей этот уступчивый человек зачерпнул на пути теплых струй, захватил в свою дорожную коляску этих ярких, веселых, великодушных лучей, великолепно озарявших тогда все лицо империи, так что оно ничего больше не делало, как только улыбалось; захватил он и этого либерализма, пронесшегося легким вихрем из конца в конец и поднявшего со дна кое-какую муть. Все это захватил с собой новый наместник и привез в знакомую ему Польшу, к старым друзьям, вместе со своей, тоже знакомой этим друзьям, бесхарактерностью.

Они встретили его, разумеется, весьма приветливо. Паскевич, плебей происхождения, ласкал аристократов с известной целью. Покровительство нового наместника тому же сословию было, к сожалению, не системой, а простой слабостью ко всему аристократическому, даже ко всему, что хорошо говорило по-французски. Новый наместник был сам аристократ. Польские аристократы уже чересчур к нему приблизились; их никогда не принимали в Замке так, как принимал их князь Горчаков. Сколько оскорблений вынесли при этом русские! Одних русских можно так оскорблять. И это было первое движение к промахам и неловкостям в новом управлении краем. Правильные отношения власти к одной из партий были потрясены. Свои-ственные всем славянам неблаговоспитанность, неумение ходить на своих ногах, едва спустили с туго натянутых помочей, сейчас же выступили затем наружу везде, во всех кружках. Зашевелилась и пришибленная, сидевшая где-то под полом «краснина». Буйная фантазия и тех и других, фантазия, по необузданности не знающая себе равной в мире, пошла работать шибко. В имени нового царя, в его добрых чертах, переродившееся, Горчаковское население Варшавы и Царства усматривали бог ведает что: повторение неповторяемого, конституцию 15 года. Спор был только о том, с войском или без войска.

Под этими странными, невероятными (впрочем, невероятными для тех, кто плохо знает поляков) грезами, при этих пробудившихся к тому же симптомах чего-то для

нас недоброго, неопределенно беспокойного, — Варшава стала готовиться к встрече нового императора. Ожидание неслыханных милостей одолевало, однако, все другое. Государь прибыл 10/22 мая (1856), и самое оглушительное «ура» прокатилось от Московской заставы до Лазенок. Едва ли въезжал в свою столицу при более одушевленной обстановке какой-нибудь Ягеллончик.

Были люди, которые думали, что эта встреча *устроена* аристократами, или вообще интеллигенцией Варшавы, так как Варшава надеялась приветствовать в Александре Втором другого Александра Первого. Если это и так, то устройство подобной встречи ничего им не стоило: все были и без того хорошо настроены. Тем не менее толки о *демонстрации* ходили между русскими. Под влиянием ли их, или по другим каким причинам, его величеству угодно было произнести к собравшимся у него депутатам от дворянства, сената и духовенства следующую речь:

«Я прибыл к вам с забвением прошедшего, одушевленный относительно вас самыми лучшими намерениями. Вам предстоит помочь исполнению моих предначертаний; но прежде всего я должен сказать вам, что наши отношения друг к другу должны уясниться как можно лучше.

Вы близки моему сердцу точно так же, как финляндцы и другие русские подданные; но я желаю, чтобы порядок, установленный моим отцом, не был изменен нисколько. А потому, господа, отбросьте всякие мечтания (*Point de rêveries, point de rêveries*)! Я сумею остановить порывы тех, кто бы вздумал увлечься мечтами. Я сумею распорядиться так, что эти мечты не перейдут за черту воображения мечтателей. Счастье Польши заключается в полном слитии ее с народами моей Империи. То, что мой отец сделал, хорошо сделано, и я его поддерживаю.

В последнюю Восточную войну ваши бились наравне со всеми другими. Предстоящий здесь князь Горчаков был этого свидетелем и отдает им полную справедливость, что они доблестно пролили кровь, защищая отечество. Финляндия и Польша мне дороги одинаково, как и все другие

части моей империи; но необходимо, чтобы вы знали, для блага самих же поляков, что Польша должна быть навсегда связана с великой семьей русских императоров. Верьте, что я имею относительно вас самые лучшие намерения. Вам лишь остается помочь мне в решении задачи, а потому, повторяю еще раз, оставьте всякие мечтания.

Что касается до вас, господа сенаторы, следуйте указаниям моего наместника, князя Горчакова, здесь предстоящего.

А вы, господа архипастыри, не теряйте из виду, что основанием всякой доброй нравственности есть религия. Ваша прямая обязанность — внушать постоянно полякам, что их счастье заключается единственно в полном слиянии с Россией¹.

Известно впечатление, произведенное этой речью. Все стали повторять *point de réveries*, и эти слова в самое короткое время облетели не только Польшу и Россию, но и весь свет. Факту, самому обыкновенному, которого в другое время и не заметили бы, который задвинулся бы вовсе яркими событиями, долженствовавшими последовать, — этому факту придано особое, роковое освещение, сколько поляками, столько же и нами.

Впрочем, город, потолковав немного о неожиданных никем словах, сейчас же забыл о них и ничуть не углублялся в рассматривание этого факта. Все были по-прежнему исполнены самого веселого настроения, даже как бы счастья. Всякий славянин любит встречать государей, этот блеск, шум и помпу. Ратуша готовила новому царю бал, обстановка которого заняла все высшие головы варшавской интеллигенции. Особенно хлопотали аристократы — и здесь можно, пожалуй, усмотреть нечто демонстрационное.

Бал грянул 26 мая н. ст. Дамы высшего круга, одетые в белое, встретили государя на лестнице, с венками и гир-

¹ Recueil des traités, conventions et archives diplomatiques concernant la Pologne 1762 — 1862, par le comte d'Angeberg. Paris et Leipzig, 1862, 1117. В сокращении, с вариантами, в *Annuaire des Deux Mondes*, VI, 1855 — 1856, la Russie, 669 — 670 и в *Journal de St-Petersbourg*, от 23 января 1864 года.

ляндами в руках. Тогда Варшавская Ратуша не имела такой пышной и величественной залы, как теперь. Небольшие комнаты ее придавали торжеству характер чего-то устроенного запросто, домашней вечеринки, на которой поляки, по старине, веселились со своим королем. Уверяют даже, будто бы один седой старик, подойдя к государю с бокалом, сказал в избытке чувств, как говорилось некогда на подобных польских пирушках: «Kochajmy sie, Cesarzu!», что значило: «Забудем, государь, все прошлое; к чему нам ссориться; настанут другие дни — возлюбим друг друга!» — и слезы, те слезы, которые на земле надо ценить выше всяких перлов, хлынули из глаз старика...

На другой день государь произнес к собравшимся у него депутатам от дворянства такую речь:

«Мне очень приятно, господа, засвидетельствовать вам, что дни, проведенные мною среди вас, доставили мне истинное удовольствие. Вчерашний бал — прекрасный бал. Я никогда о нем не забуду и благодарю вас за него.

Вам переданы, без сомнения, мои слова, сказанные вашим депутатам, которых я принимал пять дней тому назад. Держитесь действительности, составляя одно целое с империей, и оставьте всякие мечтания о независимости, как не могущие осуществиться.

Повторяю вам опять: мое убеждение говорит мне, что счастье Польши и даже ее спасение требуют, чтобы она постоянно состояла в неразрывной связи с славной династией русских императоров; чтобы она была не что иное, как неотъемлемая часть великой семьи Всероссийской империи. Оставляя Польше права и учреждения, дарованные моим отцом, я буду неуклонно заботиться о ее благе и счастье. Я готов гарантировать ей все, что может быть ей полезно, все, что мой отец обещал ей даровать и действительно даровал. Я не изменю в этом отношении ничего. Все, что мой отец сделал, хорошо сделано. Мое царствование будет продолжением его царствования. От вас зависит облегчить решение задачи. Вы должны помочь мне в моем труде. На вас одних падет ответственность, если

мои намерения встретят на пути какие-либо химерические препятствия.

Дабы доказать вам мою готовность к облегчению участи всех виновных, скажу вам, что я только что подписал амнистию: я позволяю воротиться в Польшу всем эмигрантам, кто этого пожелает. Они могут быть уверены, что их оставят в покое. Гражданские права будут им возвращены, и их не потребуют ни к какому ответу перед судом.

Я сделал только одно исключение: я не могу простить закоренелых в своей несправимости и тех, кто в самые последние годы не переставал составлять против нас заговоры и против нас сражался.

Кто же возвратится, тот может, по прошествии трех лет раскаяние и безукоризненного поведения, даже быть полезным, вступив на государственную службу. Но прежде всего позаботьтесь, чтобы осуществление благих предначертаний было возможно и чтобы я не счел себя вынужденным обуздывать и наказывать; ибо, если бы это, к несчастью, оказалось необходимым, я найду в себе решимость и силу поступить таким образом. Старайтесь же, чтобы я никогда не был поставлен в эту необходимость». Затем, обратясь к одному из депутатов, Ивану Езерскому, хотевшему что-то сказать, государь продолжал:

«Надеюсь, что вы меня поняли. Мне приятнее, конечно, иметь возможность скорее награждать, чем наказывать. Мне приятнее, как это могу сделать и теперь, выражать удовольствие, подавать надежды и вызывать признательность. Но знайте также и помните постоянно, что, если бы пришлось, я сумею укротить и наказывать, даже наказывать строго.

Прощайте, господа!»

Амнистия принесла к половине 1857 года из Сибири и из-за границы множество воспитанников прежних и новых революционных теорий, истинных *артистов* революционного дела. Неопределенные, хаотические кружки красных, едва-едва начинавшие дышать, получили вождей и руководителей, что называется, оперились. Кружков этих на

первых порах было довольно много. Плотина прорвалась, и ручьи бежали в разных направлениях, и там и тут, пока не образовали двух-трех потоков повиднее и пошире.

Прежде всего выделился кружок *Академиков*, состоявший из всякой школьной молодежи: учеников реальной и других гимназий, художественного училища, Маримонтского земледельческого института и, несколько позже, Медико-хирургической академии, открытой в октябре 1857 года¹.

С этого времени во главе кружка явились *Академики*: Ян Куржина-Пельшевский, Владислав Ясневский, Эдуард Лисикевич и Лаурисевич, — все до одного бойкие и даровитые ребята, в особенности Куржина. Этот последний обладал, сверх того, самым неустрашимым и твердым характером. Будучи сыном эмигранта, он получил первоначальное воспитание за границей и знал хорошо всевозможные польские «Катехизисы». Некоторые думают, что это был просто-напросто революционный агент, присланный остатками Демократического общества мутить в Варшаве молодежь, едва лишь было замечено, что везде подул другой, благоприятный *для этого* ветер.

По примеру поляков в русских университетах, *Академики* завели у себя *Общество братской помощи* (*Towarzystwo bratniej pomocy*), которое имело свой статут, библиотеку и кассу. В библиотеке, конечно, играли главную роль разные эмигрантские сочинения на польском, русском и французском языках. Был, между прочим, и наш Герцен. Все это доставалось тогда в Варшаве без особенных хлопот. Экстракт понятий и верований кружка вертелся около того, что

¹ Маримонт (*Marie-Mont*, гора Марии) — небольшой холм, в полуверсте от Варшавы на север, где стоял некогда увеселительный дворец супруги короля Яна III, Марии-Казимиры, обращенный впоследствии в Земледельческий институт.

Реальная гимназия с художественными училищем находилась в так называемом Казимировском палаце, где ныне университет, публичная библиотека и зоологический музей.

Медико-хирургическая академия помещалась в здании, где теперь Первая русская гимназия, у Коперника.

высказывалось в манифесте Демократического общества 1836 года, с последующими добавлениями, главным образом с Катехизисом Правдовского. Все кипели злобой и ненавистью к русскому правительству и не считали возможным даже и самомалейшего с ним сближения.

Затем явилось еще несколько кружков подобного свойства. Их так и звали кружками (*kòłko*). Все это вместе, разумеется, не представляло в ту минуту ничего важного и угрожающего правительству, тем не менее было уже *затеплившейся искрой*, какие необходимо тут же гасить; ибо от таких, а не от других каких-либо искр возжигаются революции. Но об этом и не подумали; даже просто-напросто путем не видали этой искры, и она разгоралась с каждым часом больше и больше, под покровительством разных уступок власти крикам и требованиям, которые неслись со всех сторон, соединяясь в России — с голосами лучших людей России, в Европе — с тем движением, которое началось вследствие несогласия между Францией и Италией, с одной стороны, и Австрией — с другой, и казалось более опасным, нежели было на самом деле. Польская интрига в мутной воде ловила рыбу. В Петербурге, в Москве и в других главных городах империи завелись также общества и партии поляков с агентами из эмиграции. Более важным и влиятельным был кружок офицеров польского происхождения в Петербурге, на Офицерской улице, в квартире капитана Ярослава Домбровского, прикрытый приличным и удобным названием *литературных вечеров*. Начало его относят к 1858 году. Позже в этот военный кружок допущено несколько статских поляков, между прочих — известный Иосафат Огрызко. Полиция ничего этого не видала, даже не подозревала. Это была особенная, добродушная полиция тех времен, дремавшая под крымским солнцем, которое на все одинаково светило. Чего-чего нельзя было тогда устроить офицерам, да еще гвардейским!

Отчасти под влиянием польских кружков, отчасти так, мы стали кричать поминутно, что «надо ж дать что-нибудь и Польше, при таком направлении всех русских дел»!

Иные почтенные лица пустили в ход залежавшиеся в их портфелях какие-то секретные записки о польском вопросе, которые очень скоро пришлось им снова забыть и припрятать...

Ожили и забурлили везде и белые кружки. Варшавский кружок Замойского стал собираться у вождя или в других пунктах уже не так праздно, как собирался до сих пор. Тень Банко более не являлась среди веселых и тонких ужинов и никого не смущала. Говорилось там почти то же, что и на сборищах *красного* лагеря, на их убогих и невкусных «коляциях», запиваемых венгерским «много-много рубля в полтора». Страшные слова: *общество* и *орган* стали повторяться чаще и чаще. Иной раз слышались замечания, что русское правительство, по-видимому, не намерено дать *так* ничего существенно важного и полезного для края, а надо *взять, работать; такое настало время!*

Это были искры, залетающие от Красных.

Наконец граф Андрей, около которого помещики сомкнулись теперь как-то теснее, был уполномочен замолвить слово перед наместником о позволении открыть *Пароходство по Висле*, а потом основать *Земледельческое общество* с органом.

После самых незначительных колебаний наместник (разумеется, снесясь с Петербургом) все это разрешил¹. Затем разрешены всенародные воскресные школы, ремесленные школы и приюты (*oschrouki*), которые пользовались полной свободой действий.

Варшавский книгопродавец Мерзбах получил позволение напечатать Мицкевича, того самого Мицкевича, одно имя которого было еще недавно контрабандой не только в Польше, но и в России: известно, что невиннейшее стихотворение к нему Пушкина носило в заглавии только букву М.

¹ Открытие Пароходства по Висле происходило 20 июля 1858 года. Был на Сольце, в здании Пароходства, пир горой, с речами и стихами. Директором Пароходства назначен Леон Круликовский, известный всей Варшаве за самого красного, отчаянного поляка. Акции общества искусно подняты со 120 до 300 рублей, но потом скоро пали. Земледельческое общество открыто в ноябре 1857 года.

Петербургские поляки попросили тоже журнал на польском языке в Петербурге и открытия польской типографии на широкую руку. Им это разрешено¹. Польская типография, явившаяся в Петербурге под управлением Огрызки, ставшего в то же время редактором польского журнала «Слово» (Słowo), выпустила в числе первых своих изданий *Volumina Legum* древней Польши, весьма роскошно отпечатанные. Работа, которой так страстно ждали «корсиканцы» всех стран, пошла настоящим образом, не по-детски. Наши заграничные «друзья» в правительственных сферах не спускали глаз со всего этого движения России и Польши. В числе гостей государя, прибывшего в сентябре 1858 года снова в свою польскую столицу, очутился и принц Наполеон, окруженный своей польской свитой. Он охотился с государем в Вилянове 29 сентября н. ст., а жил в Лазенках, где посещали его довольно часто высшие лица аристократической партии².

В следующем, 1859 году было почувствовано правительством, хотя и не очень наблюдавшим, что *Земледельческое общество* выходит из черты предписанных ему уставом действий и распоряжается в иных случаях решительно как самостоятельная власть. Приюты, воскресные и ремесленные школы, разрешенные полякам в смысле подспорья Земледельческому обществу в его работах, занимались тоже не тем, чего от них ожидали русские власти, их разрешившие³.

¹ Можно заметить, что просьба о журнале опиралась на существование когда-то (с 1829 по 1853 год) в Петербурге польского *Еженедельника* (Tygodnik) под редакцией г. Пржецавского.

² Кроме того, были тогда в Варшаве: принц-регент Прусский, теперешний король, принц Карл Баварский и принц Карл-Август-Иоанн Саксен-Веймарский. О принце Баварском рассказывали потом, что когда он услышал, что будет принц Наполеон, то поспешил оставить Варшаву и, чтобы как-нибудь не встретиться с «приятелем» на дороге, прожил в Скерневицах, пока тот проехал.

³ По словам Авейде, эти школы более всего способствовали развитию в крае так называемой *народной литературы*, а вместе с ней идеей польского Катехизиса. I, 238.

Литератор Гиллер, воротившийся из ссылки, впоследствии член «народного правительства», явился в минуту, нами изображаемую, редактором дешевой¹ народной газеты «Воскресная Библиотека», основанной на деньги богатой помещицы Петровой.

В обыкновенных газетах стали тоже поминутно про-скакивать статьи с разными политическими намеками. Все двигалось к чему-то довольно быстрыми шагами; партии, корпорации, сословия приглашались к единодушию и примирению, во имя любви к общей матери-отчизне.

Статья помощника редактора «Варшавской Газеты» Кенига о неудаче концерта Неруды, потому что у нее «нет орлиного носа, смутного лица, черных волос, потому что она не выговаривает буквы эр (r) горлом, фамилия ее не кончается на *блятт, кранц, штерн*, — словом, нет у нее ничего такого, чтобы пользоваться покровительством котерии, которая осадила всю Европу, особенно поляков, которая действует дружно, единодушно, толкает вперед каждого из своих, будь то банкир, тенор, скрипач или просто спекулянт»², — эта статья, в другое время едва ли бы замеченная, в начале 1859 года возбудила крики неудовольствия, дошедшие до того, что Кениг стрелялся из-за оскорбления жидов со своим братом поляком. Кроме того, 12 человек именитых евреев написали к редактору Лешновскому письмо, где угрожали ему палочной расправой. Лешновский жаловался. Этих господ арестовали. После того еврейские капиталисты, в ограждение себя от будущих атак подобного рода, основали свой собственный орган: банкир Кронеберг купил у Невяровского «Ежедневную Газету» (*Gazeta Codzienna*), о коей читатель уже знает³, и вверил редактирование ее первому тогдашнему светилу литературного мира Польши, Иосифу Крашевскому, которого выписали из Житомира, где он жил до тех пор очень тихо, производя свои бесконечные романы, повести, скиццы...

¹ Подписная цена в месяц была злот — 15 коп. сер.

² *Gazeta Warszawska*, 1859, № 4.

³ См. выше.

Газета пошла недурно благодаря не столько известности Крашевского и его редакторским способностям, сколько хорошему гонорару, какой платился основателями сотрудникам. Вначале она носила прежнее имя, а позже, с 3 апреля н. с. 1861 года, названа «*Польской Газетой*» (*Gazeta Polska*) и теперь стоит, можно сказать, на одной линии с «*Варшавской*».

Однако же настоящего братания между жидами и поляками все-таки не было. Были только заявления разных кружков, что «теперь не время расходиться врознь всему тому, что считает себя в польской земле поляками, как бы кто ни назывался».

Евреи, закладчики «*Польской Газеты*», долго не внимали этим увещаниям. Равно и «*Варшавская Газета*» шла войной против нового опасного соперника. Громовые статьи сыпались за статьями. Евреи нашли возможность при помощи Эноха, обер-прокурора одного из департаментов Варшавского сената¹, начавшего тогда входить в славу, выхлопотать у наместника запрещение цензуре пропускать полемические статьи против еврейского мира. Тогда Лешновский послал одну такую статью в Петербург, к Огрызке, и он напечатал ее в своем «Слове». Евреи пришли в бешенство. Еnoch, бывший тогда в Петербурге с князем Горчаковым (который приехал туда с проектами разных нововведений в Царстве и жил в Зимнем дворце), представил ему вопрос в таком виде, что «никакое управление в Царстве невозможно, если распоряжения наместника будут безнаказанно нарушаться в Петербурге первым коллежским ассессором². Князь пошел жаловаться государю. «Слово», получившее незадолго перед тем выговор за помещение письма Лелевеля к Чайковскому, было запрещено, а Огрызку посадили в крепость.

¹ Когда Еnoch чрезвычайно приблизился к Горчакову, в Варшаве стали говорить: «Здесь никто не может жить без фактора; вот у наместника свой фактор — Еnoch».

² Эти подробности из статьи г. Пржецлавского «Иосафат Огрызко и его польская газета «Слово», в *Русском архиве* 1872 года, стр. 1037 — 1038. Г. Пржецлавский говорит, что Кронеберг плакал при нем, читая статью против евреев.

Известны всем поднявшиеся по этому поводу крики недовольствия в Петербурге и в Москве, а отчасти и в целой России. Тургенев написал письмо... Результатом всего этого было скорое освобождение Огрызки, а Горчакову предложено извиниться перед министром, по ведомству которого произошла никем не ожидавшая кутерьма. Горчаков извинился, однако сказал после этого (как уверяют) в Комитете министров следующие знаменательные слова: «Если вы станете здесь так действовать, то мне придется очень скоро стрелять в Варшаве картечью».

Легко представить торжество поляков. Все кружки покраснели. Князь Горчаков, воротясь в Варшаву, без сомнения, заметил это; но под влиянием неприятностей, испытанных в Петербурге, а частью ввиду событий, разыгравшихся на Юге (образование Итальянского королевства, дозволение полякам основать военную школу в Генуе, связь Гарибальди с Мирославским и другими вождями польского заговора), сделался еще осторожнее, еще уступчивее. Довольно одного следующего факта, чтобы обрисовать тогдашнее настроение мыслей наместника. Когда маленькое русское общество Варшавы обратилось к нему с просьбой (в первой половине 1859) о разрешении открыть «Русский клуб», князь Горчаков разрешить-разрешил, но велел называться этому клубу не Русским клубом, а *Варшавским общественным собранием*.

Члены нынешнего «Русского клуба», встречая иногда на старой своей утвари и белье таинственные буквы В. О. С. никак не могут отгадать, чтобы это такое было. Это *Варшавское общественное собрание*.

А сколько было еще фактов в этом роде! Сколько было пропущено таких вещей, на которые следовало бы устремить весьма зоркий взгляд! Народные школы сделались смелее; намеки газет свободнее и выразительнее; Земледельческое общество распоряжалось в стране, как ему вздумается, хозяйничало помимо настоящих хозяев. Замойский стал рассылать циркуляры и медали. Об этом только говорили в Замке, как о чем-то странном и неудоб-

ном для правительства, но мер надлежащих все-таки не принято.

Вожди красных кружков Варшавы почувствовали нерешительность и как бы страх в действиях власти и дали знать, кому следует, в Европу. Мирославский предложил Академикам испытать, посредством какой-либо незначительной демонстрации, *общественное настроение*, дабы, согласно полученному результату, идти далее тем или другим путем.

Мы имели в Варшаве довольно сносную полицию, тогда еще весьма немного развращенную заговором, только малую числом¹. Эта полиция узнала, что студенты сочиняют какую-то панихиду подозрительного свойства, и сообщила о том главному директору комиссии духовных дел и просвещения, д. с. с. П. А. Муханову, человеку с большим значением и властью; а он предписал ректору академии д. с. с. Цыцурина разузнать, что это такое за панихида и кто из учеников более всего в ней участвует.

Цыцурин донес, что панихида, сочиняемая школьниками, названа «панихидой за упокой душ Юлия, Адама и Сигизмунда», главные же зачинщики в этом — студенты академии Куржина и Ясневский.

¹ С 1856 года включительно по 1861-й она делилась на так называемую пешую полицию и ночную.

В первой состояло чинов:

Рядовых (стойковых).....	112
Унтер-офицеров.....	5
Фельдфебелей	1
Субалтерн-офицеров	1
В последней:	
Рядовых (стойковых)	263
Унтер-офицеров.....	16
Фельдфебелей	5
Начальник команды, об.-офиц.	1
Помощник его	1
Субалтерн-офицеров	3
Ревировых	120
<u>Комиссаров</u>	<u>12</u>
Итого:	540

Варшава знала, что это за *Юлий, Агам и Сигизмунг*¹. Хотя полиция и устранила манифестацию в том виде, в каком хотелось исполнить ее Академикам, но все-таки народ, извещенный какими-то листиками (а иные уверяют, будто бы об этом было опубликовано в газетах), собрался большой кучей к костелу святого Яна, и это показало красной партии, что сочувствие всему патриотическому в массе есть и что можно, стало быть, идти дальше.

Начальство академии подвинуло вперед подлекарские экзамены 1859 года, с тем чтобы их умышленно затруднить для некоторых и избавить академию от этих лиц. Куржина и прочие влиятельные члены кружка, догадавшись, к чему идет дело, подбили товарищей к подаче прошений массой. Подали все, исключая четырех, которых кружок грозился повесить, но, конечно, остался только при одних угрозах.

Цыцурин нарядил следствие для открытия виновных в заговоре; указаны были снова Куржина и Ясневский и сосланы, по конфирмации наместника, первый — на жительство в Люблин, а второй — в Плоцк, под надзором полиции.

Надзор был, однако же, такого рода, что оба сосланные бежали за границу: Ясневский — прямо из Плоцка, а Куржина, не достав себе заграничного паспорта в Люблине, приехал в Варшаву и здесь, получив паспорт при помощи отставного офицера Нарциза Янковского, также бежал и вскоре сделался ближайшим человеком к Мирославскому, как обыкновенно говорили — его секретарем. Уезжая из Варшавы, он передал свою «власть» только что поступившему в академию ученику, Карлу Маевскому, тоже замечательных способностей и отличавшемуся не менее твердым характером, как и Куржина.

Маевский ввел в кружок род «организации», с *пятками* и *десятками*, которые уже были в ходу между поляками (именно в Петербурге у Домбровского и в Киевском университете) и назначил в каждый особого начальника.

¹ Поэты Словацкий, Мицкевич и Красинский.

Потом увеличил библиотеку новыми эмиграционными сочинениями¹.

Тем временем Янковский собирал свой кружок из горожан всевозможных сословий, куда входили и купцы, и литераторы, и чиновники, и ксендзы, и кое-кто из помещиков.

Оба этих красных кружка, *Янковисты* и *Академики*, имели между собой беспрестанные сношения, толковали, спорили, бранились, как это бывает у поляков, но все-таки шли в одну и ту же сторону. Руководителями обоих были заграничные революционные деятели, более всего Мирославский — герой и страдалец 1846—1848 годов, бывший пруссаков, осужденный потом ими на смерть, спасенный чуть не чудом; военный писатель, оратор, наконец, директор Генуэзской школы² и друг Гарибальди, этого «ангела революций», как выражались о нем иные поляки. Мирославский, можно сказать, правил тогда всем, что только было красного на пространстве Польши 1772 года. По его приказанию красные Варшавы стали распространять в конце 1859 года народные гимны, песни, портреты Костюшки и Килинского³ — с целью, как говорили тогда, «поднять дух в народе».

Близ того же времени стала выступать наружу особая партия, не то чтобы красная, но и не белая, а скорее средне-пропорциональная, тоже из разных горожан, под руковод-

¹ Сведения из показаний самого Маевского и из «Записок» Авейде.

² Основана под покровительством Гарибальди вскоре по окончании Австро-итальянской войны. Говорили, что Виктор-Эммануил сверх дома для школы и плаца для экзерциций давал Мирославскому по 3 тысячи франков в месяц. Но главные деньги шли из Царства.

³ Известный предводитель ремесленников в восстание 1794 года, сам тоже ремесленник, именно сапожник. Костюшко наименовал его «полковником народных войск». По окончании войны перевезен в Петербург, но после смерти государыни Екатерины II ему дозволено воротиться в Варшаву, где он и умер, на улице Дунай, в доме № 145, 28 января н. ст. 1819 года, имея от роду 59 лет, и похоронен на Повонзках. При жизни получал пенсioen по чину полковника, перешедший и на вдову его, которая получала этот пенсioen до конца 1831 года (*Pamiętniki z ośmnastego wieku. Poznań 1860*).

ством весьма умного и образованного чиновника комиссии внутренних дел Эдуарда Юргенса. Маевский уверяет, что она появилась, в виде небольшого, неопределенного кружка, тотчас после Крымской войны.

Полужидок, полуполяк происхождением, Юргенс соединял в себе свойства обеих наций: был отважен и дерзок, как его предки славянского корня; был осторожен, хитер, стоек и глубоко сосредоточен, — как другая отрасль, участвовавшая в его рождении. В конце концов, был отъявленным польским патриотом, готовым положить за Польшу свою душу, что после и сделал¹. Таких типов довольно теперь между поляками. Они носят иногда чисто польские фамилии. Весь нынешний средний класс Польши далеко не то по крови, что средний класс прежних времен. Чистая польская кровь осталась только вверху и внизу, между аристократами и самым низменным слоем населения; но и туда начинает пробираться настойчивая, энергическая котерия, в самом деле (как сказано в статье Кёнига), «осадившая Европу, в особенности поляков». Эти волны довольно опасны.

Вот где, между прочим, надо искать объяснение кое-каких явлений последнего Польского восстания, к которому мы приближаемся, этих как бы *неславянских* выходов, этой как бы *неславянской* энергии, неуступчивости, неумолимости, что «не дает себя погладить по голове».

Партия Юргенса считала невозможным дойти до каких-либо результатов путем красных, точно так же не видала спасения и в медленных, вялых работах белого лагеря. Она создала свои особые принципы, которые Авейде излагает так:

«Польша не погибла, и всякому поляку необходимо желать ее восстановления посредством революции; но эта революция должна быть венцом долгих трудов и работ, веденных осторожно и благоразумно. Стремление к революции какой-нибудь, состряпанной на скорую руку, — пре-

¹ Умер в каземате Варшавской Александровской цитадели в августе 1863 года, не сообщая ничего важного.

ступно... Единственный путь, который может быть избран рассудительными заговорщиками, есть путь разнообразных льгот и уступок, какие только удастся иному ловкому патриоту завоевать у правительства в благоприятную минуту, и затем — помощь или хотя бы влияние Европы. Ссориться с правительством, а равно и питать к нему чувства слепой ненависти и отвращения, отнюдь не следует; а, напротив, стараться быть с ним в возможно лучших отношениях, смотреть на него, как на силу, соединенную с судьбами народа, с которой идти в открытый бой нельзя, но эксплуатировать которую всегда можно... От предлагаемых должностей не только не отказываться, как это делают нередко белые, но всемерно искать их, добиваться, хватать обеими руками. Ничуть не задерживать и не парализовать полезных нововведений, а всячески облегчать им ход. Работая таким образом, постоянно помнить о революции и считать ее заключительным и даже неизбежным финалом всего, последним актом драмы... а потому — готовить материальные средства, как и кому придет в голову, и внимательно следить за событиями в Европе».

Но *проповедь, принципы и дело* — совсем не одно и то же. Как ни безумны, по-видимому, ни порывисты, ни молодцы были *Академики* Маевского, но все-таки в них было больше *революционного дела* на всякий опытный взгляд, больше, нежели в ком-нибудь из тогдашних партий Варшавы. Если б *Юргенчиков* (как звали этот кружок те, кто о нем знал) оставить на произвол судьбы и не подталкивать, из них образовался бы, без сомнения, тот же невинный, способный на одни праздные сходки, кружок чисто белых «будователей» (как их прозвал один русский писатель), «миллинеров» (как их называл Мирославский), то есть таких заговорщиков, которые растягивают революционные работы на тысячу лет.

Это могло случиться даже, пожалуй, и с кружком Янковского, так как его «краснина» — были люди более или менее степенные, с известным, определенным положением в обществе, — люди, кому было что терять, не молокососы,

не *smarkate* Маевского, готовые когда угодно в огонь и в воду, именно потому, что они *smarkate*.

Это понимал лучше всех сам Янковский. Его бесило одинаково и праздное разглагольствование *Юргенчиков*, и недостаточная отвага своих, и бестолковое метание из стороны в сторону ребят Маевского, очень плохо знавших, как *делаются эти дела*, а только настораживавших уши по направлению к Западу: что прилетит оттуда; и если что прилетало, ребята бросались со всех ног исполнять, не зная, хорошо это или дурно, идет или не идет к минуте. Необходимо было для пользы общей стakнуться, слиться всему, что живо и горячо. Янковский сделал прежде всего движение к кружку Юргенса; но, по внимательном рассмотрении, увидел в нем просто-напросто белых, как все белые, миллинеров Мирославского. А Юргенс увидел в Янковистах необузданную «краснину». Янковский требовал действий, между прочим посылки в разные пункты агентов; Юргенс находил всякие действия пока невозможными и рекомендовал выжидание более благоприятных минут, которые, по его мнению, должны были скоро наступить.

Янковский, после нескольких сходов депутатов обеих партий, прекратил переговоры с *Юргенчиками* и обратился к *смаркатым*¹.

Положено бы также «выбрать депутатов». Местом схода назначена квартира Маевского, на Хмельной улице, в доме № 1531. *Академики* выставили следующих представителей своего кружка (приобретшего за последние дни несколько ратников вне своих школьных стен): собственно от академии — братьев Франковских, Станислава, Ивана и Льва (тогда только что поступивших в академию), от художественной школы — Карла Новаковского, от города: архитектора Рафаила Краевского; литераторов: Ивана Банземера (берлинского студента) и Левенгардта (краковского студента).

С Янковским явились: сотрудник «Польской Газеты» Болеслав Денель, товарищ Мирославского по восстанию

¹ Все это по показаниям Маевского.

1848 года, и молодые помещики: Станислав Кршеминский и Юлиан Верещинский.

После шумных и довольно беспорядочных толков депутаты кружков постановили: образовать *комитет* — и он образован большинством голосов из следующих лиц: Янковского, Денеля, Кршеминского и Верещинского, с одной стороны; с другой — взят только один Маевский, в должности казначея.

Это был прародитель известного *Центрального комитета*. Заседания открылись (в квартире Янковского, на Маршалковской) с того же дня, который определить в точности трудно; вообще — в конце 1859 года.

Члены разделили между собой занятия, каждый соответственно своему положению и связям. Денель, бывший соратник Мирославского, взял на себя переписку с ним и с Куржиной; Верещинский, бывший студент Киевского университета — сношение с Русью (то есть с губерниями Киевской, Волынской и Подольской); Левенгардт с Краковом и с Галицией; Банземер — с Берлином; Кршеминский сделан библиотекарем.

Прибывший вскоре после этого в Варшаву студент Бреславского университета Адам Прот Аснык был также принят в лоно соединившихся кружков Маевского и Янковского (которые в строгом смысле никогда вполне не сливались) и стал переписываться с Познанским княжеством¹.

¹ Об этом Асныке рассказывали потом, что он явился в Варшаву во главе особого общества *Черных Братьев* «подымать народный дух и приводить Варшаву в состояние восприимчивости ко всему конспиративному и в послушание агитаторам».

Может статься, и было что-нибудь такое; но по тем письменным и печатным источникам, которыми мы располагали и которые считаем пока лучшими материалами для восстания 1863 года, не видно существования подобного кружка отдельно от Янковского и Маевского. Последние, а равно и Авейде, несомненно могшие знать хорошо о главных деятелях того времени, говорят, что Аснык был только лицом непосредственно сносившимся с комитетом и между прочим учрежателем немного после разных мелких манифестаций. Янчевский замечает, что общество *Черных Братьев* хотел было основать (для уничтожения явившихся позже делегатов) некто Аполлон Крыжановский; но так как его в Варшаве

В чем состояли сношения новорожденного комитета с Европой, мы не знаем. Но, во всяком случае, это был шаг красной партии вперед. *Юргенчики* побледили, отодвинулись назад; часть их даже перебежала под крыло красного комитета. Наступала пора детей и безумцев, как их поминутно честили в противоположном лагере, «этих слабых, младших политиков сердца», как зовет их Авейде, к ним же принадлежавший.

Настроение Европы в следующем 1860 году сильно помогло развитию революционных идей Польши. «Познанцы начинали парламентскую борьбу со своим правительством и с немецким элементом. Краковская молодежь требовала преподавания наук в Ягеллонском университете на польском языке. Затем императорско-австрийские патенты о провинциальных сеймах и вообще перемена политики в Австрии. Депутация Смолки в Вену, депутация силезцев и совещание провинциальных сеймов, борьба избирательная и сеймовая между партиями аристократической и демократической, с одной стороны, и между народностями польской и русинской — с другой»¹.

Эмиграционная литература, вследствие забот о ней разных вождей заграничных польских партий, закипела большей деятельностью. Из выходивших тогда за границей польских газет и листков можно упомянуть о следующих: *Wiadomosci Polskie*², *Demokrata Londynski*³, *Dziennik Poznański*, *Nadwiślanin*, *Czas*, *Przegląd Powszechny*, *Dziennik literacki*.

Солиднейшим, как кажется, был *Czas*, что значит *Время*, — *Times* поляков.

плохо знали, то приняли за шпиона и арестовали раз ночью *академики* Прагловский и Урбанович, когда он им грозил пистолетами, и привели в клуб к делегатам, а те отослали в Ратушу. Янчевский утверждает, что общество *Черных Братьев* поэтому и не образовалось.

¹ Авейде, 1, 251.

² Орган умеренных демократов, по замечанию Авейде.

³ По его же замечанию, бездарное наследие Централизации демократического общества.

Возникшие в России русские либеральные кружки, с их подземной литературой, как ни были, в сущности, ничтожны, — все-таки породили в красной половине Варшавы и Польши кое-какие лишние надежды. Офицерский кружок Домбровского представлялся этим мечтателям чуть не заговором целой русской армии.

Еще больше шуму и надежд произвела в красных поляках высадка Гарибальди в Марсале (в начале мая по н. ст. 1860). Став диктатором Неаполя, *ангел революций* обещал будто бы сформировать какой-то *международный легион* (*legion internationale*), командование которым хотел поручить Мирославскому. Об этом говорили в Варшаве с утра до ночи все кружки. Сборы у Янковского сделались так шумны и часты, что возбудили внимание полиции. Янковский счел за лучшее скрыться за границу. Авейде говорит, что этот побег главного вождя красных имел целью переговоры с Мирославским относительно «Гарибальдийского легиона» и о подробностях по соглашению этого проекта с действиями революционеров в крае. Другие же называют побег Янковского простым побегом со страха.

Как бы то ни было, с Янковским утрачивалась некоторая степенность кружка. Янковский вел, правда, дело красно; а все-таки умерял порывы иных чересчур нетерпеливых, которые были готовы идти в бой хоть завтра. Он не пускал таких заседать в комитете при обсуждении важных вопросов, когда число членов комитета как-то постоянно увеличивалось. Без него же — ворота открылись, и члены комитета увидели своими бессменными товарищами господ Франковских, Новаковских, Целецких... у кого на уме и на языке только и было что «манифестации, желание выразить чем-нибудь неудовольствие Москве», и это считали они шагом вперед, а всякое выжидание — самоубийством.

Напрасно умеренная часть партии: Денель, Банземер, Маевский и некоторые другие представляли не то что комитету, а уж чуть ли не целой академии, что «это еще рано», что «нет надлежащей подготовки умов в городе» — ребята думали другое и только ждали случая открыть свои действия.

Когда нетерпеливо ждут случая, он является. На ловца, как говорят, зверь бежит. 10 июля ст. ст. того же 1860 года умерла вдова генерала Совинского, который при штурме Варшавы нашими войсками в 1831 году защищал предместье Волю и пал, пробитый несколькими пулями, у алтаря маленькой церкви, доныне стоящей за Вольской заставой.

Академики и художественная школа собрали на эти похороны значительную толпу. Когда гроб был вынесен, «предводители» бросились и оборвали шлейф (огонь), который выставляется вон из гроба на похоронах богатых и значительных лиц женского пола. Этот шлейф был разорван на мелкие клочки: потом оборваны даже и самые позументы, и все это роздано на память народу, как бы некие реликвии. После того раздавались народу какие-то ветви. Гроб отнесен на кладбище на руках студентов. Когда пастор (Совинская была евангелическо-реформатского исповедания), говоря надгробное слово, назвал покойницу «вдовой полковника»¹, толпа крикнула: «Генерала!»

Эту манифестацию считают обыкновенно *первой манифестацией* описываемого нами восстания. Наместник приказал отнестись к ней как к детской шалости, а потому ни арестов, ни преследований не было².

Это, конечно, поощрило *Академиков* к дальнейшим опытам в том же роде.

Перед съездом союзных монархов в Варшаву, осенью того же года, распространен по городу такой плакат:

«Вскоре Варшава увидит в своих стенах трех воронов, которые растерзали наше отечество. Братья! Это важная минута в истории наших несчастий. Съезд их, вероятно, не останется без влияния на нашу горькую судьбу, и мы уви-

¹ Совинский для русского правительства был действительно только полковником, а в генералы произведен революцией 1830 года.

² Незадолго до этого погребения было прислано в край воззвание Мирославского, на тонкой веленовой бумаге, с подписями: *Jenerał Lüdwik Mierosławski, sekretarz Jan Kurżyna*. Кончалось словами: «*Niech żyje Polska! Śmierć lub zwycięstwo!*» Эту брошюру продавали перед похоронами Совинской по рублю за экземпляр.

дим, может быть, новую программу действий, которые под личиной спасительных реформ устремятся к совершенному уничтожению нашей народности. Съезд их, кроме того, имеет еще и другую цель, не ведущую, конечно, ни к чему великому. Эти драконы поклялись взаимно идти против всего справедливого. Поляки! Понимаете ли вы злобные намерения наших врагов? Пришла минута, когда прежняя столица Великой Речи Посполитой, должна выказать все презрение и ненависть, какими проникнуто сердце каждого поляка в отношении к этим святотатцам, которые посягнули на права Божии, на свободу и независимость нашего отечества. Поляки! Не упускайте из виду этого случая: да уподобится наш город, во время пребывания их в нем, черному гробу, обитому черным сукном; да напоминает он им на всяком шагу их преступления; да оденется всякое веселие саваном смерти. Поляки! К нам взывают о том дух прошедшего величия нашего и тысячи братьев наших, павших при обороне отчизны!»

По съезде монархов более красная часть академического кружка позволила себе несколько самых неприличных манифестаций.

Например, при закладке государем нового моста через Вислу, 9/21 октября, так называемые лобузы (уличные ребята разного возраста), научаемые манифестаторами, резали дамские платья ножницами и обливали купоросом.

А вечером того же дня, при появлении монархов в театре, на представлении нового балета «*Мадьярки, или Парижский карнавал*» (шедшего в первый раз), спущены были из райка какие-то пузырьки с вонючей жидкостью, которая наполнила воздух таким отвратительным запахом, что публика должна была выйти вон¹.

Потом на всех иллюминациях, устраиваемых городом в честь высоких гостей, лобузерия гасила плошки. Платья гуляющих страдали от купороса и ножниц.

¹ Даже был перепачкан бархат в царской ложе. Его пришлось ободрать и наклеить свежий перед приездом монархов.

Полиция, в которую начинал уже проникать разврат, смотрела на подобные зрелища большей частью сквозь пальцы, очень редко кого-либо арестуя. Следствие, наряженное по поводу вонючих пузырьков, не открыло ничего. Между самими белыми проявились охотники и охотницы делать маленькие манифестации. В театрах любителей артисты, лица высшего круга, позволяли себе разные вставки с намеками на ошибки и дурные стороны правительства¹.

На одном маскараде в театральных залах, называемых в Варшаве *редутовыми* (то есть залами для увеселений), помещик Залусковский явился *невольником в цепях* и взят под стражу.

Потом произошло еще несколько арестов. Ребятёжь была испугана. Комитет (точнее предводительствующая кучка) распался на две части: белых и красных. Белые требовали совершенного прекращения манифестаций; красные говорили, что это значит «обрезать нити, которые уже не надвяжешь». Кончилось тем, что белые с Маевским во главе пристали к партии Юргенса, а Кршеминский и Верещинский даже бежали из Варшавы, первый — в Гейдельберг, один из тогдашних притонов польской и всякой революционной молодежи; другой — в Киев.

Денель дал знать об этом происшествии Мирославскому, и тот прислал немедля в Варшаву расторопного агента Франциска Годлевского «восстановить порядок в красном лагере»².

Годлевский составил при содействии Денеля и Ивана Франковского *Новый комитет красных* под названием Ко-

¹ Авейде, II, 3.

² Из сочинения А. Гуттри «Pan Ludwik Mięrosławski, jego dzieła i działania» (1870) видно, что в то время шли какие-то работы и чисто-белой партии Царства Польского, не желавшей отнюдь допускать Мирославского в главные вожди восстания, если б таковое возникло. Мирославский, по словам Гуттри, сильно упал во мнении всех солидных поляков после событий 1846 года. 1848 год несколько поправил его репутацию, но потом он снова упал. В 1860 году Мирославский, по уверению Гуттри, сам навязал себя в начальники и руководители движения. Прибытие от него агентов в край Гуттри называет *самовольством, породившим анархию*.

митет Янковского, как первоначального их предводителя, которого они надеялись вскоре увидеть опять в стенах Варшавы. Действительно, немного позже (в декабре 1860-го) он отправился в Польшу, но был арестован, по какому-то подозрению, австрийцами, содержался несколько времени в Кракове и после был передан в руки русских властей.

Отпавшая перед тем часть красных и некоторые Юргенчики, а также и сам Юргенс, смотря на возникающий вновь «Содом и Гомор» заговора, боялись, чтобы не произошло из этого чего-либо вредного их общему делу, вредного безвозвратно; а потому решили искать сближения с Денелем и Годлевским. Эти тоже были не прочь сойтись с прежними товарищами, тем более, что через это выигрывался Маевский, имевший много приятелей в городе, готовых на все. Да и вообще он был некоторой силой. Предложены взаимные условия, на каких могло последовать примирение. Умеренные красные с Юргенчиками, державшими их руку, требовали, чтобы Комитет Янковского, несмотря на вражду, которую питает ко всему шляхетскому, помогал, чем случится, Земледельческому обществу в его патриотических работах, какими бы они кому ни казались.

А красные, то есть Денель с товарищами, желали, чтобы манифестации отнюдь не прекращались, ибо это был (по мнению большинства обеих половин) единственный путь, которыми можно до чего-либо дойти.

Условия эти приняты, и стороны сошлись. Впрочем, фактически они не расходились совсем никогда, как это вообще бывает с польскими партиями. Их шумные собрания у того или другого влиятельного лица представляли не раз точно такое же слитие, представляли те сцены, какие нами уже очеркнуты при описании первоначальных политических кружков эмиграции тотчас после 1831 года. Отсюда проистекает иногда небольшая разница в изложении этого предмета очевидцами: одним кажется, что партии тогда-то сходились; другим, что только вместе кутили по праздникам.

Каким образом *Комитет Янковского*¹ помогал Земледельческому обществу, если только помогал (как это требовалось условиями соединившихся партий), мы не знаем. Но действия другой, манифестационной половины выступили на вид очень ярко. Лобузерия, по команде *Академиков*, поминутно колотила стекла в домах лиц, где давались какие-либо официальные вечера. Главными распорядителями по этой части были воспитанники разных варшавских гимназий: Козубский, Ячевский и Снегоцкий. Полиция к этому времени уже так развратилась, что ни один из этих командиров лобузерии ни разу не попал под арест. Они взяты гораздо позже, в 1863 году, при графе Берге, когда пошла общая переборка.

Русские вывески были безнаказанно срываемы с магазинов среди бела дня. Если хозяин начинал звать полицию, к нему врывалась толпа лобузов и производила разные дебошества.

Городская почта сделалась орудием пересылки ругательных писем обывателям, которые почему-либо не нравились красной партии.

Отчего (спросят иные очень естественно) дремала в это время до такой степени высшая власть и не отдавала решительных приказаний войскам, патрулям — устранять замечаемые в улицах беспорядки; почему дозволялось полиции быть такой, какой она была? Все это вопросы, на которые отвечать теперь трудно. Их разрешит только будущее.

Во всяком случае, это были минуты весьма важные для заговора, собственно говоря, еще не имевшего права носить такое имя. Действительного заговора все еще не было. Все еще только баловались мальчишки разных возрастов, и унять их тогда правительству ничего не стоило. К сожалению, этого не сделано, и шалости перешли к серьезному.

В памятный для Польши день восстания 1830 года, 17/29 ноября, *Академики* решили учредить небольшую манифе-

¹ Состоял в то время, как кажется, из следующих лиц: Денеля, Годлевского, Маевского, Банземера и Левенгардта.

стацию в виде опыта, чтобы узнать, как отнесется к этому правительство.

Местом для этой пробной манифестации был избран один из отдаленных костелов, именно Кармелитов¹ на Лешне, где наблюдение полиции не так сильно: в конце улицы даже почти не видно так называемых *стойковых*².

В 12-м часу утра, в сказанный день, собралось туда множество *Академиков*, ремесленников и всякого праздного народа, помоложе и покраснее, кто начал уже революционно просвещаться — всякими толками, патриотическими песнями, стихами, портретами давних героев Польши, что распространялось красным кружком поминутно, в литографированных экземплярах, по всему городу, не встречая особенного препятствия со стороны полиции. Очень много портретов Костюшки и Килинского было роздано и тут. Затейники подбивали было ксендза произнести патриотическую, соответствующую минуте проповедь, но он не согласился. Все же остальное: раздача портретов, особые одушевленные молитвы — сошло с рук совершенно благополучно. Весь тот день, однако, манифестаторы поглядывали вопросительно на русских: «Что они думают? Знают они или не знают о том, что произошло на Лешне и кто этим распорядился?»

Русские *ничего не знали*. Когда партия в этом убедилась, решено было повторить манифестацию вечером того же дня, сделать ее как следует, открыто, без всякой церемонии с полицией, чтобы видел уличный народ и выразил сочувствие или несочувствие.

Более всего на этом настаивал неукротимый, чисто-начисто безумный фанатик, Карл Новаковский, пользовавшийся некоторым влиянием в кружке и довольно известный в городе по своему патриотизму и готовности на все в любую минуту. Урезонивать его, когда он начинал говорить

¹ Кармелиты, имеющие обувь (*trzewiczkowi*). Кармелиты на Краковском предместье носят название босых (*karmelici bosi*).

² У нас городской-стойковый (*stojkowy*). Разумеется, происходит от *стоять*; стойковый — это полицант, обязанный *стоять* на ногах и прохаживаться на известном пункте улицы, где его поставили.

о необыкновенном значении манифестаций, было очень трудно, да, может, и некому в то время. Большинство под влиянием утренней манифестации хотело повторения таких сцен, забывши всякое благоразумие, забывши, что недавно говорилось, по-видимому, очень серьезно, на заседаниях комитета в противность манифестациям. Утренняя шалость была для этого горячего народа рюмкой водки перед обедом, раздражившей аппетит и требовавшей обеда. Новаковский взялся его подать, выступил полным хозяином этого дела. По его команде, часов в 6—7 вечера, собралась огромная толпа народа перед статуей Богоматери на той же улице Лешне; принесен стол, зажжены лампы, и, когда молящиеся пали на колени, Новаковский, детина высокого роста с голосом как труба, «дернул» (да позволит нам читатель это слово) «*Boże coś Polskę*» старый, забытый всеми гимн двадцатых годов, написанный Алоизием Фелинским, автором нескольких подобных стихотворений¹. Впечатление было необычайное: у всех присутствующих полились слезы...

Это было *первое* «*Boże coś Polskę*» этого восстания². Затем пропеты: «*Z dymem pożarów*» «*Boże ojczy, Twoje dzieci*»,

¹ Вначале существовало только четыре куплета, которые при государе Александре Павловиче пели везде открыто. Позже добавлено, неизвестно кем, еще несколько куплетов. Брошюра «*Ruch Polski*» (1861) говорила, что был куплет с именем Мирославского. Вероятно, те куплеты, которые распространены в Вильне перед 17/29 ноября 1861 года. (Цылов Н. Сигизмунд Сераковский и его казнь, с предшествующими манифестациями в Вильне в 1861—1863 годах. — Вильна, 1867. — С. 20—21).

«*Boże coś Polskę*» (Боже, который Польшу...) Далее следуют слова: «...окружал в течение стольких веков блеском могущества и славы!»

Вольный стихотворный перевод гимнов: «*Boże coś Polskę*» и «*Z dymem pożarów*» помещен в Библиотеке для чтения, 1864 (Февральская книжка, с. 19—21).

Музыка для «*Jeszcze Polska nie zginęła*» написана Войтехом Совинским в Варшаве. Незадолго до взятия Варшавы, в августе 1831-го, дан был концерт в пользу поляков, принесший 20 тысяч франков. Оркестром управлял Рабенек, и тут Совинский в первый раз исполнил арию «*Jeszcze Polska nie zginęła*».

² В Вильне пропеты «*Boże coś Polskę*» в первый раз в кафедральном костеле во время литургии, которую совершал Виленский епископ Красинский, — 8 мая 1861 года, в День святого Станислава.

и некоторые другие, а в заключение раздалось, по уверению иных: «Jeszcze Polska nie zginęła».

При этом снова разбросано множество портретов Килинского и Костюшки и печатных тетрадей с народными гимнами и песнями¹.

И эта манифестация сошла с рук благополучно. «Полиция совершенно равнодушно на все это смотрела», — пишет Авейде².

Манифестаторы решились подвинуться к центру города.

Через неделю с небольшим толпа учеников реальной гимназии младшего возраста собралась в костеле Бернардинов на Краковском предместье и отслужила панихиду по убиенным полякам 1830 — 1831 годов, причем пропето несколько патриотических гимнов.

Это, собственно, была только проба, *balon d'essai* красной партии: нарочно пущены ребятишки и, как действительные ребятишки, не привлекли ничьего внимания. Арестов не последовало. Но когда манифестация была повторена старшим возрастом, с прибавлением городского элемента, под командой Асныка, у святого Креста (тоже на Краковском предместье), — произошли аресты. Аснык и многие из его приятелей посажены в цитадель³.

Весь город заговорил о манифестациях. Благоразумнейшие из граждан, можно сказать, все белое города, требовали от вождей красной партии (которые более или менее были известны всем *патриотам*), чтобы они прекратили беспорядки, угрожавшие «солидным работам» заговора,

¹ Печатанием всего этого занимались преимущественно братья Франковские. Тогда же отпечатаны «Adwent Polski» («Рождественский пост») и воззвание к народу о подчинении восстания генералам Высоцкому и Мирославскому.

² II, 4. Подробности манифестации Новаковского взяты нами из Записок Авейде. Далее — сколько по его словам, столько же и по свидетельству Маевского, с добавлением сведений от знакомых автору поляков и полек.

³ Аснык вскоре освобожден и бежал со страху за границу, откуда уже не возвращался.

который шел вообще недурно. Красная партия, вследствие таких заискиваний отсюда, откуда к ней не доносилось ничего, кроме явного пренебрежения и ругательства, почувствовала род какой-то силы и сейчас же сбилась с толку совершенно по-детски. Ответ ее белым был таков, что она «положит немедля предел манифестациям, если только Земледельческое общество решится на подачу всеподданнейшего адреса, не спрашивая наместника. В адресе этом высказать если не жалобы на бесхарактерное управление Польшей, то хоть заявление о необходимости в ту минуту самых существенных реформ, отвечающих духу времени и задуманным в империи чрезвычайным преобразованиям. Если же этого не последует, вожди не станут удерживать молодежь, и манифестации пойдут за манифестациями, вследствие чего все, может быть, станет вверх ногами; но кто будет в этом виноват, решить трудно. Вожди красных заранее умывают руки».

Часть белой партии покраснее, словом, такие же сбившиеся с толку ребята, забывшие, что их сила есть сила чисто отрицательная, заключающаяся в слабости правительства, что выйди правительство хоть чуть из роли, которую, к общему удивлению, играло, и эта сила сейчас бы обратилась в нуль, — часть такой белой партии готова была согласиться на требование красных: написать что-нибудь грозное в Петербург; попросить, например, введения *Органического статута*¹; но другая половина белых, посolidнее, пока еще не сбившаяся с толку, нашла необходимым отказать красным напрямик, и в случае, если б они выступили против братьев и их работ враждебно, выдать их правительству с головой.

Таково было решение белых в первую минуту; но, обсудив дело подробнее, всмотревшись как следует в то, что

¹ Так названа всемилостивейше дарованная 14 февраля 1832 года Царству Польскому грамота, но после заговора Заливского и прочих про-исков эмиграции оставленная без исполнения, как бы несуществовавшая. Первый, нашедший возможность приступить к решению некоторых вопросов на основании *Органического статута*, был в 1862 году маркиз Велепольский.

сидело тогда в Варшаве на месте правительства, — белый лагерь передал красным, что Земледельческое общество подвергнет предложенные ему вопросы обсуждению на общем съезде всех членов, на *вальном*, так сказать, *сейме*, в январе 1861 года.

Это значило, для красных, откладывать дело в долгий ящик, дело, не терпящее отлагательства ни минуты; а потому положено идти прежней дорогой, куда бы она ни привела: *не прекращать манифестаций*. Вследствие испытанного уже настроения публики к подобным зрелищам предвиделась возможность устроить манифестацию на широкую руку, в таких размерах, что полиция помешать ей будет не в состоянии, если б и захотела; но она, по всей вероятности, и не захочет. Столкновения же с войсками бояться нечего; оно, напротив, желательно: тогда Петербург догадается, без всяких адресов, что надо делать.

Необходимо заметить, что близ этого времени в партии Годлевского и Юргенса очутилось несколько человек, о которых весьма недавно нельзя было сказать, кто они такие, какой именно масти. Это была влиятельная часть бюргерии, люди живого темперамента, люди довольно красные, но по своему положению в обществе и частью по летам (многие из них были отцы семейств, с сильной проседью в волосах) не могли действовать как мальчики и долго осматривались, куда им двинуться, к кому пристать при этом всеобщем кипении, когда что-то такое творилось, к чему ни один поляк не имел права относиться безучастно. Белая партия их решительно не удовлетворяла. Они находили возможным только по-приятельски с ней ужинать и тогда говорили в ее тоне, хотя мысли их были где-то далеко. Партия противоположная казалась этим людям чем-то чересчур незрелым, заносчивым, делающим вовсе не то, что делают «солидные красные». Время между тем бежало, бежало быстро, как никогда, и бюргерия увидела себя вдруг лицом к лицу с явлениями, которые отзывались уже не шуткой. А белые были все те же белые, переступали шаг за шагом, также осторожно и лениво. Настала минута для выжидателей,

когда уже нельзя было выжидать, а надо было действовать *там* или *здесь*, и они, может статься, сильно скрепя сердце, очутились на стороне молодежи. Этим партия красная приобрела недостававший для нее солидный городской элемент, брала уже верх над своими соперниками; руки ее развизывались, горизонт делался шире.

Едва ли эти вновь приставшие желали продолжения манифестаций, но и возражали против этого также очень мало. Партия принялась самым серьезным образом обдумывать манифестацию весьма крупных размеров, которая была бы *нечто*, была бы словом, произнесенным поляками Варшавы вслух и необинуясь перед правительством, была бы вызовом правительству стать лицом к лицу с народом.

Предводители рассуждали так: «Юргенс с друзьями поставит на любую площадь две тысячи человек. Остальное влиятельное кружка выведет не менее того. Вот уже четыре тысячи. К этому прибавит что-нибудь город. Такой толпы легко не арестуешь. Это не Аснык с гимназистами у святого Креста»¹.

Когда все было обдумано как следует, старшие кружка, — может быть, главнейшим образом вновь приставшая к нему бюргерия, — немного трухнули. Ясно было, что готовится просто-напросто бой с войсками. Чтобы отклонить от себя, сколь возможно более, ответственность за последствия, эти старшие предложили еще раз попытать счастья в переговорах с белыми: не обойдется ли как-нибудь без всяких крайних мер, без жертв и пролития крови? Отправлена новая депутация к Земледельческому обществу с подробным изложением всего: что «манифестация-де готова, сидит на цепи как зверь, стоит только спустить; притом манифестация не детская. Ее не будет, если Общество отправит в Петербург известный адрес с просьбой о введении Органического статута. Сверх того должно еще просить радикальной перемены в системе воспитания и преобразования академии в университет».

¹ Авейде.

Земледельческое общество на этот раз отвечало, что все эти вопросы очень скоро будут предложены на обсуждение общего собрания членов и, если оно найдет малейшую возможность удовлетворить красных, они будут удовлетворены.

Получив такой ответ, красная партия решила подождать сказанного общего собрания.

Пришел январь (1861) и прошел. Помещики съезжались один по одному... Между тем земля колыхалась под ногами у всех. В воздухе носились какие-то особые, раздражающие миазмы; было что-то лишнее. Все ждали чего-то — не сегодня-завтра¹.

Козубский с лобузерией продолжал бить стекла. Накануне нового года разбиты стекла у предводителя дворянства, графа Урусского, за данный им бал. Потом разбиты стекла у госпожи Кучинской, вдовы прежнего предводителя дворянства, тоже по причине данного ею бала.

Как ни слабо наблюдало правительство за работами всех партий, однако ж не могло не видеть, что творится нечто недоброе и копаются подземные мины. Полиции приказано открыть, во что бы то ни стало, главных руководителей. Указаны были, на первых порах, Маевский и Денель. Маевского арестовали 8 февраля н. ст. Вскоре затем арестовали и Денеля. Это потрясло кружок в основаниях. Ядро манифестаторов, потеряв вождя, не хотело и слышать увещаний комитета. Господа Новаковские кричали, что «если б белая зараза не проникла в их партию, не пропало б столько времени в напрасных ожиданиях неизвестно чего. Манифестация, koncert nad koncertami, давно бы грянула;

¹ Маевский говорит, что в это время хаоса, не поддающегося описанию, возникал какой-то *триумвират*, «который не был официально признанным высшим учреждением организации, а только частным совокуплением лиц, состоявших во главе различных партий. Целью его было — доведение народа различными путями до оппозиции правительству, выражением коей должны быть явные манифестации, а последствием — составленный потом общий народный заговор».

Авейде отвергает существование *триумвирата*.

манифестация, какой еще и не видано. Правительство бы дало, что нужно, и Маевский был бы с ними!»

Юргенс с немногими ему верными увидели себя оставленными массой кружка. Манифестация стояла перед ними во весь рост, неотразимая и, без сомнения, такая, которая должна была вызвать столкновение народа с войсками.

Поняли это и белые, то есть Земледельческое общество, и, не дождавшись полного съезда членов, открыли обещанное *общее заседание* 9/21 февраля. Но ничего в пользу заявлений красной партии там не было сделано. Впрочем, удовлетворить в ту минуту большинство красных было крайне трудно. Юргенс, с оставленной партией, смотрел на все это, смотрел — и наконец пристал к манифестаторам. Таким образом, весь прежний красный кружок стал работать заодно.

Сначала придумали было отслужить панихиду на Гроховом поле, в день известной битвы, 13/25 февраля.

Начальник 3-го жандармского округа Елшин сообщил князю Горчакову, что «готовится что-то к 25 февраля». Тот призвал начальника тайной полиции, маркиза Паулуччи, и спросил: что это? Паулуччи объявил, что ничего нет и не будет. Горчаков рассердился на Елшина и наговорил ему неприятностей. Елшин чуть не подал в отставку.

Об этом стали говорить в городе недели за две. Уверяют, что Горчаков спросил Петербург: что делать? Отвечали будто: «Пусть молятся за своих, а мы помолимся за наших». Об этом толковали в юном Русском клубе. Как же это будет устроено? Эти два молебствия?.. За три дня пошел лед, этим воспользовались и разобрали мост. Тогда Юргенс перенес действие на *Старое Место*, это, так сказать, традиционное «сердце варшавян», по выражению Авейде.

Есть что-то почтенное в целом варшавского Старого Места, то есть «старого города». Здесь — *начало Варшавы, древняя Варшава*. Любитель старины проведет там, без сомнения, несколько приятных минут, и взоры его прикуются невольно к этим узким-преузким домам глубокой древности; к этим странным окнам, с украшениями бог весть каких

дней; к этим завитушкам на фронтонах и под крышами и к самим крышам необыкновенного фасона. Все это смотрело на всякие чудеса невозвратно минувших, славных лет Польши; а потому каждый поляк, белый он или не белый, иногда, по-видимому, совсем обрусевший, попав на Старое Место, невольно становится опять поляком, опять патриотом, видит бог знает какие сны — и слеза виснет на его реснице...

Русские могут припомнить на Старом Месте, пожалуй, то, что здесь раздалось знаменитое в нашей литературе слышу Тараса Бульбы...

Теперь Старое Место есть не что иное, как оживленный рынок, полный особыми, воздушными жидовскими лавочками, с разной пригородью, столами, скамейками и скамеечками, на которых раскладывается и развешивается всякий немудрый товар новейших мардохеев. Крики их и их грязных сожительниц заглушают там все. Там вечное движение. Жизнь кипит с утра до ночи. Посередине площади возвышается знаменательная статуя *Сирены с саблей*, герб Варшавы, украшающий все городские колодцы и фонтаны. Статуя Сирены на Старом Месте — тоже украшение фонтана.

Варшавяне очень любят свое Старое Место. Те, кто там живет, свыклись со своими квартирами и редко покидают их. У Святой, около святого Яна и около святого Михаила, совершается обыкновенно передвижение жителей с квартиры на квартиру, везде замечается передвижение, не трогается только одно Старое Место.

Понятно теперь, почему такой человек, как Юргенс, после встречи препятствия вести людей на Грохово поле, обратился сейчас к Старому Месту.

Необходимо заметить, что к числу руководителей манифестаций присоединился под конец и Маевский, выпущенный из цитадели 20 февраля н. ст. Это придало манифестационным работам более живой характер.

Вся Варшава узнала о готовящейся манифестации. О ней говорили, как о бале, который кто-либо дает в городе. Всюду ходило по рукам следующее печатное воззвание:

«Взываем к вам, братия, чтобы вы, как можно в большем числе, собрались, 25-го сего февраля, в понедельник, в половине шестого вечером, на рынке Старого Места для торжественного обхода¹ тридцатой годовщины победы поляков под Гроховом».

Этот плакат не только раздавали проходящим, но и наклеивали по стенам домов так усердно и неосторожно, что один наклеиватель, ученик художественной школы Бальцер, был пойман в минуту самого наклеивания и при нем найдены баночка с клейстером и кисть.

Казалось, правительству ничего не стоит предупредить манифестацию: все было известно — *где, как и что*. В руках полиции находилось не одно, а целые десятки, если не сотни воззваний. Но князь Горчаков, вследствие неизвестных покамest истории соображений, не приказал делать никаких розысков.

Полиция, видя такие непонятные послабления шалунам, и притом уже сильно развращенная, позволила посланным от Юргенса и Маевского людям за несколько часов до манифестации убрать с рынка всю жидовскую утварь: лавочки, столы и скамейки. К вечеру повалил туда со всех концов народ и когда наполнил собою всю площадь, *тогда только* явилась полиция и стала просить собравшихся разойтись. Но никто и не думал слушаться. Отрепанные лобузы вступали с полициантами в оригинальные диспуты. Когда спрашивали у иного: «Что ты тут стоишь?», он задавал точно такой же вопрос обратившемуся к нему полицианту: «А ты что тут стоишь?» — «Проходи, не велено!» — говорили ему. «Чего не велено? На улице стоять? — возражал лобуз. — Где это написано?»

Подобные сцены происходили во многих пунктах вдруг. Инде полицианты, входя в роль, какую приглашали их играть агитаторы, развязно и весело шутили с толпой,

¹ Торжество с участием процессии и вообще торжество. Мы оставляем это слово, как не имеющее соответственного выражения в русском языке.

будучи довольны тем, что устраивается что-то «na zlosc Moskali», как тогда вообще говорилось.

Впрочем, и то сказать, что при условиях, в каких находилась полиция к собравшемуся на рынке народу, она не могла бы восстановить порядка никоим образом, если б этого и захотела вполне искренно; на толпу в несколько тысяч человек едва ли было на площади около сотни полицейских¹. Они просто терялись в массе.

Тем временем шли в Замке совещания: «Что делать»?

Обер-полицеймейстер, полковник Трепов, полагал послать на рынок войска², занявшие Замковую площадь, от Свенто-Янской улицы до Съезда. Но князь Горчаков велел ему прежде побывать на рынке лично и осведомиться, «что такое именно там затевают, стоит ли это серьезных мер, нельзя ли обойтись без войск и без оружия».

Трепов поехал в коляске. С ним что-то случилось... По возвращении в Замок, он получил позволение наместника взять полуэскадрон жандармов и с ними разогнать толпу холодным оружием.

В это время главные распорядители манифестации: Годлевский, братья Франковские, Целецкий, Шаховский, Новаковский, Василевский, с добавлением огромной кучи ремесленников и всяких горожан красного закала, выйдя из Паулинского костела (что на углу улиц Фрета и Долгой) со знаменем, которое нес *сапожник* Парадовский, и с небольшими значками народных цветов, а иные и с факелами, явились на рынке среди волнующейся толпы. Пение нацио-

¹ В начале 1861 года полиция Варшавы получила такой состав:

Рядовых (стойковых).....	500
Унтер-офицеров.....	27
Фельдфебелей	6
Начальник команды шт.-офицер	1
Его помощник, об.-офицер	1
Ревировых	120
<u>Комиссаров.....</u>	<u>11</u>
Итого:	666

(Вчетверо менее того, что было в 1863 году).

² Батальон пехоты, сотню казаков и жандармский полуэскадрон.

нальных гимнов и невиданный до того на манифестациях Польский орел вызвали неистовые крики восторга. Все ринулось к знамени. Полицейские, тоже ставши поляками, бросили ссоры с лобузами и слились чувствами, а где и криками, с народом, который тихо двигался к Свенто-Янской улице и в самом ее начале, у Запецка¹, встречен был жандармами Трепова. Произошло кровавое столкновение. Отнятое у Парадовского знамя подхвачено студентом Пршесмыцким, потом снова отнято, и порядок восстановился.

На площади остались валяющиеся там и сям значки и факелы. У восьми арестованных (между которыми не было ни одного сколько-нибудь важного) найдены в карманах прокламации Мирославского и портрет Килинского с надписью:

«Ян Килинский, сапожник и полковник времен Костюшки».

«Братьям ремесленникам и братьям мужичкам (*braciom chlopkom*) на память торжественного обхода 30-й годовщины победы, одержанной их отцами над москалями под Гроховом».

Неудача предприятия ничуть не смутила манифестаторов. Они решили повторить спектакль через день, 15/27 февраля, с небольшими вариациями.

Меж тем везде кричали *о варварстве москалей, о нападении войск на безоружных*; взъерошили, в подражание венграм 1848 года, шляпы для обозначения траура. Чтобы повторение манифестации имело вернейший успех, учредители придумали сообщить ей характер религиозной процессии с обыкновенными хоругвями (так по крайней мере начать), а когда народу наберется много, повернуть дело, как будет лучше.

Старое Место, как пункт уже сильно наблюдаемый, было на этот раз оставлено. Решили двинуться с Лешна, из того отдаленного костела Кармелитов, где так удачно устроены две манифестации в ноябре 1860 года. Проклама-

¹ Небольшая улица вправо, если идти так, как шла толпа.

ций не печатать и никаких объявлений нигде не наклеивать, а просто известить, кого следует, под рукой.

Полиция, однако, узнала, что готовится что-то такое на Лешне, у Кармелитов. Поставлены наблюдатели, и как только народ начал стекаться, — обер-полицеймейстер, осведомясь об этом лично, поехал в Замок для получения инструкции — *как действовать?*

Ему приказано «взять взвод солдат с небольшим отрядом полициантов и поставить у костела Кармелитов, на Лешне. Если окажется, что служат обыкновенную панихиду, хотя бы с пением гимнов, то не мешать и никого не трогать. Если же двинется процессия, то следовать за ней и все-таки никого не трогать».

Тогда же пришла к наместнику просьба от комитета Земледельческого общества прислать солдат в наместниковский палац¹, где оно должно было заседать. (Кажется, это заседание было экстренное, вызванное обстоятельствами дня.)

Наместник приказал тому же Трепову удовлетворить просьбу Общества средствами, какие найдутся под рукой.

Трепов послал к наместниковскому палацу батальон солдат и несколько жандармов с двора ордонансгауза², а на Лешно отправил назначенную команду и поехал сам.

Он нашел костел Кармелитов уже наполненным народом: студентами академии, воспитанниками разных школ, ремесленниками и молодыми помещиками — в трауре. Они служили панихиду по убиенным братьям в кампанию 1830 — 1831 годов. Ничего особенно возмутительного не было. Только без ксендза начата суппликация³, и пропет какой-то новый гимн Матери Божьей, после чего несколько голосов воскликнуло: «Виват вам и спасибо, горожане и сельские обыватели!»⁴ Но кто-то сейчас сказал: «Шт! тут костел!»

¹ Бывший палац князя Радзивилла, на Краковском предместье. Называется наместниковским потому, что в нем жил первый наместник Зайончик. В Замке же тогда был сенат.

² Полтораста шагов от наместниковского палаца.

³ Святый Боже, святой крепкий:

⁴ «Vivat obywatele miejscy i wiejscy, dziękujemy wam».

Больше ничего не случилось. Народных гимнов вовсе не пели. По окончании же службы толпа вышла (близ одиннадцати часов) процессией, с церковными хоругвями, и направилась через Пршеязд по Долгой улице. Предводители (не самые главные) кричали проходившим: «На середину, господа, на середину!»¹. И все, кто это слышал, переходили с тротуаров на улицу. Ехавшим в экипажах тоже предлагали выходить и следовать за процессией, и многие это делали. Таким образом движущаяся толпа постоянно увеличивалась. На Лешне было народу, может быть, человек тысяча, а когда подошли к Долгой, стало около трех. Иные же говорят, что уже на Лешне было тысячи три, а на Долгой стало шесть.

Во все время движения процессии по сказанным улицам сзади следовал, согласно известному читателям распоряжению наместника, взвод солдат с полициантами.

Пройдя Долгую, процессия поворотила по Голембей и тут, на углу, у костела Паулинов, остановилась и запела: «Святый Боже, святой крепкий». Все сняли шапки. То же сделали и сопровождавшие процессию солдаты².

Потом все пошли к Старому Месту, где, поравнявшись с одним домом, приняли из окна большой образ Божией Матери, поданный какой-то женщиной.

При движении толпы далее по Свенто-Янской улице посыпались из окон мелкие крестики и образки в бумажках, что, вероятно, было сделано по предварительному условию коноводов манифестации с жителями домов: это задерживало толпу и увеличивало ее массу; кроме того, действовало на воображение простых людей, которых в процессии было довольно.

Поддаваемые образки и крестики студенты и прочая молодежь прицепляли к палкам и несли на плечах.

¹ Panowie, prosiemy na srodek!

² Показания адъюнкта 2-го цыркула Игнатия Богуцкого в деле «О проишествии, бывшем в г. Варшаве 15/27 февраля 1861 г.». Описание последующих событий взято нами по преимуществу из этого же дела, где находятся показания и рапорты разных лиц.

В Замке, разумеется, знали о приближающейся толпе манифестаторов, вследствие чего выстроены на Замковой площади войска в том же порядке, как за два дня (13/25 февраля): батальон пехоты — перед главными воротами и сотня кубанских казаков есаула Заварова — от вторых ворот к будке, что на съезде.

Едва только процессия показалась со Свенто-Янской улицы и повернула к колонне Зигмунда, как взвод казаков с есаулом получил приказание преградить дорогу толпе и просить ее разойтись. Если же не послушают, то принять в нагайки.

Заваров заскакал и вступил в переговоры с передними рядами, на польском языке, как умел. Его не хотели слушать и рвались вперед. Уже манифестация изменила характер: процессия исчезла; шли просто толпой в направлении к наместниковскому палацу, дабы спросить у заседавшего там Земледельческого общества, точно ли оно потребовало солдат у москалей, якобы испугавшись нападения своих братьев.

Тогда Заваров, видя, что увещания не помогают, командовал казакам: «Ударить в нагайки!» Но толпа была так велика и густа, что казацкие атаки не сделали ничего ровно. Народ отступил лишь немного назад и стоял без движения. Впереди, шагов на десять, рисовались какие-то трое с образами, из которых один был поданный из окошка на Старом Месте. Заваров приказал казакам отнять эти образа. Казаки бросились. При свалке, которая произошла, один образ упал на мостовую и разбился в куски, а два другие скрылись в толпе; и снова она стояла без движения, а казаки, отъехав на несколько шагов, стали напротив и так стояли и смотрели на толпу, а толпа на них в совершенной тишине.

Каких-нибудь через четверть часа отделилась с той стороны небольшая кучка молодых людей, по-видимому, помещиков, подошли к Заварову и стали его просить пропустить их на Краковское предместье для заседания в Земледельческом обществе, которого они будто бы были членами. Заваров пропустил. Тогда же проскочило еще несколько,

без всякого позволения; потом проскочили еще в разных пунктах, и все это соединилось с массами, скопившимися у Бернардинского костела и запело «*Boże coś Polskę*».

Чтобы прекратить этот беспорядок, Заваров послал (по предварительном объяснении с полковником Треповым) к Бернардинам первый взвод своей сотни под начальством урядника Черноброва. Этих казаков тамошняя толпа встретила камнями и комками грязи, при криках «ура!»

Надо знать, что в это время строили *Городской клуб* (*Ratura Obywatelska*), что сейчас за бывшей гауптвахтой¹, где четыре каштана, и тут лежал в кучах камень и кирпич: им-то и воспользовалась толпа для своей защиты от казацких атак. Кидали даже женщины. По словам Черноброва, кто-то пустил бутылкой, поданной из костела.

Произведя в этом пункте до семи атак, казаки увидели, что силы их недостаточны для успешного действия против таких масс, какие скопились у костела и все прибывали частью с Сенаторской, через проходной дом Резлера, частью по тротуару, мимо Зигмунта, где не существовало никакой преграды. Да и сквозь цепь Заварова проскакивание до того усилилось, что трудно было совладать с ним небольшой оставшейся там кучке казаков.

Тогда Чернобров отправил к Заварову казака просить подкрепления, которое и было тотчас послано: новый взвод, с урядником Реутовым.

На ту пору случились в Бернардинском костеле похороны чиновника Лемпицкого. Перед главным входом, на улице, стояли, как водится, дроги в ожидании гроба. Когда его вынесли и поставили на дроги, а неизбежные при этом дзяд и ксендз с большими деревянными распятиями поместились впереди, чтобы открыть шествие так называемого каравана, коноводы беспорядка присоединились тут же в виде небольшой процессии и запели какой-то гимн.

Казаки Черноброва и Реутова, которым внушалось прежде всего, чтобы *отнюдь не пропускать процессий*,

¹ Упразднена в начале 1867 года.

заскакали вперед каравана и преградили ему дорогу. При этом несколько досталось ксендзу и дзяду, несшим кресты. «Артисты» манифестации сейчас же воспользовались этим обстоятельством и начали кричать: «Кресты у нас ломают! Ругаются над святыней!» Эти слова мгновенно облетели всю улицу. Потом пошли дальше, а «сломанный крест» явился на медалях, брошюрах, гимнах и плакатах¹!

Наместнику было донесено о положении войск у Бернардинского костела. Он послал туда еще один казачий взвод, под начальством штабс-капитана Долгиева; а потом, когда донесли, что все три взвода ничего не могут сделать, велел командиру Муромского полка, полковнику Гартонгу, пройти с батальоном по всей улице и очистить ее от народа.

Это могло быть часу во втором дня.

Гартонг, взяв из Замка 11-ю и 12-ю роты упомянутого полка, повел их, одну за другой, по Краковскому предместью, таким образом, что одна держалась преимущественно правого тротуара, а другая — левого.

¹ Собственно, никаких крестов в этот день не было сломано. В устранение всякого сомнения приводим из следственного дела об этом предмете подлинные слова несших кресты. Дзяд, которым был семидесятилетний старик, отставной солдат польских войск 1830 года, Франциск Росинский, выражается так: «Skropil mnie (то есть казак) pare razy przez plecy nachajka, w krzyz atoli wcale nie uderzyl i zadnego w nim uszczorbku nie zrzedzil». («Покропил меня раза два через плечи нагайкой, но по кресту вовсе не бил и никакого в нем повреждения не сделал».)

Капудин, братишек Рогерий Завитковский, несший другой крест, говорит так: «Na krzyzu tem, ktory ja nioslem, jak sie prznij przekonalem, byly odbite dwa kolce, do korony cierniowij pana Jezusa nalezace, tudziez palec wielki u reki prawij tego pana Jezusa odbity, czyli w czesci ulamany, czego wprztd przed biciem mnie przez kozaktw nigdy nie widzialem i nie dostrzegalem; na dowtd ze sie stalo jak mowie, okazuje tu komisyyi zledczej tez wypadki krzyz o jakim jest mowa». («На кресте, который я нес, были отбиты, как я впоследствии заметил, две иглы у тернового венца Господа Иисуса, также большой палец на правой его руке отбит или раздроблен, чего прежде, перед битьем меня нагайками, от казаков я никогда не видел и не замечал. В доказательство сказанного мною представляю при сем следственной комиссии крест, о коем идет речь».) Оба эти лица проводили дроги на Повонзки, имея в руках те самые кресты, с которыми вышли из костела.

Едва роты поравнялись с Бернардинским костелом, как в них полетели камни — сперва из-за железной решетки, что между колокольной и храмом, а потом из толпы, собравшейся гуще всего около гауптвахты. Более досталось 11-й роте, шедшей левой стороной улицы. Но все-таки солдаты Гартонга, несмотря ни на что, очистили улицу вплоть до узкого Краковского предместья (которое начиналось там, где теперь начинается сквер), так что дроги с гробом могли тронуться в путь, и (вслед за ротами Гартонга, к которым вскоре присоединилась рота полковника Феньшау, также посланная из Замка) добрались до статуи Богородицы, стоявшей в то время несколько правее, если идти от колонны Зигмунта к скверу¹. Двадцать шагов дальше стоял тогда большой трехэтажный дом Оргельбрандта, бывший Мальча, больше известный под этим именем², а за ним целый ряд домов, до самого костела Кармелитов, где кончается сквер; и они-то с противоположной частью улицы (где аптека Гакебейля, Саксонская гостиница и кондитерская Клотена) образовывали то знаменитое узкое Краковское предместье, которое было свидетелем падения еще более знаменитых *пяти жертв* — эпизод, к которому мы приближаемся.

Здесь нам должно остановиться и рассказать, что случилось в те самые минуты в Земледельческом обществе, которое, как уже известно читателям, открыло свое заседание почти одновременно с началом манифестации.

Первым предметом рассуждений было, естественно, критическое положение города вследствие неожиданных и непонятных послаблений правительства шалунам, иначе сказать красной партии. Предвиделась катастрофа, может быть, торжество ребят... Власть и значение белых в крае колебались. Что было делать?

Более живая половина объявила, что если они и теперь примутся, по обычаю, рассуждать без конца, а не при-

¹ Постановлена, судя по надписям, в память победы Собесского над турками.

² Изображение этого дома можно видеть в календаре Яворского (Kalendarz Polski Illustrowany) за 1867 год на стр. 72.

ступят к каким-либо энергичным действиям сейчас же, не выходя из этой комнаты, то будет плохо: разогнанный казаками сегодня народ соберется по призыву манифестаторов завтра; манифестации пойдут за манифестациями до тех пор, пока весь город, а потом и весь край не станет в серьезно-враждебные отношения к правительству, падут многие бессмысленные жертвы, и дело, веденное довольно успешно, отодвинется назад; нужно будет начинать работу сызнова, или — пристать к красным. Все это необходимо, во что бы то ни стало, предупредить, например, хоть депутацией в Замок с изложением того, о чем просили красные¹.

Председатель, граф Андрей Замойский, стал возражать...

Вдруг открылись двери, и среди залы явился помещик Наржимский², известный всей Варшаве кутила самых красных свойств, но человек не без дарований и не без влияния в городе. Он присутствовал на всех манифестациях, явился и на последней и был помят немного казаками у колонны Зигмунта. Приятели-«артисты» уложили его, охающего и стонущего, в дружку и привезли в Земледельческое общество.

Здесь он был усажен в кресла, весь перепачканный кровью, и начались новые стоны попеременно с объяснением дела теми, кто привез Наржимского.

Недолго надо было глядеть на всю эту сцену, чтобы увидеть, *что это такое*, какую носит подкладку. Покосился на актеров изящный и благовоспитанный граф Замойский и грустно спросил (когда история окровавленного героя была изложена с достаточными подробностями): «Чего же вы хотите, господа?»

«Мы хотим, — отвечали окружающие жертву, — чтобы в Замок была отправлена депутация, которая бы представила наместнику в надлежащем свете положение наших дел: нападение войск на безоружных, поругание святыни,

¹ Набросано по неясным рассказам одного поляка.

² Жил после за границей преимущественно в Галиции, где и умер в июле 1872 года. Портрет его и краткая биография в *Tygodnik Ilustr.* 1872, № 239.

изувечение многих ни в чем не повинных прохожих — и требовала бы защиты от такой напасти».

Граф отвечал тем же грустно-мрачным тоном, что Земледельческое общество не имеет права мешаться в управление городом, что для разбора подобного рода происшествий существуют особые учреждения, например Ратуша¹, куда бы и следовало отвезти раненого, а никак не в Земледельческое общество.

«Да ведь он помещик, закричало несколько голосов: наш брат, даже член нашего общества. Как же нам за него не вступить?»

«Если он помещик и наш член, — возразил граф, — то ему следовало бы заседать с нами, а не лезть, зауряд с мальчишками, в свалку против войск. Был бы здесь, остался бы цел».

Такие официальные, холодные возражения отдались в сердцах большинства членов неприятно. Поднялся шум. До графа донеслись очень ясные намеки на то, что дружба и связи с московским правительством должны иметь для каждого порядочного поляка свой предел и что есть для польских патриотов обязанности, которые выше боязни быть скомпрометированным перед кем бы то ни было; что бывает время, когда требуются жертвы ото всех, кто бы к какому лагерю ни принадлежал...

Граф, давши умолкнуть этому «патриотическому» ропоту, объявил решительно, что ничуть не опасение себя скомпрометировать перед русскими властями, а простое приличие заставляет его отказать этим господам; что он готов ехать в Замок один, если б этого потребовали обстоятельства, но депутации не отправит; а что до его патриотизма — в нем ничуть не сомневаются те, кто его действительно знает. Говорят, у него вырвалось будто бы выражение при этом: «Chcecie, zebym ja przewodził burdziej² — никогда!»

¹ Так запросто зовут в Варшаве управление обер-полицеймейстера, вследствие того что оно помещается в здании Ратуши. «Отвести в Ратушу, взяли в Ратушу» (odstawił do Ratusza, wzięli do Ratusza) — значит в Варшаве то же, что у нас «отправить в часть, посадить в часть».

² Хотите, чтобы я стал во главе беспорядка.

Поднялся шум пуще прежнего. Кто стоял за графа, кто был против, находя, что нужно непременно послать в Замок депутацию, что без этого дело кончится какой-нибудь катастрофой, после которой всякие депутации будут уже некстати и странны.

Граф хотел что-то сказать и приглашал к порядку звонком, но не мог унять крикунов и, объявив заседание закрытым, вышел с частью народа налево из ворот, к своему дому, а другая часть пошла направо, посмотреть, что такое в самом деле творится у Бернардинов.

В этой части главным лицом, около которого сгруппировались помещики красноватого оттенка, был Маркел Карчевский, человек довольно пожилой, но в нем бурлили самые неугомонные страсти.

Кучка пошла, может быть, без всякого намерения принять участие в беспорядках; но, увидев на улице необычайное движение, казаков и солдат, перемешанных с толпой, услышав крики о поругании святыни, многие помещики, в том числе и Карчевский, увлеклись и стали помогать манифестаторам кто во что горазд. О Карчевском говорили после, что он устроил против почты род баррикады из дружек.

* * *

Когда все это происходило, из Замка вышло историческое лицо того дня: дежурный генерал главного штаба Заболоцкий.

Он направился к Примасовскому палацу (на Сенаторской улице), где стояла у него, на случай надобности, рота солдат, именно 7-я, Низовского пехотного полка.

Описанные нами беспорядки перед Замком и у Бернардинов, Краковское предместье, наполненное волнуемым народом, тревожные лица встречаемых по дороге офицеров, носящиеся там и сям казаки, вообще какая-то небывалая сумятица и неестественное движение в улицах настроили генерала таким образом, что он после некоторых соображений счел нужным принять личное участие в вос-

становлении спокойствия теми средствами, какие у него были под руками: именно, вверенной ему ротой Низовского полка, которую, недолго думая, он взял из манежа палаца (где она обыкновенно стояла) и вывел задними воротами на Козью улицу, а потом на Краковское предместье.

Это было сделано быстро под тем роковым течением мыслей, в каком бывает иногда всякий взволнованный человек.

Выведя роту к почте, генерал тут же заметил, что делать ему в этом пункте без особенных инструкций нечего: стояли кучи народа, разъезжали казаки; в опасности никто не находился.

Но так как рота была уже выведена, то нужно же было придумать ей какое-нибудь занятие. Когда генерал был в Замке, говорили, что манифестаторы добираются до Земледельческого общества вследствие того, что оно потребовало у правительства войск в защиту от этого народа. Вспомнив об этом и заметив в стороне наместниковского палаца¹ как бы усиленное движение (что могло просто-напросто показаться), генерал направился с ротой туда, но увидел, что и там он вовсе не нужен: за решеткой стоял целый батальон, и нападать на этот пункт никто и не думал.

Заболоцкий пошел назад и, чтобы собраться с мыслями, остановил роту против Чистой улицы, где простоял около получаса.

Все это показывает ясно, что генерал не имел перед собой никакой определенной цели, что он действовал как человек, несколько потерявшийся, не в нормальном состоянии духа.

Тут подошли какие-то офицеры и рассказали о свалке народа с казаками у гауптвахты.

Генерал мог задать себе вопрос, не нужен ли он там, и машинально двинулся с солдатами налево, может быть, даже в намерении увести их опять домой, в Примасовский

¹ Находится от почты, где стоял Заболоцкий, в полутора шагах и хорошо оттуда виден.

палац. Но страшный шум на улице продолжался и остановил внимание генерала. До солдат долетали ругательства. Какой-то казак подъехал и сказал генералу, что «поляки разбивают гауптвахту». То же самое подтвердил еще один денщик в форменной одежде. Это заставило генерала двинуть роту к гауптвахте по узкому Краковскому предместью. Но тут столпилось столько народу, что идти обыкновенным строем было нельзя. К тому же, немного погодя выехал из Беднарской улицы¹ воз кирпичу и брошен. За возом сплелись, по-видимому умышленно, несколько дружек, что составило род баррикады. (Про эту-то баррикаду и говорили, будто ее устроил Карчевский, именно в то время явившийся тут с кучкой помещиков, которые пошли направо из наместниковского дворца.)

Генерал приказал солдатам пробираться в одну линию по левому тротуару. Но едва они тронулись, как в них со всех сторон полетели камни. А народ кричал, обращаясь к генералу: «Кресты у нас рубят! Веру поносят!»²

Выйдя на широкое Краковское предместье, Заболоцкий увидел впереди себя, довольно в близком расстоянии, колонну солдат и тихо двигавшийся за ними гроб³. Идти было некуда; поэтому генерал выстроил роту вдоль того же левого тротуара, по которому шел, от аптеки Гакебейля до пункта, где был когда-то проход на Козью улицу. Камни продолжали сыпаться, преимущественно из второго (нашего третьего) этажа дома Мальча, где в одном окне сидели две дамы, а за ними стояли мужчины, и они-то пускали камни⁴. Также летели камни и из толпы, образовавшей подле дома Мальча сплошную стену. Несколько солдат было ранено. Сам Заболоцкий получил сильный удар большим камнем в спину.

¹ Продолжение ее можно видеть до сих пор против одной из дорожек сквера. На этой улице в старые времена жили бондари, от которых она и получила свое название. Бондарь по-польски *Bednarz*, бондарский — *Bednarski*.

² *Krzyże nam rabia, wiara hańba.*

³ Навстречу Низовской роте.

⁴ Показания офицеров 7-й роты Низовского пехотного полка.

Это была минута, когда роты Гартонга и Феньшау, а за ними и дроги с гробом, явились у самого узкого Краковского предместья. Улица требовала очищения. Заболоцкий приказал бывшим при нем двум казакам разогнать дружки, но казаки не могли ничего сделать, будучи оттесняемы толпой и осыпаемы камнями, причем один был значительно ранен. Тогда генерал крикнул на солдат, чтобы они очистили улицу штыками, но и это не удалось. Толпа делалась все смелее и смелее, кричала бог знает что... Генерал объявил, что *будет стрелять*. «Не смеешь! — возразили ему из толпы. — Наполеон запретил!»

После этого Заболоцкий велел зарядить ружья, но не надевать капсулей, и снова повторил угрозу, что *будет стрелять*, если не очистят улицы. Послышались те же ответы, и полетели новые залпы камней. Кто-то из солдат вдруг крикнул: «Стреляют! стреляют!»

Этого выстрела никто определенным образом не видал, и кажется, его не было; тем не менее крики «стреляют! стреляют!» (действительно раздавшиеся в роте) решили дело. Генерал скомандовал: «Пли!». Капсули наложились сами собой, и выстрелы загрелись, частью в дом Мальча, частью вдоль улицы¹.

Стрелял один взвод, заведенный левым плечом против угла дома Мальча. Выстрелы в дом были следствием простой мести за кидание камней, но убитых при этом не случилось. Даже очень немногие пули попали в окошки: из 23 выстрелов, направленных в дом, только пять разбили стекла. Это показывает, до какой степени стрельба была рассеянна и беспорядочна. Солдаты тоже были взволнованы... Но на улице, против почты и немного далее, пало пять человек и около того было ранено.

Улица вмиг очистилась от народа. Это был, по словам очевидцев, истинный Фокус Пинетти. Кто бросился во двор, кто в магазин, а иные пустились бежать по боковым улицам,

¹ Настроение войск, находившихся в том пункте, было таково, что, по словам полковника Феньшау, его рота, заметив, что низовцы стреляют, принялась без всякой команды заряжать ружья.

Козьей и Трембацкой. Дружки тоже ударили по лошадям, и баррикада исчезла.

Тогда батальон Гартонга и рота Феньшау прошли вперед свободно и, дойдя до Чистой, воротились в Замок. Дроги с покойником также успели проскользнуть и направились по Трембацкой, как выражался один из несших кресты: *nadzwyscajnym pedem*. На Белянской соединились с ними забежавшие вперед ксендзы¹.

В Замке слышали раздавшиеся у дома Мальча выстрелы. «Кто это стреляет и где?» — спросил наместник, выйдя в приемную, где с раннего утра до поздней ночи толпилось в эти дни множество высших военных чинов на случай каких-либо приказаний от князя. Кто-то отвечал, по сведениям, полученным неизвестно как и откуда, что это «повстанцы стреляют из дома Мальча по войскам». Тогда наместник, подождав генерал-квартирмейстера Семеку, велел ему взять роту и арестовать всех в доме Мальча, если слухи о выстрелах отсюда справедливы. Семека, взяв роту со двора Замка, отправился, но, не доходя костела Бернардинов, встретил Заболоцкого впереди роты, с обнаженной, опущенной вниз саблей, который, узнав, зачем послан Семека, сказал: «Успокойтесь, это не из дома Мальча, это я стрелял». После чего они оба вернулись в Замок; рота же Заболоцкого пошла к колонне Зигмунта и потом, по Сенаторской, в Примасовский палац, где тотчас сосчитали выпущенные патроны: их оказалось 55².

¹ Суматоха была так велика, что никто не заметил, куда вдруг скрылись дроги. Это подало впоследствии повод к рассказам, будто бы «дрог и гроб были фальшивые», и что манифестаторы хоронили русское правительство. Один легковверный даже напечатал об этом. Но мы еще раз заверяем читателей, что это были похороны, как похороны, чиновника Лемпицкого, о которых душеприказчики покойного заранее возвестили в газетах, именно в № 54 «*Kurjera Warszawskiego*», 1861. «*Jyzef Lempicki, assessor kollegialny*», и так далее, скончался сего 24 февраля, на 59-м году от рождения... А в № 62 той же газеты есть приглашение на октаву по нем, то есть на панихиду в восьмой день по смерти.

² По другим сведениям, кроме Семеки послан был к Заболоцкому генерал Веселитский верхом, который застал стрельбу в разгаре и стал упрекать Заболоцкого, зачем он это делает, не имея никакого приказания. Заболоцкий будто быстро отрезал: «Не вам отдам в этом ответ».

Толпа военных в приемной князя, когда пришли туда Семека с Заболоцким, выражала довольно громко негодование на бездействие власти, на отсутствие всяких распоряжений. Директор, действительный статский советник Казачковский, находившийся там же, говорил, что «следовало бы давно занять все главные пункты войсками и объявить военное положение; что это, несомненно, прекратило бы все беспорядки».

Оба генерала прошли во вторую приемную и там столкнулись с наместником. Семека дал говорить Заболоцкому, который изложил перед князем все, как было, и заключил словами, что *он стрелял*. «Parfaitement fait!»¹ — пробормотал Горчаков и ушел в кабинет. А Заболоцкий воротился в первую приемную, где снова рассказал всю историю выстрелов, жалуясь на боль в спине. Ему советовали отправиться домой и принять медицинские средства. Он отправился, беспечный и спокойный, ничуть не думая о том, что значит иногда у князя Горчакова *parfaitement fait*...

Меж тем кучи народа стали снова скопляться около почты. Иные бросились подбирать убитых и раненых. Первым подняли Карчевского, на углу Беднардской улицы, еще живого, положили на дружку и повезли в Смоленскую гостиницу², где он жил, но там его не приняли. Кому-то пришлось в голову отвезти его в дом Мальча, в квартиру сестер Кунке, державших модный магазин и притом известных патриотов. Тут Карчевский и умер, несмотря на быстро поданную помощь из аптеки Гакебейля.

Туда же отвезли еще два трупа: помещика Рутковского и работника с какой-то железной фабрики, Бренделя. Четвертый, ученик реальной гимназии, Арцыхевич, отвезен в квартиру родителей, живших в доме графа Андрея Замойского. Пятый труп не был никем узнан в течение всего того дня. После оказалось, что это рабочий с нового моста, строившегося на Висле, Адамкевич. Его повезли было в Замок

¹ То есть превосходно сделано.

² Находится в той части Беднарской улицы, которая сохранилась до сих пор.

показать наместнику и пожаловаться на возмутительное поведение солдат; но казаки, находившиеся на Краковском предместье еще в значительном числе, заворотили дружку с трупом назад (близ колонны Зигмунта), и она направилась к тем же патриоткам Кунке, которые, однако ж, увидя четвертый труп, сказали: «Нет, уж с нас и тех трех довольно!» И отказались принять. Тогда возившие труп после небольших совещаний отправились в Европейскую гостиницу¹, сопровождаемые уже изрядной толпой народа. В улицах подымался крик о жертвах. Имя Заболоцкого предавалось проклятиям².

В Европейской гостинице (которая становилась с каждым часом более и более любимым, модным пунктом помещичьих сборищ) был тогда управляющим немец Кноль. Он хотел было воспрепятствовать принятию трупа: куда! Его никто и не слушал. Мертвеца тащили по коридорам, требуя ему удобного помещения. Один из владельцев гостиницы, Вамбах, случившийся на ту пору дома, приказал отвести во втором этаже 64-й номер³, который назначался для концертов и потому большей частью был пуст. Здесь положен Адамкевич (по другим Брендель) на матрасе и чистой простыне, часу в четвертом дня. Потом, в разные часы, подвезли туда же и других, исключая Арцыхевича, который оставался до конца у родителей, в доме Замойского. Европейская гостиница поступала в число исторических домов Варшавы.

С этой минуты начало твориться в городе нечто совершенно необычайное.

¹ Построена компанией на акциях в 1857 году; но дело начато еще при Паскевиче, в 1854-м.

² Толпа, хлопотавшая около первого трупа, который сначала несли, была очень велика, более тысячи человек. Неся, кричали: «Шапки долой! Честь жертве!» Сами были без шапок. Труп пронесли в Европейскую гостиницу мимо батальона, который стоял на площади между гостиницей и ордонансгаузом.

³ В нашем третьем. Приходится как раз над кондитерской Люрса (тогда Конти) через этаж.

Прежде всего номер, где были сложены тела, обили, по распоряжению каких-то таинственных властей, черным сукном; а в доме Замойского, по уверению некоторых, обили черным сукном даже ворота изнутри двора¹, и хозяин должен был это позволить.

Вход в номер, где лежали трупы, охранялся поочередно воспитанниками медико-хирургической академии, которые пропускали военных не иначе как после довольно долгих переговоров².

Куда делось русское правительство, полиция? Как случилось, что тела убитых в свалке народа с войсками оставлены в распоряжении толпы? Чего мы испугались? Все это опять вопросы, на которые пусть уж отвечает будущее...

Но как бы то ни было, странный испуг властей был сейчас же замечен всеми в городе, почувствован каждым поляком и каждой полькой. Все поняли, что это такие мгновения, которыми надо пользоваться, ковать железо, пока горячо, высказать требование смело и громко. В этих чувствах, в этих бурных порывах заявить правительству о своих нуждах и обидах, наговорить ему побольше всякой всячины, за прошлое и за будущее, — слились теперь все жители Варшавы. А недавние *безумцы и молокососы* (*warjaty i smarkate*), против которых старшие за несколько часов перед тем просили у наместника войск, кого в крайнем случае вся благоразумная часть населения была не прочь выдать правительству с головой, эти безумцы попали вдруг в герои, мало этого — в вожди и начальники всего города. Невероятный факт успеха их манифестации, непостижимый триумф над властью как бы заверяли, что они знают, что делают, что их надо слушать и никого более. «Как гусей, спасших Рим (замечает Авейде), их носили торжественно на руках по всему городу и трубили в трубы».

Разумеется, такой финал последовал единственно потому, что почва, на которой все это творилось, была несе-

¹ Записка полковника Добродеева.

² Та же записка.

рьезна; потому что подкладкой всякого поляка, как бы он по-видимому благовоспитан и умерен ни был, есть все-таки безумие и фантазия, не знающая границ. Опять забыли, что правительству стоит только дунуть на призрак, и его не станет; что из римских гусей завтра же может быть приготовлено самое обыкновенное русское жаркое. Все покраснели, все сбились, от мала до велика, весь город. Утром того дня в нем еще были головы, рассуждавшие, как надо; к вечеру не стало ни одной: все свихнулось.

Есть в Варшаве, вблизи Римарской площади, неказистый серый домик в два этажа, стоящий в глубине двора и почти невидимый за другими строениями. Домик тихий и уединенный. Житейские волны катятся от него далеко, на расстоянии длинного двора. Направо и налево, точно крылья, так называемые *оффицины*; в середине, в углублении, *корпус*. Так строились все прежние польские «палацы»¹.

Описываемый нами палац, или дом, есть скромная купеческая ресурса Варшавы, иначе клуб, куда сходились по вечерам провести время «по-клубному» горожане средней руки, все живое, рассуждающее, деятельное из городского населения. Никакого другого польского клуба в Варшаве тогда еще не было; «обывательский» только строили.

А еще прежде, до революции 1830 года, сюда хаживали и военные. Серый домик, тихий только снаружи, издали, был внутри вовсе не тих и видал и слышал больше, чем иной яркий палац, выставленный на вид, во всей красе и громко о себе кричащий.

Здесь, между прочим, полковник Кицкий был озадачен неестественным выражением в лицах подхорунжих, явившихся на бал, за два дня перед страшной ночью 29 ноября 1830 года².

Что подумал бы полковник Кицкий, если б он, точно так же как тогда, сидел в знакомой ему ресурсе вечером 27 фев-

¹ Изображение можно видеть в № 151 Tygodnika Illustr. за 1870, с. 245.

² Mochnacki: Powstanie Narodu Polskiego 1830—31. Poznań. 1865. II, 316.

раля 1861 года? Сколько бы неестественного, странного и неразгаданного заметил он в физиономиях лиц, мелькавших там уже не кучками, какая вошла 27 ноября 1830 года с Набедяком, а целыми массами, словно ресурса давала вечер всей Варшаве.

Двери настежь. Народ входил и выходил. Лица сияли. Шум и говор невероятный. Откупщик вина и табаку, банкир Кронеберг, велел принести всевозможных напитков и сигар для угощения публики даром.

В одном углу старой, закопченной, сумрачной залы, довольно давно не знавшей никаких реставраций, собралось обсудить вопросы, не терпевшие отлагательства, все, что в красной партии считало себя более влиятельным и старшим. Здесь была и вся бюргерия, приставшая к Юргенсу и Денелю в самое последнее время; присоединились кое-какие и лишние, не принадлежащие никуда. Всем хотелось разыгрывать историческую роль, явиться на публичной арене в минуту... великую. Всем казалось, что пришла такая минута.

После неизбежного при подобных сходбищах, неопределенного, хаотического крика было решено послать в Замок депутатов, которые бы изложили перед наместником в надлежащем виде грустный факт нападения войск на безоружных и просили нарядить следствие для рассмотрения поступка генерала Заболоцкого, после чего была составлена депутация, или (как обыкновенно говорят по-польски) *делегация* из следующих лиц: от духовного сословия — ксендзы-каноники Иосиф Вышинский и Иосиф Стецкий; от помещиков — Яков Петровский и Теофил Петровский; от кружка литераторов — Иосиф Крашевский и Иосиф Кениг; от военного сословия — бывший полковник польских войск (произведенный революцией 1830 года в генералы) Иосиф Левинский; банкиры — Леопольд Кронеберг и Матвей Розен; доктор Тит Халубинский; купеческий голова Ксаверий Шленкер; фотограф Карл Байер; адвокат Август Тршетршевинский; старшина сапожничьего цеха

Станислав Гишпанский и главный еврейский раввин Майзельс¹.

Но прежде чем эта делегация была составлена, в Замке успело перебывать несколько самых почетных лиц города, между прочим: архиепископ Фиалковский², граф Андрей Замойский и Фома Потоцкий.

Все они наговорили наместнику таких вещей, каких Замок еще не слыхивал. В особенности странно вел себя Потоцкий. Мы уже сказали, что в эту пору, с вечера 27 февраля, не осталось в городе ни одного истинно благоразумного и благовоспитанного поляка. Все забылись перед властью и стали с ней неприлично и неосторожно шутить.

Если б *одно такое слово*, каких десятки наговорил тогда Горчакову Потоцкий, раздалось в Замке в присутствии покойного фельдмаршала; если б одно только такое слово... Но боже мой! При покойном фельдмаршале ничего бы этого не было, никакой манифестации; стрелять было бы не по ком, и делегации бы не сочинилось.

Надо знать, что в Замке, после того как мы его оставили, много воды утекло и многое переменялось. Сверх напавшего на всех непостижимого страха и смущения самые понятия о вещах были совсем не те, что утром.

И здесь все сбилось с толку, со своего надлежащего, русского, правительственного толку. Все стало до невероятности легковым. Всякий вздор, приносившийся с улицы, например о каком-то поголовном восстании, готовом ежеминутно вспыхнуть, принимали как нечто серьезное. Заболоцкий являлся в глазах лиц, окружавших наместника, преступником, достойным страшной кары, нарушителем общественного

¹ Байер и Майзельс по варшавскому произношению, собственно: Beier, Meisels. Шленкер сидел два месяца в цитадели во время военного положения. Сына его Иосифа сослали в Сибирь за участие в действиях против русских войск, а он сам бежал за границу в сентябре 1863 года. Умер 15 марта н. ст. 1871 года. (Dzien. Poznansk. 1871. s. 94).

² О Фиалковском говорили, что будто бы на замечание князя Горчакова, что он велит открыть огонь из всех орудий цитадели, он сказал: «А я велю ударить во все колокола».

спокойствия, человеком, безобразно превысившим свою власть. Словом, что говорилось о нем в бурной купеческой ресурсе угорелыми поляками, хватившими дарового венгерского, — то же самое повторялось и в Замке ничуть не угорелыми русскими, не пившими в этот день ни капли. И все это главнейшим образом оттого, что в голове наместника произошел переворот мыслей совсем в другую сторону. Так мало у каждого из нас своего собственного, так мало гражданского чувства — выступить вперед и оппонировать. Тут-то все такие лица, кто действительно понимает вещи, как они есть, сейчас куда-то спрячутся. Спрятались они и в Замке, а князь Горчаков бегал, сконфуженный и потерявшийся, как никогда, и, казалось, искал человека, или хоть взора, на котором мог опереться или прочесть в нем что-либо спасительное. Но таких взоров не было... О! это были самые тяжкие минуты в жизни князя Горчакова! Он страдал, жестоко страдал, потеряв на Черной речке девять тысяч удивительных храбрецов, жаждавших боя как праздника; он сам рвался вперед, может быть, затем, чтоб быть убитым... он страдал еще больше, сдав неприятелю Севастополь; слезы не раз показывались на его старых ресницах... Но там он имел хоть то извинительное утешение, что он уступил превосходящей силе четырех держав. Что ж теперь? Кому сделана уступка? Кому сдан неосажденный Севастополь? Какие бы горькие слезы потекли у него из глаз, когда бы он сообразил, как глубоко пала русская власть в Замке и Варшаве в ту минуту! Но он ничего тогда не соображал; его только носило по комнатам, и он говорил поминутно: «*Donnez moi réfléchir!*»¹ — и не мог ничего с собой сделать. Утреннее *parfaitement fait* было совсем истреблено из памяти, как будто и не существовало. Напротив, слышали, как у князя вырвались слова о Заболоцком и Трепове: «*Il faut les sacrifier?*» — Кому же sacrifier?...

После депутации первых почетных лиц (принятых в большой зале, направо, как поднимешься на лестницу, где

¹ То есть дайте мне подумать.

² То есть надо ими пожертвовать.

стоят часовые) стали прибывать, одна за другой, разные городские депутации, с которыми наместник был то строг, то чересчур приветлив. Один из его адъютантов удержал в памяти следующие слова какого-то высокого ростом депутата, с выразительной физиономией: «La corporation des bouchers est prête à marcher contre vos canons, et demain, si les corps des saintes victi mes ne seront pas rendues à la ville, pour être ensevelies solennellement, vous marcherez dans noire sang jusqu'aux genoux!»¹

Наконец уже довольно поздно, часу в одиннадцатом ночи, прибыла депутация купеческой ресурсы и была принята, как и все последние, во второй приемной комнате перед кабинетом наместника. Налево у окна, близ дверей, стал Шленкер. Рядом с ним, направо, Кронеберг; потом ксендзы Вышинский и Стецкий. За ними сгруппировалось все прочее. Сапожник Гишпанский поместился сзади всех, у входных дверей.

Князь Горчаков вышел, имея по левую руку Муханова, и проговорил довольно строгим голосом: «Malheur est arrivé!» — «Grand malheur!»² — повторил Шленкер, возвыся голос. Это как бы смутило князя; он изменил тон и предложил высказаться. Несколько делегатов стали говорить один за другим. Сущность этих речей заключалась в кратком изложении случившегося утром на Краковском предместье, после чего сказано о крайнем раздражении города, оскорбленного войсками, о необходимости принять самые быстрые, энергические меры, во избежание печальных последствий...

Затем начались обыкновенные, можно сказать, дружеские беседы. Муханов старался быть с делегатами как можно любезнее; говорил почти со всеми самым приветливым образом...

При такой обстановке неудивительно, если спятил с ума человек низменный, плохо образованный, хозяин сапож-

¹ «Корпорация мясников готова идти против ваших пушек, и завтра, коль скоро тела святых жертв не будут возвращены городу для торжественного погребения, вы замаршируете в нашей крови по колено».

² «Несчастье случилось!» — «Великое несчастье!»

ничьей артели (как бывают хозяева артелей), если сбился Гишпанский, увидав перед собой власть совсем не такой, как она ему снилась за его убогой колодкой. Он был, конечно, всех правее, и, может быть, говоря смело и фамильярно с наместником, не сказал, в сущности, ничего особенного.

Предание приписывает ему следующие слова.

Когда князь Горчаков, откланиваясь депутации, заметил, что «все произошло от ошибки, от не так понятого приказа, и что особая комиссия разберет, кто прав и кто виноват» — Гишпанский будто бы сказал:

«Вот я, ваше сиятельство, сапожник, и у меня артель рабочих: если из моей мастерской выйдут плохие сапоги, вы не станете спрашивать, где неловкий хлопец, который испортил товар, а крикните: «Подавай мне сюда хозяина Гишпанского!»

«Стало быть, по-твоему, виноват я?» — спросил будто бы наместник, улыбаясь.

«Стало быть!»

Эта ли выходка, или другое что, сказанное тут, не то позже, действительно обратили на Гишпанского внимание разных высших лиц Замка. Имя его стало повторяться, все желали иметь его фотографическую карточку. Даже до самого 1863 года висел на Краковском предместье огромный фотографический портрет его, когда он сам успел побывать в Вятке. Князь Горчаков, как говорят, звал его «маленьким Кавуром».

Что старина, то и деянье...

В заключение различных объяснений делегация ресурсы подала наместнику просьбу, состоявшую из таких пунктов:

- 1) дозволить похоронить убитых с подобающим торжеством;
- 2) войска и полицию во время похорон устранить;
- 3) утвердить избранную городом делегацию до окончания похорон;
- 4) назначить обер-полицеймейстером, вместо полковника Трепова генерал-майора Паулуччи;

5) освободить всех арестованных в тот день (15/27 февраля);

6) разрешить особым депутатам отправиться в Петербург для подачи адреса государю императору.

Все эти пункты были приняты немедленно, исключая 4-й и 6-й, и Горчаков простился с делегатами, обещав им «при первом скопище на улице явиться лично и выслушать недовольных»¹.

Не все ли это было равно, что пригласить народ снова к Замку?

Ресурса, ожидавшая делегатов с нетерпением, приветствовала их кликами восторга. Все лица засияли еще более, если только это было возможно. Никто и не воображал о таком благополучном исходе посольства.

А Горчаков с несколькими высшими лицами администрации рассуждал в Замке об остальных двух пунктах просьбы, поданной делегатами, и нашел возможным сделать еще уступку: разрешить 4-й пункт, то есть сменить обер-полицеймейстера; только преемником Трепову назначил не просимого городом генерала Паулуччи, а полковника Демонкаля.

Извещенный об этом президент города, д. с. с. Андро послал немедленно (часу в первом ночи) за несколькими делегатами и объявил им волю Наместника.

Но дети, потерявшие всякую меру в своих требованиях, стали еще настойчивее просить назначения обер-полицеймейстером генерала Паулуччи, говоря, что Демонкаль — человек в Варшаве новый, которого никто хорошо не знает, а Паулуччи всем известен. «Воротись, поклонись рыбе...» Нечего делать: Андро отправился в

¹ Записка полковника Добродеева. Авейде о делегации ресурсы и приеме ее князем Горчаковым, высказывается так: «Наместник, колеблясь, принял депутатов и был то грозным, то уступчивым, но постоянно нерешительным. На представляемые ему желания то отвечал угрозой и отвергал их, то снова принимал и одобрял. Таким образом, беспрестанно меняя тон, наконец согласился, если не ошибаюсь, на все требования и тем признал себя побежденным толпой».

Замок — и кто поверит? Князь уступил и этой просьбе; но так как приказ о Демонкале уже состоялся¹ и изменять его было неудобно, то придумали для Паулуччи особый титул «главного начальника полиции» с подчинением ему обер-полицеймейстера.

Иные поляки после говорили: «Помилуйте, как же нам было не сбиться, когда вы сбились — правительственная сила! Ведь мы же все-таки поляки; нельзя же нам идти против себя? Смотрим: дают, дают, валится откуда-то; мы и стали хватать».

Последний, 6-й пункт просьбы делегатов был тоже до известной степени принят: наместник согласился на отправление адреса к государю императору, только не с особыми депутатами, а просто по почте.

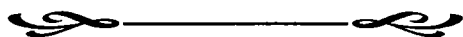
И адрес этот стали спешно писать. Но об этом после. Пора спустить завесу ночи на этот бурный, невероятный день. Впрочем, в сущности, никто не спал. Ресурса готовила курьеров для возвещения краю о победах, одержанных Варшавой над правительством, и о том, чтобы разные сословия в возможно большем числе съезжались на торжественные похороны *пяти жертв*. Эти должности взяли на себя с удовольствием студенты академии и другие старшие воспитанники. В особенности в курьеры рвались два младших брата Франковские: Иван и Лев.

Партии белых тоже нужно было кое-что обсудить.

И Замок имел свою ночную работу.

¹ Отдан в ту же ночь. См. № 56 «Gazety Warszawskiej», 1861. Там же и о назначении Паулуччи, который носил по-польски такой титул: Zawjadujacy naczelnik policja Warszawska.

Глава пятая



Адрес. — Медицинско-судебный осмотр тел. — Торжественные похороны пяти жертв. — Занятие делегатов. — Следственная комиссия для разбора дела о выстрелах. — Маркиз Велепольский. — Упразднение Делегации.

Сильно шумела купеческая ресурса после падения пяти жертв, но едва ли менее было шуму на другой день в Земледельческом обществе, на экстренном заседании всех находившихся в Варшаве его членов (как полагают, около двух тысяч).

Обдумывался вопрос: что им делать, — им, белым? Если они устранят себя от движения и передадут «книги в руки» младшим, хотя бы эти младшие выступили под предводительством делегатов, утвержденных наместником, дело будет немедля проиграно. Делегация, этот новый, невероятный Народный сенат, на который обращены теперь все очи и от которого страна ожидает каких-то чудес, конечно, в красном духе; делегация, несмотря на почтенные лета, седину и лысину иных ее членов, в сущности, тот же красный лагерь, как и безусые мечтатели и крикуны академии. Большая половина делегатов, если только не все, знакомы и дружны с Юргенсом, Годлевским и прочими главами красных. Белым, настоящим белым, овладеть, во что бы то ни стало, *всем движением*, забрать в руки и Новаковских, которые кричали, что если им дадут волю, то они сейчас же возьмут Цитадель и Замок; и делегатов, которые покамест

еще ничего особенно дикого не кричали, но... как бы собираются крикнуть, да совестно. Все нужно забрать; но для этого следовало предварительно обратить хоть немного глаза толпы в другую сторону, хоть немного измениться в глазах Варшавы и Польши. Варшава и Польша смотрели на белых недружелюбно, отчасти как на людей, соединенных так или иначе с правительством, зачастую помогавших правительству тормозить заговоры, парализовать действие всего того, что считалось в крае живым и спасительным; отчасти как на людей, думавших только о своих интересах и привилегиях и не хотевших делиться этим добром с низшей братией, делать уступки, приносить жертвы, тем менее становиться в рядах защитников отечества в критическую минуту. Варшава и Польша знали хорошо, кого белые суют обыкновенно в такие опасные ряды, запрягают в черную работу; а сами, когда дело кончится благополучно, норовят только захватить власть и командовать, но командуют всегда очень плохо.

Понятно теперь, почему Варшава в минуту, нами изображаемую, устремила свои глаза вовсе не туда, где стоял грандиозный наместниковский палац¹, огромный трехэтажный домина, с двумя по обеим сторонам его, не менее огромными, флигелями, — этот когда-то пышный дворец Радзивилла, с комнатами, где подписана была конституция 1815 года и где позже диктаторствовал Круковецкий. Не туда смотрела Варшава после событий 27 февраля, а на серый, неказистый домик близ Римарской улицы, уже известный читателям, — домик, где устроилась Делегация.

Про белых, про Земледельческое общество тогда никто и не думал, как будто они вовсе не существовали в Польше. Их превращение в красных к вечеру 27 февраля никто не заметил, как не заметили и их торжественного поезда в Замок и не слышали заносчивых патриотических криков графа Фомы Потоцкого перед наместником; тогда как про выходку сапожника Гишпанского говорили все и его карточки покупали нарасхват, так что Байер едва успевал их

¹ Место заседаний Земледельческого общества.

стряпать. Белые совершенно понапрасну вдруг поглупели и перешли в младший возраст. Выстрел пропал даром.

Как же было теперь поправить дело? Где скрывались такие силы, которые могли бы заставить Варшаву снова вспомнить о Земледельческом обществе, об его заслугах краю, о несомненных патриотических завоеваниях? Как было сделать, чтобы голоса белых стали хоть немного слышны среди этой невероятной сумятицы и хаоса?

Часть членов заявила, что только *«немедленное постановление о наделе крестьян землей и скорейшее приведение этого в исполнение»* могло бы вновь разогреть охлаждение массы к Обществу, отозвалось бы в городе благоприятно. В пользу этой меры были все не так богатые, но не в их власти было решение. Решал комитет, состоявший, само собой разумеется, из крупных землевладельцев, которым было неудобно расставаться с вековыми привилегиями своего сословия, самим занести на них руку. Как ни опасна была минута, но барская закоснелость, шляхетство одержали верх над всеми другими соображениями. Комитет Земледельческого общества нашел, что надел хлопа землей потребовал бы в скором времени совершенного освобождения его от рабства, но к этому еще не сделано надлежащих подготовлений; а потому вместо надела учредить пока *наследственные аренды* (*systemo wieczystych dzierżaw*) на образец английский, что и было принято.

Когда город узнал о таком решении Земледельческим обществом вопроса, всех тогда, естественно, занимавшего, — все поднялось против комитета Общества, против его вождей. Положение белых стало еще хуже. До этой минуты о них не говорили просто ничего; теперь же называли их отсталыми, мертвецами, дикими людьми, неспособными ни на какую патриотическую жертву¹.

Комитет растерялся и не нашел другого выхода, как слиться с ресурсой и помогать ей искренно во всем, что бы такое она ни затеяла.

¹ Так рассказывает об этом факте Авейде, II, 10, примечание. Других источников для того мы не имели.

Ресурса писала *адрес*: белые предложили тут не только свои соображения, но даже и перья, не отказываясь потом и подписать то, что будет составлено и одобрено общими силами. Это, конечно, для противоположной стороны было делом очень важным. Она соединилась от всего сердца в этих работах со своими антагонистами. Вся Варшава представляла на ту пору истинно едино тело, един дух. Даже — кто поверит? — нелюбимый никем, антипатичный маркиз Велепольский суетился тут же и вначале, правда несколько мгновений, не нарушал гармонии. Белые вообще так хлопотали, что за ними даже осталось поле действий, как будто бы они одни, без красных, сочиняли адрес.

Авейде говорит, что партии писавших разделились на два главных лагеря: «Одни, более всего маркиз Велепольский, рекомендовали проект *адреса определенного* (*adresu okreslonego*), то есть адреса, который бы ясно обнимал желание народа относительно возвращения Конституции 1815 года, с соответственными, конечно, настоящему времени изменениями и с той, как кажется, разницей, чтобы о своем польском войске не упоминать вовсе».

«Другие, во главе которых стоял всеми уважаемый помещик Ставиский, предлагали проект *адреса с неопределенными условиями* (*adresu nieokreslonego*), то есть следовало только сказать, что нам-де не хорошо; что нами управляют несогласно с нашими потребностями, а потому мы желаем, дабы в будущем все наши дела пользовались большим покровительством законов, нежели это было до сих пор»¹.

¹ Авейде II, 16. — Он добавляет к этому еще следующее: «Мне говорили, что в этом адресе (то есть неопределенном) принимаемы были во внимание два совершенно противоречащие одно другому соображения и цели; во-первых, чтобы, не зная еще вполне настроения монарха, не восстановить его как-нибудь против нас и не оскорбить заявлением определенных желаний. Во-вторых, чтобы определенным адресом не связать себя перед правительством никакими, так сказать, условиями и иметь через то на будущее время в резерве открытую дорогу просить о чем-либо более важном, нежели конституция 1815 года без войска, например, хоть об этом войске и о присоединении к Польше Литвы и Руси. Кроме того, в неопределенном адресе не говорилось, чем именно мы будем

Этот последний адрес восторжествовал; иные думают, отчасти потому что на другой стороне стояла неприятная для всех фигура Велепольского. Спрячась Велепольский тогда за другие плечи, дело, может быть, пошло бы иначе.

Ставиский, при помощи нескольких других белых и небелых, написал следующее:

«Горестные события, недавно случившиеся в Варшаве, раздражение, предшествовавшее им и последовавшая за ними глубокая скорбь, которая проникла все сердца, побудили нас повергнуть настоящее прошение к стопам вашего величества, от имени всей страны, в надежде, что ваше благородное сердце, государь, не отвергнет глас несчастного народа.

Эти события, которых горькие сцены мы удерживаемся описывать, вовсе не были вызваны разрушительными страстями каких-либо отдельных классов населения; напротив того, они составляют единодушное и красноречивое выражение чувств отвергнутых и нужд непризнанных. Более полувека страданий, претерпеваемых всем народом, управлявшимся в течение веков учреждениями либеральными, народом, у которого отняты были даже законные пути для принесения монарху жалоб и для выражения общественных нужд; все это поставило его в такое положение, что он не может иначе подать свой голос, как только стоном жертв, а потому и не перестает приносить эти жертвы.

В глубине души каждого жителя этой несчастной страны хранится сильное чувство особенной национальности, отличной от национальностей других народов Европы. Это чувство не сокрушено ни временем, ни событиями. Несчас-

окончательно довольны, но молчаливо, однако для всех вразумительно, допускалась всегдашняя возможность обратиться к желаниям о восстановлении самобытной Польши в прежних ее границах, а следовательно и к мысли о революции. Адресом же с точно определенными условиями, утвержденным нашими подписями, мы сами закрывали дорогу всем своим планам и стремлениям к самобытной Польше. Так, по крайней мере, в то время рассуждали, разрешая вопрос об адресе».

тия не только не ослабили, напротив еще более укрепили его. Все, что его оскорбляет или неосторожно относится к нему, — волнует умы. Край видит с грустью, что если эти нужды останутся неудовлетворенными, это подорвет всякое доверие между правителями и управляемыми. Доверие не может возродиться, пока будут употребляемы насильственные, принудительные меры, не ведущие ни к чему. Страна, некогда стоявшая вровень по образованию со своими соседями в Европе, не в состоянии развиваться ни морально, ни материально, доколе ее церковь, законодательство, публичное воспитание и вся общественная организация будут лишены своей национальности и своих исторических преданий.

Желания нашего народа тем сильнее, что в огромной европейской семье он один в настоящее время лишен необходимых условий к существованию, без которых никакое общество не может следовать путем развития до целей, указанных ему провидением.

Повергая к стопам трона выражение нашей скорби и наших пламенных желаний и веря в высокую справедливость и правосудие вашего императорского величества, мы осмеливаемся, государь, взывать к вашему великодушию.

Вашего императорского величества верноподданные.
Варшава, 27 февраля 1861 года».

Адрес этот, переведенный на французский язык графом Андреем Замойским, был подписан прежде всего архиепископом Фиалковским и затем 180-ю лицами первых дворянских фамилий Царства Польского, представлен наместнику и послан им немедленно в Петербург.

Потом подписи продолжали собираться по всему городу разными способами и в разных пунктах, между прочим в кондитерской Конти (что ныне Люрса, на углу Европейской гостиницы), куда народ сзывали с улицы неопределенными кучками в 20, 30, 40 и более человек. Чтец становился на мраморные ступени, которыми поднимаются в бильярдную, и читал адрес собравшимся, после чего их

заставляли подписываться, выпускали на улицу и кликали новую кучку.

Дня в два набралось, таким образом, 18 тысяч подписей. Затем наместник приказал прекратить подписывание.

А странный и упрямый Велепольский носился в это время со своим адресом и собирал для него подписи!..

Конечно, на него никто не смотрел и никто его не слушал. Массы помещиков толклись, вместе со всяким другим народом, кто только считал себя вправе подавать голос, — то в Купеческом клубе, то в Европейской гостинице, и обдумывали теперь вопрос погребения убитых. А некоторые из них, в том числе чиновник Варшавско-Венской железной дороги Лейя с помещиком Петровским, выставив в окно шляпы, собирали всякие пожертвования. Народ, толпившийся напротив, на площадке, что между Европейской гостиницей и Ордонанс-гаузом, долго стоял в раздумье: давать или не давать; но когда кто-то опустил в шляпу первую монету, деньги и ценные вещи посыпались довольно щедро.

Можно было делать что угодно. Варшава представляла тогда вид исключительный: города без полиции и войск; даже... почти без правительства.

Около 10 часов дня (28 февраля н. ст.) явился в залу Европейской гостиницы генерал Паулуччи и, как уверяют, спросил у присутствующих, желают ли они иметь его в звании главного начальника полиции. Все прокричали: «ура!» Кое-где раздалось: «И Гарибальди итальянец, и это итальянец! Да здравствуют итальянцы! Да здравствует Гарибальди! Да здравствует Паулуччи!»¹.

Как это именно было — добраться трудно. Несомненно только, что Паулуччи являлся к помещикам в Европейскую гостиницу и выслушал от них разные приветственные крики. Что-то действительно кричали о Гарибальди и об итальянцах. Подобные же крики раздались тогда и у входа в гостиницу, где толпилась вечно куча народу.

¹ Авейде, II, 12, 13, примечание.

Побеседовав любезно с помещиками в зале, маркиз Паулуччи отправился в 64-й номер, для присутствия при форменном осмотре тел вторым отделением Варшавского полицейского суда, прибывшим в узаконенном комплекте с реентом и 12-ю помещиками, в качестве свидетелей.

Кроме того, набилось туда же много всякого любопытного народу, успел побывать и фотограф Байер¹ с фотографическим аппаратом для снятия убитых во всей красе, с отверстыми в сторону зрителей ранами; и скоро эти карточки полетели по всей Польше.

Второе отделение полицейского суда, сообразив потогдашнему все обстоятельства дела, составило такой протокол:

«Так как по имеющимся сведениям оказывается несомненным, что смерть лиц, подлежащих ныне судебно-медицинскому исследованию, произошла от ран, нанесенных воинскими чинами из огнестрельного оружия, за что виновные могут впоследствии подвергнуться законной ответственности, то необходимо для присутствия при таком исследовании потребовать военного депутата».

Он потребован и явился в 64-й номер того же числа, в 2 часа пополудни.

Началось вскрытие тел, и составлен новый протокол, названный «Следственным делом о розыскании причины смерти господ: Рутковского, Карчевского, Бренделя и Адамкевича».

Дело об Арцыхевиче, лежавшем в доме Замойских, составлено особо тем же вторым отделением Варшавского суда.

Оба эти дела очень любопытны и хорошо рисуют минуту. Мало того, что пресерьезно описано *положение тел* на матрасах, в номере гостиницы, после того как они объехали несколько улиц, были кидаемы и перекидываемы и наконец уложены в фотографических позах, — в протокол поместили даже следы нечистот на ягодицах одной

¹ И, кажется, Вильнёв, имевший фотографию в самой гостинице.

жертвы, не совсем переваренный картофель в желудке другого трупа и наиточнейшее описание пули, найденной в третьей жертве.

Словом, делалось не дело, а шалили непристойным образом дети, спущенные не вовремя с помочей; и эту шалость, эту иронию над властями должен был, нисколько не шутя, подписать русский военный депутат!

Естественно, что в русских кружках Варшавы, особенно между военными, которым было приказано как можно менее показываться на улицах, поднялся ропот. Иные говорили прямо, что «князь Горчаков сдал полякам Варшаву»...

По окончании медицинско-судебного исследования тела были сложены в приготовленные заранее особые черные гробы, убитые былыми гвоздями, и снесены ночью в верхний храм Свенто-Кршиского костела в виде исключения по торжественности случая (обыкновенно же покойников ставят в нижнем храме, в так называемых *катакомбах*).

Вокруг гробов, поставленных так, что один приходился в середине, а четыре по углам, явилось к утру 1 марта н. ст. множество цветов и деревьев из лучших оранжерей города. Весь храм обит изнутри черным сукном, пожертвованным разными суконными фабрикантами. Особые народные констебли из учащейся и другой городской молодежи, каждый с белой перевязью на левой руке, заботились о сохранении порядка при входе и выходе, впуская народ дверями каплицы, что подле аптеки, а выпуская в главные двери, где статуя Спасителя. Давка была неимоверная. Все знатное и незнатное, всех возрастов, от преклонных стариков и старух до детей десяти — двенадцати лет или немного старше, протискивалось к гробам, помолиться, потрепетать и поплакать, призывая на москалей всевозможные перуны. Все, разумеется, было в глубочайшем трауре.

Тут, в этих черных, траурных волнах двигавшегося взад и вперед народа, заметны были более всего легкие, юркие, одушевленные существа, которых во всякое время довольно в Варшаве, но тогда их как будто еще откуда-то

прибыло чуть не вдвое. Эти легкие, прелестные существа играют важную роль в жизни поляков вообще и особенно ревностно, можно сказать храбро и отчаянно, служат восстаниям.

Не много стран на свете, где бы этот элемент выдвигался настолько вперед, столько значил для своего народа, как в Польше. В мужском населении Польши происходят разные перемены, смотря по тому, каков политический воздух, каковы правители; мужское население может иногда попятиться назад, уступить, перекраситься в другой цвет, просто-напросто утомиться в борьбе и впасть в апатию, даже не конспирировать (хотя Мохнацкий и говорит, что конспирация вечно живет в польском народе). Женское население Польши никогда не изменяется: на нем лежит постоянно одна и та же окраска. Женщина в Польше — вечная, неутомная, неизлечимая повстанка. Мужчина-поляк может быть белый, красный, коричневый, мало ли каких цветов и оттенков: полька может быть только красная. Все польки — красные. Все они кипят и клокочут. Это маленькие, движущиеся вулканчики. Чуть притронулся — уж и полетели искры! Воображение их нельзя сдержать ничем: оно летит бог знает куда. Польская женщина вся — воображение, пламень и молитва. В иные минуты, правда, на нее действует немного ксендз, вооруженный распятием, отпущением грехов и пеклом. Другого начальства она не признает; напротив, у нее самой есть постоянное стремление подобрать к своим рукам, к своим хорошеньким ручкам, решительно все, и она подбирает. Она характерна, она молодец, эта польская женщина, нечего сказать; в ней есть что-то мужественное, удалое. Рассматривая ее внимательно, вы вспомните Зарему Бахчисарая, разных венецианок, испанок: юг, а не север. Типический герб Варшавы недаром представляет *сирену с саблей*. Это верно как нельзя больше, верно исторически. Мы бы для полноты картины вложили в другую руку Сирены молитвенник, *Oltarzyk Zloty*, который точно так же ее никогда не оставляет. Она тот же инок-рыцарь, что, по словам Мицкевича,

Oczy utkwivszy w nieprzyjaciół szaniec,
Nabija strzelbę i liczy różaniec¹.

И вот этот-то кипучий элемент выступил теперь на сцену, тараторил, помогал мужчинам проникать туда, куда, казалось, никак нельзя проникнуть; молился и плакал и шил все траурное, что было нужно для торжественных похорон жертв.

Таков характер польской женщины вообще. Все они бегут навстречу всякому бурному движению, все исполнены одним и тем же духом. Но более всего служит и полезен восстаниям средний класс женского населения Польши, даже и не средний: эти дочери управляющих домами, не то «принципалов» разных ремесленных заведений, не то мелких чиновников; наконец дочери бог их знает чьи, эти барышни, не барышни, горничные, не горничные, гризетки, не гризетки, которых выгоняют из их немудрых жилищ, с третьего и четвертого этажа, на варшавские тротуары утренние лучи, особенно в ясный, хороший день — и они бегут, рассыпаются в разные стороны, сами подобные ярким, игривым лучам, и стреляют в вас и в магазины своими быстрыми газельими глазками.

Они всегда одеты очень мило, иной раз хоть куда. Но не судите по этому блеску обо всем остальном. Вы не можете представить, по каким лестницам, мимо каких кадок пролетают эти обворожительные ножки, обутые в изящнейший башмачок, всегда как бы сейчас только что сшитый; вы не можете представить, на какой комод кладутся эти иногда довольно дорогие серьги и кольца, в какой шкаф запираются эти пышные пальто и бурнусы и какие, в заключение всего, супы и жаркое проглатывает храбрый, повстанский желудок проголодавшихся сирен.

Вечером многие из сирен в театре, но никогда не платят за это денег. Как и откуда являются у них билеты на всякие удовольствия — разъяснение этого вопроса завлекло бы нас

¹ «Устремив глаза в стаи неприятеля, заряжает ружье и перебирает четки».

далеко в сторону... Сирены смертельно любят театр, маскарады, танцы, в особенности танцы. За лишний час танцев, за маскарад иная сирена поставит на карту всю жизнь, будущее спасение души. В этом она совершенная женщина, слабое, бессильное существо. Скажите ей в иную минуту, что, если еще один тур вальса, — и все кончено, грянут громы, земля разверзнется под ее ногами: она пропустит все это мимо ушей и помчится вальсировать с отчаянием, с упоением, какого мы с вами, скромный мой читатель, ни от чего не знаем.

И вот этот-то кипучий элемент выступил теперь на сцену и был виден везде. Сирены пробивались сквозь все преграды в храм святого Креста, с оттоптаннами ножками, измятые, розовые, дышащие пламенем, со слезами на глазах; они жужжали, точно черные мухи, как бы стараясь показать, что и они члены огромной патриотической семьи, верные дочери пробудившейся отчизны, не менее кого иного способные приносить жертвы. И в самом деле, не одна пара последних, заветных серег опустилась в шляпу Лейи, выставленную в окно Европейской гостиницы, передано секретно в руку ксендза или другого кого, собиравшего «складки» на дело отчизны.

Дома на третьих и четвертых этажах проворные ручки сирен шили в это время траурные платья для бедных людей, приготавливали черные ковры с белыми крестами и каймами на балконы более видных домов. Кто бы другой нашел тогда всякого траура на всю Варшаву, если б не такая масса усердных, даровых патриотических ручек! На этот раз сирены подчинились странному начальству из молодежи, обыкновенно покорной, падающей сиренам до ног; начальству из академиков, которых сирены не удостоивают даже называть полным именем, а дают им, на своем сиреньем жаргоне, только отрывок их имени: *мики* вместо *академики*.

Ко 2 марта все было готово. Умы значительно успокоены. Труднее всего было уговорить Новаковского с братией, который заявлял очень громко в ресурсе и везде, где только

мог быть услышан хоть немного его голос, что ему мешают завершить патриотические подвиги его товарищей взятием Цитадели, или хоть Замка, посредством огромной манифестации, где бы участвовал весь город; что лучшего момента для этого нет и не будет.

Вследствие таких криков Новаковского и его единомышленников распространились по городу слухи, что во время похорон вспыхнет революция и что вся торжественная обстановка погребального обряда клонится единственно к тому, чтобы собрать поболее народа. Для этого резники Сольца и других захолустных мест Варшавы хотели явиться на похороны с топорами и с ножами. Князь Горчаков до того серьезно отнесся ко всем этим угрозам и до того боялся за свой Замок, что призвал к себе одного офицера и вручил ему две шкатулки для передачи командиру Цитадели на хранение впредь до востребования; при этом сказал офицеру, что именно заключается в шкатулках. Начальник штаба тоже что-то передал тому же лицу. А генерал-губернатор Панютин еще прежде послал на хранение в Цитатель два больших сундука. Кроме того, около 20 человек высших чинов отправили туда же разные вещи¹. Валы Цитадели приказано было одно время уставить солдатами и зарядить орудие².

Делегаты говорили русским властям, что отвечают за спокойствие города; между тем сами побаивались своих шалунов, и один делегат, пользовавшийся значительным влиянием во всех слоях населения, ходил пресерьезно уговаривать мясников оставить свои затеи. Кроме того, в разных газетах явились два таких воззвания:

«В субботу, 2 марта, в 10 часов утра произойдет погребение жертв, погибших 27 февраля. Во имя любви к отечеству, во имя самых священных и дорогих для каждого из нас обязанностей, заклиная жителей города, чтобы честь, отдаваемая жертвам в минуту погребения их тел, сопро-

¹ Сообщено автору тем самым офицером, который принял от князя Горчакова шкатулки.

² Сообщено разными офицерами-очевидцами.

воздавалась возможно большим порядком и спокойствием. Жители Варшавы, послушайте братьев ваших!»

(Следуют подписи делегатов¹.)

Второе воззвание, от 1 марта, было таково:

«Мы, нижеподписавшиеся, делегаты города Варшавы, объявляем, что если кто-либо из жителей будет замечен завтра с оружием² в руках, того сочтут изменником отечеству».

Наступило 2 марта. С раннего утра Варшава облеклась в глубокий траур, исполняясь необычайной тишиной и торжественностью, как будто бы дело шло о погребении нескольких королей, умерших разом.

Из окон улиц, по которым должно было тянуться шествие, и с балконов некоторых домов, как, например, Европейской гостиницы, свешано черное сукно, с белой каймой по краям и такими же крестами посередине. Везде расставлены народные констебли с особенным знаком на шляпе и белой перевязью на руке. Нашей полиции не было и тени. Даже все военные вообще, офицеры и солдаты, вследствие секретного, строжайшего предписания не смели выглянуть на улицу. Только небольшая кучка солдат забралась на крышу Ратуши и Арсенала и глядела оттуда на запретный спектакль. Народ показывал на них пальцами и смеялся.

Погода вполне благоприятствовала торжеству.

В 10-м часу, после того как ученики музыкального института поддирекцией А. Контского исполнили «*Requiem*» сочинения И. Стефани, причем партии solo исполнялись лучшими артистами Польской оперы³, — процессия тронулась из храма святого Креста по Краковскому предместью, налево.

Вместо войск, в виде как бы необходимого воинского украшения, ехало впереди несколько человек любимой городом пожарной команды с брандмейстером во главе.

¹ Ксендз И. Вышинский, ксендз И. Стецкий, Ксаверий Шленкер, Яков Пётровский, Иосиф Левинский, Теофил Пётровский, А. Тршетршевский, И. И. Крашевский, Иосиф Кёниг, Карл Байер, С. Гишпанский, доктор Халубинский, Л. Кронеберг, Матвей Розен.

² Крупно в подлиннике.

³ «Gazeta Warszawska», 1861, № 60

Потом ехал, верхом же, начальник полиции генерал Паулуччи в полной парадной форме; иные говорили, даже снявши каску.

Далее шли сироты и старцы Варшавского благотворительного общества, воспитанники разных учебных заведений, всевозможные цехи, со своими знаменами, убранными в траурные ленты. Тут же было, как уверяют иные, зная с гербом Литвы и Польши.

Затем: католическое духовенство, тела убитых, несомые на руках почетнейшими гражданами; еврейское духовенство, в своем национальном платье и, согласно требованию их обряда, с покрытыми головами.

В заключение шли так называемые *друцяжи*, в своих оборванных гунях и со своими широкими шляпами в руках¹.

Словом, не было забыто ни одно сословие Варшавы.

Комитет Земледельческого общества рисовался у всех на виду, подле гробов. О графе Андрее Замойском говорили, что он шел *под руку с крестьянином*. Современный литографический листок, изображающий похороны, представляет Замойского *рядом с крестьянином* и как бы разговаривающего с ним. У крестьянина *подвязанная рука*: значит, это один из раненных в свалке 25 или 27 февраля.

Многие дамы просили позволения возложить на плечи хотя один гроб, но им поручили нести большой терновый венец, «символ торжества и невинности» — *godło zwycięstwa i niewinności*, как выразилась потом одна газета².

¹ «Kurjer Warszawski 1861», № 58. Друцяжи (*Dròciarze*, проволочники, от *drut* — проволока) бедная ребятня Карпатских гор. Они бродят по всем городам Польши, лето и зиму в одном и том же платье: в коричневой гуне (род пальто-сака), накинутой на грязную рубашку, увешанные пучками проволоки, мышеловками и тому подобными проволочными изделиями. Шляпы на них тоже коричневые, с большими полями. Нередко друцяжи обращаются к прохожим, как нищие, прося милостыни, и им подают, как и всяким другим нищим.

² «Gaseta Codzienna», 1861, № 60.

Вся масса участвовавших в погребении простиралась, по газетам, до ста тысяч человек¹. Иные считают до ста шестидесяти.

Дойдя до Европейской гостиницы, процессия повернула налево, через Саксонскую площадь, а затем следовала обыкновенным путем по Вержбовой, Белянской и Пршезду — на Повонзки².

На Повонзках гробы жертв опущены в могилу один подле другого, и над каждым возведена особая насыпь. Все эти насыпи тотчас покрылись венками и цветами, а потом обозначены крестиками³.

Ксендзы на кладбище произносили патриотические речи, а студенты раздавали присутствующим фотографии убитых, части терновых венков, лежавших на гробах, и по пяти клочков полотна, омоченного в неповинной крови⁴.

Артисты оперы с учениками музыкального института, при участии сверх того нескольких сотен человек из публики, спели марш Нидецкого⁵.

По возвращении толпы в город замеченные на Вержбовой улице театральные афиши были сорваны. То же самое последовало и на другой день⁶. Начинался траур, воздержание от всех удовольствий. По городу ходил циркуляр (okólnik) будто бы архиепископа Фиалковского, которым предписывалось всем жителям Польши, названной *присносущей* (odwieczna Polska), наложить на себя траур и носить его в течение неопределенного срока. Женщинам позволялось иметь белое платье только в день свадьбы⁷.

¹ «Kurjer Warszawski» 1861, № 58.

² Главное Варшавское кладбище.

³ В таком виде эти насыпи оставались до 1866 года, если только не позже. Но теперь их уже нет.

⁴ Записка полковника Добродеева.

⁵ «Gazeta Warszawska». 1861, № 60.

⁶ Представление в день похорон было отменено. На другой день, 3 марта н. с., шли пьесы: в Большом театре — два акта «Сомнамбулы» и два акта «Эсмеральды»; в Малом: «Klara i Dzivadla, czyli odrodzony». Были только русские.

⁷ Любопытные могут видеть этот циркуляр в брошюре: Wiadomości z kraju z lat 1860 — 1861, Lipsk, 1863, s. 5. В русском переводе — в Библиотеке для чтения, 1864, январь. S. 27.

Все послушались этого циркуляра.

* * *

Теперь, с погребением убитых, должно бы, казалось, окончиться все необычайное и наступить прежняя, обыкновенная жизнь города. Желанный спектакль сыгран; публика удовлетворена; предмет, раздражавший более или менее умы, убран прочь, лежит в могиле. Что мешало выступившей из берегов реке войти в обычное русло? Энергические люди советовали наместнику разрубить узел, связавшийся как-то так, роковым сцеплением обстоятельств, отчасти как бы минуя все то, что можно назвать собственными нашими промахами и потворством либеральному движению. Советовали в ту же минуту огласить военное положение, которое было уже написано¹; закрыть Делегацию, ввести в Купеческий клуб войска (как это сделано позже с Малым театром, при несравненно меньшей опасности), пустить по городу патрули и под впечатлением всего этого решать вопрос о том, что делать далее. Нет сомнения, что все бы присмирело и явилось скорее на стороне силы, чем тогда, когда сила перестала быть силой. Даже красный повстанец Авейде говорит об этом в своих *Записках* нечто подобное: «Правительство обязано было уничтожить Делегацию, клуб и делегационную полицию тотчас после погребения пяти жертв. Не сделав этого, оно неизбежно должно разделить с поляками ответственность за последствие сорокадневного безначалия... Народ, избалованный таким положением вещей, привык к беспорядочной жизни и начал считать ее нормальной и естественной».

Но мало ли что хорошего советуется правителям в иные трудные минуты; мало ли что еще лучше пишется и выводится после задним числом, когда факт уже совершился, гром грянул и, что называется попросту, «из боку уже не вынешь»; когда всякий прапорщик становится опытнее и

¹ Об этом сказывал автору бывший тогда директором канцелярии наместника т. с. Казачковский.

умнее фельдмаршала. Увы! История ломит своим неотразимым путем; в ней есть что-то неоспоримо роковое; даже, как выразился кто-то, своя ирония. В ее скрижалях никак ничего не подчистишь, подобно тому, как подчищаются бумаги в разных канцеляриях.

Так и тут: роковые волны накатились на вас.

Слабость ли и нерешительность властей, или уж такие миазмы, носившиеся в воздухе и парализовавшие обычный ход дел, — что бы там ни было, только разрубить узел Александра Македонского в тогдашней Варшаве никого не нашлось. Узлу предоставили развязываться медленно, мало-помалу, как он захочет сам. Нашло на всех какое-то затмение; отнято понимание самых простых вещей. Кажется, Заболоцкий достаточно ясно показал описанным выше «фокусом Пинетти», что такое эти якобы опасные уличные массы; а все-таки их продолжали как бы бояться. Вообще, боялись неизвестно чего, какого-то сочиненного призрака. Таким образом, энергические голоса раздались в пространстве напрасно. Военное положение убрано под сукно; бараки для войск, начавшие было строиться на разных площадях, сняты; Народный сенат купеческой ресурсы оставлен заниматься *своими* делами.

Конечно, никто не явился помогать слабости и испугу, какими ознаменовала себя в то время власть. Напротив, каждый поляк только и думал, как бы побольше выиграть из такого неожиданного и невероятного оборота вещей. Все белые и не белые точно стакнулись между собой — успокаивать правительство фразами, а под шумок вести патриотические подкопы. Куда правительство ни обращалось, везде встречало оппозицию, если не явную, то тайную; совершенное отсутствие готовности идти с ним об руку, как это весьма недавно делали многие из белых, почти все делегаты, от которых мы прежде всего могли ожидать успокоительных мер, кому для этого и были вручены бразды правления.

Делегаты выпустили после погребения пяти жертв такое *воззвание*:

«Вчера совершилось погребение жертв, павших в Середу. Вчера народ доказал, что понимает значение обязанностей в отношении к отечеству. Все без изъятия, соединенные одним и тем же чувством, мы прощались с погибшими. Братья! Пусть это чувство обязанности правит нами и впредь во всякую минуту!»

Кажется, ничего особенного не написано, но в то напряженное время, когда у каждого поляка были совсем особые «уши слышати», в этих строках было сказано очень довольно. Слова: *соединенные одним и тем же чувством* стали типической фразой многих подобных публикаций.

Чтобы не отстать от ресурсы, Земледельческое общество выпустило в свет такой же *одобрительный* плакат, относившийся собственно к учащейся молодежи:

«Именем всех членов Земледельческого общества, комитет оного благодарит вас, благородное юношество академии и школ, за оказанную вами помощь к сохранению порядка в минуту столь печального и вместе торжественного обряда погребения жертв, павших 27 февраля, между коими было также несколько членов Земледельческого общества¹.

Примерным поведением своим вы дали доказательство того, что обладаете всеми качествами, кои в будущем сделают из вас достойных и полезных сынов отечества, которое мы вместе с вами всем сердцем любим и которому служить есть священная обязанность каждого».

Затем первым делом Делегации было учредить особый «Комитет для поставления памятника павшим 27 февраля, также и для оказания помощи оставшимся после них семействам, равно и вспомоществование раненым 25 и 27 февраля». Кратко называли его: «Памятничко-вспомогательным комитетом»². Он заседал в той же купеческой ресурсе, где

¹ Собственно двое: Рутковский и Карчевский.

² Лица, его составлявшие, по Маевскому: председатель — каноник Иосиф Вышинский; члены: Карл Байер, Карл Маевский, акционер Европейской гостиницы Вамбах; редактор «Варшавского Курьера» Куч и генерал бывших польских войск И. Левинский. Позже, по случаю уве-

и Делегация. Сверх того там же заседала «Дирекция блюстителей безопасности и общественного спокойствия» под председательством купца Осипа Квятковского.

Одного такого факта, как учреждение Комитета для установления памятника жертвам, о которых надо было поскорее забыть, достаточно, чтобы показать, *по какой дороге* пошла Делегация. *Несколько недель* криду комитет печатал свои воззвания и отчеты во всех газетах Варшавы и собирал приношения. Допустившее такие чудеса правительство все смотрело и как бы ждало поворота дел в другую сторону.

Но делегаты шли дальше. В числе вопросов, требовавших немедленного разрешения, стоял прежде всего вопрос еврейский. Мы видели выше, что еще в 1859 году была почувствована польским обществом Варшавы необходимость сблизиться с евреями. Читатели помнят историю Кенига¹. Но тогда дело кончилось ничем. Евреи могли еще оставаться для поляков «народом в народе» и даже, пожалуй, ласкаться к правительству и считать свои еврейские интересы чем-то другим от интересов края. Теперь настали иные минуты. Особенно нельзя было шутить с евреями, которых в одной Варшаве, на двести тысяч населения, почти половина и которые поставили христианскую половину (во всех городах Польши) в такую от себя зависимость, что, когда они запирают в субботний шабаш свои лавки, христианам это весьма чувствительно. А исчезни они совсем, христиане просто бы растерялись и не знали, что делать. Теперь необходимо было знать, куда именно тянет еврей и его капиталы? Симпатизирует он или нет польскому движению? Словом: як бида, то до жида, как говорит пословица.

Никто, конечно, не сомневался, что польский еврей, особенно образованный, — в душе поляк, а не русский, что он не променяет Польши ни на какую страну в мире; что он, так же как и поляк, считает москаля варваром и притеснителем.

личившихся занятий, приглашены еще студент Медико-хирургической академии Шанявский и Фохт. Сумма всех пожертвований, по Маевскому, простиралась до 260 тысяч злотых.

¹ См. выше, с. 154.

Но тем не менее было что-то такое, разъединявшее тех и других; лежал постоянно между теми и другими какой-то непереступаемый порог. Еврей-поляк все-таки назывался у поляков проклятым именем жида и никогда не играл между настоящими поляками роли поляка, как бывают поляки вообще, русое славянское племя, с русым молодецким усом, которого жиду не отростить, как он ни бейся. Мало того, что жида с жидовскими фамилиями не шли в гармонию с поляками: народ помнил даже фамилии жидов, перешедших в католичество еще при Якубе Франке¹ — фамилии, по звуку совершенно польские. Всякий мальчик, всякая девочка пересчитают вам эти фамилии по пальцам. Даже когда речь пойдет о Воловском или Маевском, иной поляк или полька позволяют себе заметить с пренебрежением: «А, Волоскес, Маескес!» И всякий понимает, что это значит. Случается, что таких поляков чествуют *мехесами*, что значит собственно *выкрест*: слово обидное, произносимое негромко. Вследствие этого в общем, конечном результате выходило, что жида Польши оставались не чем иным, как жидами, от поляков отдельно, хотя, в сущности, тоже были поляки, а никто другой.

Делегация решила теперь сгладить как-нибудь эти шероховатости, произвести хотя искусственное, хотя временное, *повстанское* сближение двух разных элементов.

По давним законоположениям страны, евреи Польши не пользовались одинаковыми правами с коренными жителями польского происхождения. В Варшаве они, между прочим, не принадлежали к местному купеческому обществу, а составляли свою особую купеческую корпорацию.

¹ Молдавский еврей Яков Лейбович, прозванием Франк, склонил во второй половине XVIII столетия многих из своего племени перейти наружно в христианскую веру, для приобретения общих всем христианам привилегий. Эти перешедшие приняли в Польше даже и фамилии поляков. — Подробности о жизни и действиях Франка можно узнать в брошюре Скимборовича, изданной в Варшаве в 1866 году: «*Zyvit i nauka Jakyba Jyzefa Franka*».

Равно их нельзя было выбирать в судьи Коммерческого трибунала и в некоторые другие должности.

Это было указано прежде всего, и по инициативе делегата Шленкера, состоявшего главой Варшавских купцов, Варшавское купеческое общество приняло купцов-евреев в свое лоно, и один банкир еврейского происхождения сделан их старшиной.

Когда таким образом решили вопрос о евреях, вопрос мехесов решался сам собой. Один из мехесов, человек уважаемый всем городом, был назначен председателем дирекции кредитного общества Варшавской губернии.

Правительство утвердило и то и другое назначение. А евреи, в благодарность за внимание к ним польского общества, выдали вскоре *циркуляр евреям города Варшавы к евреям всего края*, исполненный дружеских чувств к полякам и приглашавший всех евреев Польши помогать, чем и как случится, христианам-католикам. Все несчастья при этом сваливались, разумеется, на правительство. Одно высшее лицо, весьма близкое к наместнику, названо в этом циркуляре *сатанинским врагом* — *Szatanskim wrogiem*¹.

Более ничего неизвестно о занятиях делегатов между 1 и 6 марта н. ст. Мы слышали, что все свои протоколы за это время они отправляли в Познань, к Владиславу Неголевскому, и однажды, вместе с протоколом, отослали какую-то бумагу, полученную от наместника. Так как Горчаков любил все свои бумаги переделывать по нескольку раз, он потребовал и эту, для пересмотра и переделки. Отвечали, что она «затеряна»; а чего затеряна: она мчалась к Неголевскому!

6 марта н. ст. заседания делегатов перенесены, по распоряжению наместника, в Ратушу, и к ним приставлен наблюдатель, генерал Паулуччи, в звании председателя. Помощником ему назначен генерал бывших польских войск Левинский. Что до числа членов, делегатам предоставлено выбрать хоть еще столько же. Предел службы их в Ратуше обуславливался временем получения ответа на поданный адрес.

¹ Авейде, II, 39.

Сущность дела, по крайней мере на первых порах, вследствие оставления всего прочего на прежних местах, нисколько не изменилась. Делегаты, окончив заседание в Ратуше с генералом, отправлялись в ресурсу и там имели новое заседание, где досказывалось то, что было скрыто в Ратуше, писался новый протокол и летел по железной к Неголевскому. А те протоколы, которые составлялись в Ратуше, были секретно литографируемы в значительном числе экземпляров и разлетались по городу в виде как бы отчетов, подаваемых Делегацией всему обществу и народу о том, что такое она делает в Ратуше, как хлопочет из всех сил, отстаивая то или другое в отечественных интересах. При этом факты нередко сильно искажались, так что присутствовавший на заседании генерал не узнавал иной раз этого заседания в прочитанном им печатном протоколе.

На это печатание правительство смотрело сквозь пальцы, как и на многое другое, как и на все, что делалось кругом поляками. Делегату Байеру с несколькими другими фотографами дозволялось распространять в публике тысячи, десятки тысяч карточек пяти жертв в разных форматах. Говорят, что учебные заведения края выписывали эти карточки из Варшавы по числу учащихся и учащихся, с уступкой против варшавской цены нескольких процентов: именно по 30 коп. вместо 50. В это-то время, как уверяют весьма многие, закладывался фундамент одного четырехэтажного дома на Краковском предместье...

Одновременно с фотографиями были распространяемы, с ведома делегатов, особенные медали с изображением на одной стороне Богоматери, а на другой — сломанного креста, вокруг которого была надпись: *Snacu Goscogu (Ratuj Oicze!)* и стояли цифры 25 и 27.

Те же цифры писались и вырезывались ножом на деревянных скамьях Саксонского, Красинского и Ботанических садов, даже на иных деревьях, стоявших на видных местах. Нет сомнения, что кое-где сохранились они и до сих пор.

Внутри края, по дорогам, воздвигались большие деревянные кресты, подобные тем, какие вообще рассеяны

по Польше и Малороссии, и на них выставлялись те же знаменательные цифры 25 и 27, иной раз сопровождаемые объясняющими дело надписями. Так стояли они по крайней мере до 1866 года, а местами, верно, стоят и до ныне.

Легко понять, что все это сильно действовало на воображение массы, подымало дух народа, как тогда выражались руководители движения; подготавливало тот воздух, который потребен настоящему заговору.

Во многих городах Царства Польского образовались самовольно провинциальные делегации, наподобие Варшавской, с той же обстановкой народной стражи и сборщиков пожертвований; но так как это не было утверждено правительством и даже местами преследовалось, то провинциальные делегации не имели большой силы, и стража их вовсе не пошла в ход. Что же до варшавской городской стражи, — она ходила по улицам как законный правительственный патруль, производила аресты, вмешивалась в порядок на базарах и где случится. Само собой разумеется, что при этом происходили весьма комические сцены...

Правительство, допустив эти патрули, хотело, по видимому, дать какую-нибудь работу горячим головам, занять детей игрушками на то время, покамест вопрос решится так или иначе, — и тогда снова усадить за школьные лавки. Узел и тут развязывался медленно. Между тем ребята, бродя по улицам и денно и ночью целый месяц или около того, конечно, приобрели заговору кое-какие сподручные материалы. Авейде выражается об этом так: «Манифестаторы, усмирявшие манифестаторов, дети, сделавшиеся преждевременно совершеннолетними, сближались с народом, становились оракулами толпы и командовали ею не по приказу тех, от кого получили власть, а по приказу особых революционных вождей».

О самой Делегации, постоянно внушавшей правительству, что только одними мягкими мерами можно дойти до лучшего и прочнейшего разрешения вопроса, Авейде говорит так: «Несмотря на достойный уважения характер ее членов, на их рассудительность и житейскую опытность,

Делегация, в отношении сердца, не различалась ничем от самых юных манифестаторов. Она, как и все мы, терялась в облаках неопределенных чувств; как и все, прельщалась этим приливом религиозно-патриотических восторгов; не только боялась успокаивать взволнованные умы, не только не заботилась об этом и за это не принималась; напротив того, продолжение волнения ей, очевидно, нравилось, и она его поддерживала... вполне одобряла хаотические собрания разного рода политиков в купеческой ресурсе; являлась в эти собрания с рапортами, кокетничала с народом... А ведь было ясно как день, что клуб представлял в то время пристанище и центр агитации, мастерскую будущих манифестаций и заговоров».

«Я не допускаю, — говорит он далее, — чтоб мысль о заговоре могла родиться в умах консервативных членов Делегации. Они действовали в отношении правительства с добрыми намерениями, но ничуть не хуже, если только не лучше, хорошо устроенного и сознательно идущего к своей цели заговора»¹.

Разрешенная правительством *октава*² по убитым, конечно, приобрела новых ратников революционному движению. Это была тоже манифестация, точнее: несколько манифестаций вдруг. По разным костелам служились торжественные панихиды. У святого Креста был исполнен новый «Requiem», под управлением А. Контского. Дамы высшего круга собирали квесту. Начала княгиня Любомирская, урожденная графиня Замойская. Собрано кроме денег много разных ценных вещей: серег, колец, браслетов, брошек... Одушевление доходило до последней степени. Женщины плакали навзрыд.

У реформатов, при такой же торжественной обстановке панихиды, управлял хорами оперный композитор Монюшко. В числе певцов находился первый тенор Варшавской оперы Добрский, который спел под конец особый патриотический гимн.

¹ II, 23—26.

² Панихида на 8-й день.

Правительство знало все подробности этих манифестаций, имело в руках списки всех гимнов и речей. Оно, как уже было замечено, решилось идти до конца мягкой, терпеливой дорогой всевозможных уступок: оно нарядило *Комиссию* для исследования дела о выстрелах.

11 марта н. ст. комиссия эта, состоявшая из варшавского коменданта генерал-майора Мельникова, председателя уголовного суда Вечорковского и юрисконсульты комиссии финансов, «защитника» 9-го и 10-го департаментов правительствующего сената, Коисевича, под председательством командира 2-го пехотного корпуса, генерала от инфантерии Липранди, открыла свои заседания в наместниковском дворце.

Подобные комиссии служат полным отголоском того, что думают о разбираемом происшествии высшие власти. Так и настоящая комиссия взглянула на дело глазами князя Горчакова и кое-кого из вторивших ему лиц в Замке, — лиц крупного чина, и трудно сказать, что было бы с несчастным генералом Заболоцким, если б следователи обратились в судей. Заметим читателям, что двое из членов были к тому же поляки.

Комиссия видела перед собой только *букву происшествия*: что Заболоцкий «не имел никакого приказания вывести роту», в чем он и не запырлся; напротив, выразился в рапорте командиру 2-го корпуса, от 26 февраля ст. ст. 1861 года, за № 18, с прямою и смелостью солдата так: «Чтоб взять 7-ю роту Низовского пехотного полка из манежа примасовского дома, я не имел ничьего приказания». Комиссия видела эту *букву происшествия*, но не видела его *сокровенного смысла*. О снисхождении к человеку, растерявшемуся в те роковые минуты, точно так же как растерялись все, раненому, а потому взволнованному, главное же, *уверенному, что он действует правильно*, не могло быть и помину. Для исследователей не существовал общеевропейский закон, говорящий, что бывают заблуждения, которые способны изменить все, представить событие в обратном виде. Довольно, что наместник и Варшава были убеждены,

что Заболоцкий виноват: стало быть, он и был виноват. Зачем тут рассуждать и призывать на помощь мудреные и таинственные процессы человеческой души!

Из такого предвзятого взгляда на предмет вытекли и соответственные приемы в исследовании. Комиссия не доверяла самым простым объяснениям генерала и прикосновенных к делу лиц. Когда, например, Заболоцкий и старшие адъютанты главного дежурства 1-й армии, подполковник Гришин и капитан Роткирх, заметили в один голос, что «около почты подъезжал к роте какой-то кубанский казак, который сказал то-то и то-то»: *sancta simplicitas*, храбрый казачина Заваров, «из перерусских русский», приглашенный комиссией в свидетели, возразил (будучи, сам не зная как, проникнут тем же модным и общим в то время преследованием Заболоцкого), что «никакого казака генерал не мог встретить у почты, потому что все казаки были у Бернардинского костела и на Замковой площади, а в другие пункты он, Заваров, казаков не посылал».

Это показалось комиссии до такой степени важным, что она предложила Заварову выстроить на Замковой площади всех казаков, а Заболоцкого, старого седого генерал-лейтенанта, просила пройти по их рядам и отыскать казака, которого он видел у почты. Генерал прошелся и, на беду свою, *не отыскал* казака!¹ Заваров торжествовал, не видя вместе со всеми другими, какой страшный соблазн производит в городе эта сцена в ущерб нашему делу и успокоению края.

В числе странных приемов, допущенных комиссией, было, между прочим, совершенно невероятное «свидетельствование Ветеринарным факультетом казачьих лошадей, раненных в свалке 27 февраля чем-то острым, вроде ножа». Составлены акты на нескольких листах, где величина раны (*через две недели после происшествия!*) описывается не только в дюймах, но даже в линиях. Описание раны одного коня занимает половину листа.

¹ Цитированное выше дело «О происшествии в городе Варшаве 15 (27) февраля 1861 года», с. 82.

Таким усердием к делу пылали члены Комиссии с месяц; потом охладели. Заседания их из наместниковского дворца перенеслись на квартиру председателя и приняли небрежный, халатный характер. Может статься, было почувствовано и то, что к делу подошли не с той стороны...¹

14 (26) мая, за четыре дня до смерти князя Горчакова, когда он уже нисколько не управлял Варшавой, комиссия, неизвестно по чьему приказанию, закрыта, и все велено предать забвению. Однако исписано 329 листов.

Между тем как узел развязывался таким образом, меж тем как «мастерская манифестаций» хаотически рассуждала о своих польских делах, причем Новаковский с приятелями постоянно вызывался взять Цитадель и Замок, лишь бы только ему не мешали; меж тем как народные констебли пресерьезно маршировали по улицам, воображая, что несут важную службу отечеству, и делалось еще много странного, невероятного в разных пунктах Варшавы: в это время Замок придумывал выход из такого положения вещей, ожидая вместе с тем и поворота кое-кого из консерваторов на прежнюю дорогу; ожидая и от Делегации, что она, пококетничав с ребятами и заняв их какими-нибудь пустяками, обратится к правительству и подаст ему искренно и честно руку помощи. Но не тут-то было. Никто не шел. Напротив, казалось, что все краснеет с каждым часом больше и больше; пламень разливается шире и шире. Надо было забежать вперед и преградить ему дорогу; надо было образовать как можно скорее консервативную среду из поляков же; *отыскать, во что бы то ни стало*, лицо, около которого, по весу и влиянию его в обществе, собралась бы масса людей, способная направить ход всей машины, пожалуй, хоть и по-польски, но только не радикально во вред русским правительственным интересам. Но среди того волнения, в какое было приведено все в крае и в Варшаве, среди

¹ Иные смотрят на дело так: комиссия якобы и не прочь была оправдать Заболоцкого, отыскав какую-либо точку опоры, например, если б было фактически доказано стрельание повстанцев; но солдаты, показавшие это, под присягу, однако, не пошли.

волнения, которое поддерживалось самим правительством, когда самые спокойные и умеренные имели положительное право сбиться с толку, трудно, очень трудно было найти поляка, который бы отважился надеть на себя русский мундир и принять град стрел. Никто из влиятельных поляков, сколько-нибудь дороживших своим общественным положением, не подумал бы идти в такую службу, садиться на такое шаткое, опасное кресло. Даже и старые здания расшатывались и грозили падением. Главный директор комиссии финансов (по-нашему — министр) Ленский подал в отставку. Директор комиссии юстиции Воловский тоже собирался в отставку, а потом и подал... Было что-то уже вроде заговора. Взять русского, он бы, казалось, не сладил. О русском не было тогда и речи. Внимание правительства сосредоточилось на одном польском аристократе из самых крупных, поставленном разными обстоятельствами отдельно от всех и уже довольно давно искавшем в русских. Это был маркиз Александр Велепольский.

Этому лицу, до сих пор не совсем выясненному событиями, о коем судят вкрявь и вкось и как придется, выпала на долю видная и серьезная роль в польском восстании; потому мы считаем нелишним обрисовать его читателю со всех сторон, какие только нам известны, коснувшись не сколько и его родословной.

В половине XVI столетия был полоцким, а позже краковским епископом некто Петр Мышковский, князь Северский, известный по своему высокому уму и любви к наукам и искусствам, который оставил племянникам, Сигизмунду и Петру Мышковским, огромное наследство, заключавшееся в капиталах на сумму, тогда весьма большую, 8 миллионов золотых¹ и в имениях: Хробеж, Пинчов, Ксенж и Мирон — в Краковском воеводстве; Орышов и Шиманов — в Мазовецком; Вепрж — в Силезии — и еще кое-каких мелких деревнях в разных пунктах Польши.

Через пять лет по смерти дяди (1596) Сигизмунд Мышковский получил от папы Климента VIII марграфское досто-

¹ Один миллион двести тысяч рублей.

инство, а князь Мантуанский, Викентий Гонзага, передал ему свой герб и титул.

Новый маркграф, иначе маркиз, основал совокупно с братом своим Петром в 1601 году одну из шести польских ординаций, известную под именем «ординации Мышковских»¹.

В конце XVII века один из Мышковских оставил дочь (которая вышла замуж за некоего Иордана) и внучку по сыну, которого пережил. Эта внучка была выдана за Велепольского.

Иордан и Велепольский затеяли процесс из-за Мышковской ординации. После многих схваток в судах и в поле (тогда уже входили в моду так называемые наезды, вроде того, что описан Мицкевичем в поэме «Пан Тадеуш») Велепольский, чуть ли не пращур нашего, одержал верх: Мышковская ординация с титулом маркиза перешла в эту фамилию.

Во дни Станислава-Августа маркиз Иосиф Велепольский, женатый на сестре великого маршала Белинского, выхлопотал себе при помощи последнего позволение у австрийского правительства продать часть маркграфства. Король Саксонский, герцог Варшавский Фридрих-Август, позже подтвердил это. Таким образом ординация Мышковских распалась на две половины: одну из них, оцененную в 20 миллионов злотых, приобрел некто Иоанн Ольрих, меценас Варшавского суда, за 8 миллионов злотых, из коих 6 пошло на уплату долгов, а 2 назначено в приданое маркграфини Христины, единственной дочери выше-

¹ Остальные пять ординаций бывшего Польского королевства суть следующие: 1) ординация Замойских на Замостье и Щебржешине (1589); 2) князей Радзивиллов — на Ольке и Несвиже (1589); 3) Острогских на Остроге (1609); 4) Сулковских на Радзыне (1775) и 5) Клецкая и Давидгородская — князя Льва Радзивилла. Земли этих ординаций составили бы ныне, если б существовали в первоначальном виде (говорит Крыжановский, автор сочинения *Dawna Polska*), почти половину теперешнего Царства Польского. В настоящее время в Польше находятся только три ординации: Замойских, Красинских и Радзивилловская. Русских майоратов в Царстве около 200.

упомянутого Иосифа Велепольского, вышедшей замуж за некоего Бонтани.

Из оставшейся части, ценимой в 12 миллион злотых, образована новая ординация на Мышкове, которая досталась в наследство двоюродному брату Иосифа Велепольского, также Иосифу¹.

Это был отец маркиза Александра.

Родители не щадили ничего, чтобы дать сыну, единственному в роду, столь возможно полнейшее классическое образование. Его учили всему: разным языкам, древним и новым; истории, географии, в самом обширном смысле и, как уверяют иные, даже юридическим наукам, якобы с тем, чтобы он, достигнув зрелого возраста, сумел восстановить свой Мышковский майорат в том виде, как он был устроен знаменитым предком его, Сигизмундом Мышковским, великим коронным маршалом короля Сигизмунда III.

Об этом цельном майорате стал действительно очень рано слышать молодой маркиз. Очень рано снилась ему возможность сделаться обладателем всех тех земель, где пышно маркграфствовали его предки. Громкие имена этих предков, как по мужескому, так и по женскому колену, *po męszczy i po kadzieli*², стали тоже ему очень рано знакомы, пуще «Отче наш» и «Верую», особенно имя Петра на Мирове Мышковского, который гремел по всей Польше еще в XVI веке, в счастливые дни Сигизмунда-Августа и Стефана Ватория, как ученый и высоких талантов муж, чья слава достигла и до чужих краев, о ком упоминает в своих бессмертных песнях сам князь польских певцов Кохановский.

Затвердил он не менее того, что местечко Пинчов, где жили Велепольские, называлось, еще при Олесницких Польскими Афинами³. Все это он затвердил и воображал,

¹ Брошюра «*Margrabia Alexander Wielopolski*», Paryż, 1861.

² По мечу и веретену.

³ Для образованного поляка сказать: «еще при Олесницких» — довольно, чтобы определить эпоху. Олесницкие жили в начале XVI столетия. Один из них был примасом, и он-то, собственно, прославил эту фамилию.

что в Польше нет других таких магнатов, как они и их род. Такие понятия, пышная, истинно аристократическая обстановка жизни, эти княжеские приемы, звонки, швейцары, доклады, гербы, куда ни сунься; это мелкое шляхетство, а иногда и не очень мелкое, падавшее до ног на огромном пространстве вокруг; баловство и нежность родителей, не чаявших, что называется, в сыне и души, родителей гордых и важных: все это имело сильное влияние на молодого Велепольского. Он вырос надменным, холодным аристократом с ухватками феодальных времен. Его высокомерие не знало границ. Он только и думал о том, как бы выставиться ярче, грандиознее, забрать в свои руки все, решительно все, везде и во всем первенствовать. По образованию, которое было окончено в Берлинском университете, ему действительно не представлялось соперников в гуляющей, кутящей с юных лет аристократии Польши. Но по значению, по богатству был соперник, и не один. Прежде всего стояли поперек горла Замойские, с их необъятными имениями. Один Замойский, как уже известно читателям, был владелец ординации, самой древней в Польше, ординации, не знавшей потрясений и захватывавшей чуть не целый уезд. Было чему позавидовать! Предок этого Замойского даже пустил в ход самое слово «ординация», начав им свое «завещание» относительно земель, полученных их родом от короля Владислава Локетка.

Бог ведает, с каких пор столкнулись между собой эти два туза Польши, Замойские и Велепольские, и образовалось две партии, питавшие друг к другу родовое, наследственное нерасположение. Мы употребляем самое мягкое слово. А что собственно кипело и клокотало в груди тех и других, при их взаимных встречах, этого не выскажешь никаким словом. Это становится понятно без всяких слов только тогда, когда немного поживешь в Польше и взглядишься в быт поляков, в эти соприкосновения партий.

Конечно, значительные средства играют важную роль в жизни. Ставши как следует на ноги, маркиз Александр Велепольский бросился восстанавливать свой разрушен-

ный разными историческими обстоятельствами майорат; бросился ретиво, горячо. Сил было очень много — самых свежих, необыкновенных сил. Надо было куда-нибудь их девать, тратить; а другой деятельности не представлялось.

Права свои на целост майората маркиз основывал на том, что продажа половины была совершена незаконно, при помощи кривых путей и интриг.

Другая сторона, владевшая отошедшей частью ординации Мышковских, утверждала, что продажа совершилась правильно: ибо в то время действовал в стране кодекс Наполеона, не допускающий ординаций или майоратов.

Марк Александр проиграл первый процесс в уездном городе Кельцах. Это было в двадцатых годах текущего столетия. Но так как маркиз принадлежал к личностям, которые не смущаются от встречаемых препятствий, напротив, приобретают новую энергию и силу, подобно тому, как ядро, катившееся тихо, ударясь о камень, подпрыгивает и опять летит, и ревет, и разрушает все по дороге: маркиз перенес процесс в Варшавский кассационный суд.

Странное дело: уже в это время образовалось в массе какое-то раздражение против маркиза, кажется, ничего особенного не сделавшего никому, даже мало известного. Но существуют люди, которых не любят с пелен; так точно, как существуют другие, которых все любят, так вот, ни с того ни с сего, а любят. Маркиза не любили. И он не только не думал о том, как бы исправить это, установить лучшие отношения к обществу, — он, что ни дальше, облакался пуще броней необщительности и презрения ко всему окружающему, пуще морозил взглядом и приемами всех, кто хотя мало приближался к этим арктическим странам, где, кроме выюг и вековых льдов, никогда ничего не видали.

Уже его называли сутягой и крючком, и где же? — в земле сутяг, где всякая муха знает-перезнает, каким образом заводится тяжба и что такое за чин реент; где всякий, разговаривая с вами, так и смотрит, чтоб вы его как-нибудь не спроцессовали. Не два-три процесса, даже и не двадцать и не тридцать, веденные маркизом с разными лицами, а

что-то другое не прощали ему его соотечественники, и это другое лежало для него непереступаемым порогом во всю его жизнь, куда бы он ни шел, что бы ни предпринимал и как бы чист пред всеми, по-видимому, ни был... А нас это другое избавило от многих бед.

Зала Варшавского кассационного суда в последнее, заключительное заседание, когда дело тяжущихся сторон должно было решиться так или иначе, оделась (по свидетельству бывших там) каким-то гробовым сумраком; все притихли как в могиле, лишь только стал говорить маркиз, и показалось, что он выиграет. Ни звука, ни взгляда сочувствия! Напротив, когда повел речь его противник, приходившийся ему каким-то родственником, старик довольно преклонных лет, все оживились. Каждое обыкновенное слово производило выгодное для говорившего впечатление. Под конец старик, может быть, просто от слабости нервов, заплакал: это обстоятельство было его победой. Судьи и публика были потрясены неимоверно. Велепольский опять проиграл и хотел было перенести дело в Сенат, но что-то воспрепятствовало: кажется, беспокойное состояние края, минута, в которую более или менее было почувствовано всеми и каждым, что теперь надо отложить частные ссоры и процессы и начать процесс общий, крупный, такого рода, где все поляки должны представить одну тяжущуюся единицу, а правительство — другую. Маркиз Александр никогда не был прочь от таких процессов.

Грянул 1830 год. Когда альфа аристократического круга Польши, граф Андрей Замойский, был отправлен революционным правительством с известным уже читателю дипломатическим поручением в Вену¹, — омега того же кружка, противоположный полюс, маркиз Александр Велепольский поехал с таким же поручением в Лондон. Это случилось несколько поздно. Поручение не имело успеха по той простой причине, что мы — взяли Варшаву².

¹ См. выше, с. 138.

² В Париж отправлен был Валевский, который там и остался (тот самый, что впоследствии играл известную роль при Наполеоне III).

Не столько неосторожный, как его соперник, явившийся сейчас же после революции, как ни в чем не бывало, в варшавских салонах, — Велепольский перебрался из Лондона сперва в Дрезден, а потом в свое Радомское имение, где в тишине предавался наукам. Говорили даже, будто бы он употребил все меры, чтоб уничтожить следы ноты, поданной им Лондонскому кабинету. В самом деле, эта нота стала теперь очень редким экземпляром¹.

Тяжелая пышность приемов, совершенно городские порядки сельского палаца Велепольских и сорокаградусный мороз, окружавший особу хозяина, не слишком располагали соседей к посещениям. В палаце было очень тихо. Работать никто не мешал.

В числе избранных, без страха переступавших высокие пороги маркиза, был один его сосед, Константин Свидзинский, человек редкого ума и образования, посветивший всю свою жизнь на соби́рание отечественных древностей всякого рода. Велепольский называл его даже другом. Насколько это было искренно, бог знает. По крайней мере, немногие слыхали от Велепольского и так произносимое имя друга, как оно произносилось для Свидзинского.

На берегу Ни́ды, в виду бывших Польских Афин, друзья прислушивались со стесненным сердцем, как военная диктатура ломала кости недавним либеральным учреждениям края. Факт падения республики, располагавшей превосходной стотысячной армией и большими капиталами, владевшей всеми крепостями, был очень ярок и не мог не говорить умным людям, хотя и горячим, но белой, консервативной закваски, не мог не говорить им самым красноречивым образом о тщете всех будущих вооруженных сопротивлений. Если проигран такой бой, такой момент, какого уже не будет, — что же все другие, с мизерными армиями из косарей, сшитыми на живую нитку? Спокойное благоразумие

¹ Говорят, Велепольский был поставлен Паскевичем в списке лиц, которых он считал необходимым исключить из амнистии.

требовало иных приемов от польского патриота, ведение иного заговора, где всякая мысль о столкновении в ратном поле должна быть отвергнута как утопическая, безумная. Что такое выработалось из бесед друзей на берегу Нида и выработалось ли что, этого мы не знаем. Все, что может быть видно глазам историка сквозь туман минувшего, это усиленное собирание друзьями всего замечательного по части отечественных древностей, что могло влиять на воспитание народа и поддержку его духа в грядущем. Больше ничего нельзя было тогда делать и замышлять. Грозная фигура, в Георгиевской звезде, шагала и по тихим берегам Нида, заглядывая во все ущелья...

Собранное друзьями и их отцами они рассчитывали сложить в каком-нибудь безопасном пункте, куда бы ученые всей Польши могли впоследствии съезжаться для разных работ и бесед.

Бог весть какие разветвления принимала иногда эта мысль о «безопасном пункте для съездов и бесед ученых со всей Польши» — в головах друзей, разгоряченных подчас *струей, как жир густой*, и в чьих ушах еще рокотали трубы легионов...

Свидзинский, как «хозяин дела», ибо на его долю выпал лучший и богатейший сбор древностей, полагал основать такой приют наук в Кракове, тогда еще вольном городе¹. Галицийское восстание 1846 года перевернуло планы друзей. Да и вообще пятнадцать лет, прожитых после революции, влияли более или менее на ход мыслей обоих отшельников. Детские приемы восстания, диктаторская комедия, разыгранная Тисовским в Кракове, резня Шели, а с другой стороны неослабно идущий к своей цели фельдмаршал и победоносное, без всякой битвы, вступление наших войск в древнюю столицу Ягеллонов, когда австрийцы куда-то прятались: все это вместе произвело род революции в душе маркиза, а может быть и его друга Свидзинского. Маркиз стал в ряды русских и написал известную брошюру: *Lettre*

¹ Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiŭj, rok 1859, w Krakowie, s. 29.

d'un gentilhomme polonais au prince de Metternich, в которой расстается с австрийским правительством навсегда. Мысль «устроить пункт, где бы собирались ученые», переделывается у друзей в «восстановление маркграфства Велепольских, в виде центра Старопольщизны, где и соединить собранные сокровища».

Таким образом опять показался на сцене забытый было и задвинутый разными событиями цельный майорат.

В 1848 и 1849 годах, маркиз Александр — в русском военном стане. Он что-то советует графу Ридигигу... а в 1853 году, при открытии военных действий на Дунае, отдает старшего сына Сигизмунда в Смоленский уланский полк, правда, переполненный поляками¹, но все-таки отдает. Родня Велепольского, следуя примеру патрона, сделала то же: несколько Потоцких и Островских очутилось в разных высоких канцеляриях Варшавы.

Шумные годы, 1854-й и 1855-й, пронесли для Польши без всяких особенных результатов. Между поляками и русскими (как уже не раз было замечено) выработались в это время довольно приличные отношения, род слития, какое только возможно. Роковая необходимость зависимости, необходимость принимать молча то, что дают, что выхлопывается с помощью разных сил и ловкости, — чувствовалась как никогда каждым благоразумным поляком; и таких благоразумных поляков было тогда как-то более всего. Маркиз Александр еще придвинулся к России. Его голову, как и многие другие умеренные головы в Польше, занимал вопрос: каким образом, примирясь с этим слитием двух как бы не сливаемых элементов, повести дела так, чтобы в конечном, хотя бы и довольно отдаленном, результате все-таки спасти родную землю. Может статься, именно тут возникла у иных белых поляков мысль о Славянской

¹ В июне 1861 года в этом полку находилось на 6 эскадронных командиров 5 польского происхождения. Полковой командир, полковой адъютант и казначей тоже были поляки. Вообще на 17 офицеров польского происхождения было только семь человек русских и немцев (сообщено одним из офицеров полка).

федерации под управлением России, где последней на первых порах предоставлялась главная роль, роль полного хозяина; а потом разными искусными интригами хозяин спустился бы на степень гостя, как это бывает иногда на общих съездах поляков с русскими, обедах, пирушках и тому подобном¹, — и Россия очутилась бы только стражем обширных границ нового политического тела. Ей поручили бы черную, штыковую работу; а белая работа, направление нравственных сил федерации, науки, искусства, — все высшее лежало бы на ответственности самой образованной из всех славянских земель, к тому же прошедшей через горнило бедствий — Польши. В конце концов виделось всеобщее ополчение. Польша была бы спасена.

Такая мысль в нескольких белых той эпохи была, однако, не совсем оригинальной мыслью. Она была отражением известной стороны учения Демократического общества.

Еще в тридцатых годах демократы, между прочим, учили: «Как некогда призванием славян было защищать христианскую цивилизацию от всеунижающего прилива азиатского варварства, так и теперь те же самые славяне призваны: с одной стороны, привить приобретенную цивилизацию Запада, облагороженную силой и качествами их духа, к тому же варварскому Востоку, платя ему, таким образом, самым большим добром за самое большое зло; с другой стороны, славяне призваны возродить и оживить сказанными качествами своего духа старую, гниющую, обомлевшую и доведенную до крайней слабости вековыми своими трудами Западную Европу. Одним словом: славянскому племени суждено иметь историческую инициативу и руководить судьбами света в будущей жизни человечества. Натуральной, исторической главой этого нового, спасительного мира, по духу прошедшей, настоящей и будущей, своей миссии, есть Польша»².

¹ Один такой обед описан был в «Московских Ведомостях» 1855 года.

² Авейде. См. сверх того основные мысли манифеста Демократического общества, 1836 года.

Насколько Велепольский усвоил себе такие взгляды и усвоил ли, — это неизвестно. Известно только, что нечто подобное заключалось, между прочим, в принципах партии, к которой он принадлежал.

В конце 1855 года умер Свидзинский, оставя своему другу по духовному завещанию все благоприобретенное имущество: капиталы, книги, древности и даже самую ту деревню, где хранилась библиотека, с предоставлением ему права поместить все это для общего пользования публики, где заблагорассудит¹.

Велепольский, по разным соображениям, держал библиотеку Свидзинского и все к ней принадлежащее покамест в имении. Нерасположение к нему общества сейчас нашло возможным обвинить маркиза в нарушении духовного завещания, которого близко никто не видал. Кричали, что Свидзинский передал библиотеку Велепольскому с тем, чтобы она непременно была помещена в Варшаве. На беду, явились еще, как бы с того света, из эмиграции (в силу амнистии 1856 года) всеми забытые два брата Свидзинского и предъявили право на Сульгостов. Они опирались на так называемую в юридическом мире субституцию духовного завещания, на выражение «и потомкам его», которое по силе одной статьи Наполеонова кодекса лишало, в глазах крючков, духовное завещание всего его значения. Эти

¹ «§ 3. Вышеупомянутую сумму 36 100 рублей серебром, а равно и библиотеку, нумизматический кабинет, картины, рисунки, резные вещи, древние документы, рукописи и прочие библиографические и археологические редкости, оцененные мною выше в 30 000 рублей серебром, без малейшего исключения; также: имение мое в Царстве Польском Ключ Сульгостовский, состоящий ныне за мною в актуальном владении и оцененный по совести в 45 000 рублей серебром, отказываю и на вечные времена дарю (zapisuję i wiecześnie daruję) Александру сыну Иосифа, маркизу Мышковскому, графу Велепольскому и потомкам его в полное неограниченное владение; причем желанием моим есть и о том легатария моего убедительно прошу, чтобы он купил или построил соответствующий для помещения библиотеки и принадлежащих к ней редкостей дом, не то в завещанном ему от меня имении Сульгостове, не то в Варшаве, или где найдет удобнее и лучше для достижения моих целей».

(Выписка из духовного завещания Свидзинского.)

крючки, при помощи раздражения общества против маркиза, раздражения, которое росло с каждым часом, — повели процесс в Радоме так искусно, что маркиз проиграл, но, перенеся его тотчас в Варшаву, без всякого труда выиграл, так как дело было очень просто и чисто. Мы нарочно привели текст 3-го параграфа завещания в самом точном переводе, дабы читатель мог убедиться, как иногда бывают праздны и лицеприятны крики массы.

Выигрыш процесса породил новые обвинения против маркиза, дошедшие позже до того, что русские власти, желавшие Велепольскому успеха между поляками, чисто в русских правительственных интересах, присоветовали ему расстаться с библиотекой Свидзинского, передав ее какому-нибудь надежному по средствам магнату. Велепольский передал все графу Красинскому, в доме которого, в Варшаве, и помещаются теперь все редкости, собранные Свидзинским. Но и тут нашлись люди, говорившие, что маркиз лучшую часть все-таки оттягал у публики, оставя в своем имении, Пинчове...

Мы подошли таким образом к эпохе, с которой начали главу.

Велепольский стоял отдельно. Говорят, когда Земледельческое общество баллотировало его в члены, — он был будто забаллотирован; так говорят: нам не случилось проверить этого факта. Быть может, он при точном исследовании, окажется тем же, что и крики толпы по поводу процесса маркиза с братьями Свидзинскими. Но имеют несомненную, историческую силу и такие крики и говор. Они иной раз историчнее самой истории. И доньше Велепольский рисуется в воображении поляков и русских вовсе не тем, каким вывели бы его разные документы и бумаги; он рисуется, каким его нарисовала роковая кисть общественного мнения, вследствие таких обстоятельств и условий, которые не находятся в документах. Таким он выступил и действовал. Таким он нам нужен.

В деле подачи адреса он опять умел стать отдельно, да еще как отдельно!

Когда в минуту неслыханной сумятицы и замешательства, среди которых не то что князя Горчакова, но и многих весьма характерных и неслабых русских людей — просто-напросто всю Россию — обошел какой-то леший (ужасный, исторический леший, который давно странствует по свету и накуролесил на свой пай немало), когда в это непостижимое время пришла кому-то из высших правительственных лиц мысль поручить приведение хаоса в порядок польскому влиятельному магнату, — маркиз Велепольский, сам собой, почти без всяких указаний бросился в глаза, остановил на себе внимание наместника и лиц, к нему близких. Говорили, пожалуй, будто бы на него указала князю какая-то дама, соседка маркиза по имению. Запишем и этот анекдот в pendant ко всему остальному, что делалось тогда не по-мужски, а по-дамски...

Всем показалось, что ничего лучше, спасительнее и быть не может, как сделать соправителем наместнику этого гордого магната, забалотированного, нелюбимого своими соотечественниками, стало быть, естественно желающего отомстить и уже, конечно, неспособного никоим образом допустить торжество Замоиского с его Земледельческим обществом. Припомнили движение маркиза к русскому правительству в 1849 и 1853 годах. Юридическое образование его, иначе сказать, знание гражданской части управления, не подлежало никакому сомнению. Анекдотическая цифра: 70 процессов, будто бы веденных Велепольским, из которых он большую половину выиграл, — чего-нибудь да стоила. Необыкновенный ум маркиза, его начитанность, образованность были тоже всем известны. Что до его фигуры, и она говорила за себя немало: будущий соправитель наместника смотрелся бастионом, полным самыми солидными орудиями. Вся посадка была твердая, неподатливая, надежная. Когда он шел, нельзя было не посторониться. Из не очень больших глаз его, осененных густыми бровями, вроде навеса над крыльцом, не то (поэтичнее) черных, надвинувшихся туч, — сверкали молнии Зевеса; да и весь он, когда переставал походить на медведя,

походил на Юпитера. Фотограф Байер (мы можем сказать: исторический фотограф Байер) несколько позже уловил именно такую, Юпитеровскую мину, сняв Велепольского уже как начальника гражданского управления Польши, Rządu Cywilnego (как писалось по-польски) — в креслах, с орлом на спинке, хоть и не Олимпийским... Руке министра, стиснувшей крепко, характерно, ручку кресел, недостает пучка перунов.

Во время, нами изображаемое, в начале 1861 года, Байер (заметим в скобках) ни за что на свете не стал бы делать его портрета. Куда бы он годился, этот типический, популярный делегат, пустив тогда в ход такие запрещенные публикой черты!

Так, мы снова заносили руку на собственные интересы. Мы забывали прошедшее; повторяли то, чему никак бы, казалось, не должно повторяться. Мы забывали еще раз, что нет такого поляка, как бы он обставлен ни был, в каких бы условиях ни действовал, — нет такого поляка, который бы разрешил нам польский вопрос по-русски. Мы сами еще раз отточили на себя меч — и подали его новому Адаму Чарторыскому!

Минута была страшная, кто сумеет в нее взглядеться. По счастью, гений, хранящий Россию, те невидимые силы, которые как-то удивительно исправляют, потом всякие наши ошибки, наш сон, простодушие и прочее — эти силы не дремали.

Маркиз Велепольский, нося в себе яд, который мог действительно отравить надолго наше существование, носил в себе и кучу противоядий. Какие именно, мы увидим.

Нет ничего мудреного, если Горчаков, поговорив с Велепольским, — что называется, как бы меду напился. Маркиз давил в беседах, как мух, и не таких людей. Французский язык его был безукоризнен и блестящ, — если не безукоризненнее, то огнистее во сто раз языка Замойского.

Маркиза, для большого удобства совещаний с наместником, а частью и для личной его безопасности, поместили в Замке, где он, как говорят, довел простоту отношений к

наместнику очень скоро до того, что принимал его в халате и туфлях. Может быть, и это анекдот...

Русские генералы, кто знал секрет, пока еще не оглашенный, встречаясь с другими, не знавшими секрета, говорили: «Слава богу, согласился! но сказал, что не отступит ни на волос от своих убеждений, то есть что Польше должна быть дарована полная автономия».

После непродолжительных переговоров с наместником и другими высшими правительственными лицами края, причем рассматривались проекты первых насущных преобразований (учреждение муниципальных советов по выборам, учреждение Государственного совета из лиц польского происхождения, радикальная реформа школ), грозная фигура маркиза перенеслась в Петербург и произвела там очень выгодное для себя впечатление. Его разглядывали в разных высших салонах не без любопытства. Не мало было толков о том, что, являсь на выход ко двору, маркиз стал с дипломатическим корпусом, как бы чей посол или делегат. Ходил еще полубаснословный рассказ, будто бы маркиз на том же или другом выходе позволил себе сесть, и когда ему заметили, что «тут сидеть нельзя», он отвечал: «Это вам нельзя, потому что вы здесь у вашего императора, а я — у своего короля».

Вообще маркиз вел себя в Петербурге развязно и с достоинством. Относительно взглядов своих на польский вопрос он был довольно прям и бесцеремонен. Один из дипломатов спросил его: «А что вы думаете о Литве?» — «Я думаю, — отвечал Велепольский, — что это вопрос времени».

Вопрос о Литве не был для него, как для нас, вопросом давно и окончательно решенным: он был для него вопросом будущего!

Такой, по-видимому, знаменательный ответ, где для настоящего знатока дела этот человек обрисовывался весь с головы до ног и нечего было прибавить, «какой у тебя нос или губы», такой ответ и еще несколько подобных были пропущены мимо ушей, без всякого внимания. Никто не призадумался ни на минуту. Роковой исторический факт

совершался тихо. Общество глядело во все глаза и ничего не видало. Неслыханная апатия, убийственное равнодушие ко всему лежало тогда на всех наших пространствах. «*Московские Вегомости*» так обрисовывают это время: «...Не было никакой гласности, ничего похожего на печать, в европейском смысле этого слова; ни тени общественного мнения... Нигде не обнаруживалось никакого участия в делах, по вопросам, имеющим самое жизненное для России значение; никто ни о чем не ведал, никто ни о чем не имел определенного понятия и серьезного суждения»¹.

Так и тут: взоры скользили по массивной фигуре (и то весьма немногие), а «определенного понятия и серьезного суждения о ней никто не имел». Москва почти ничего не знала о том, что делал Петербург. Когда несколько позже явился в *заграничных иллюстрациях* и портрет маркиза, русская публика, можно сказать, все до единого, кто только просматривает, если не читает журналы, взглянула на этот портрет совершенно равнодушно и легко перевернула страницу, как перевернула ее потом, увидя физиономию малабарского короля и китайский город Пейхо... А стоила бы и очень стоила эта фигура (похожая на тяжелое артиллерийское орудие, готовое вскатиться на пригорок, чтобы стрелять), очень стоила эта фигура, чтобы мы к ней пригляделись внимательнее. Мы рекомендуем читателям отыскать в хламе недосмотренного ими прошедшего этот листок и взглянуть: нет сомнения, что они найдут указанное нами сходство.

Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье;
Но... Байер дал ему такое выраженье.

Чтобы обрисовать тогдашнее состояние Варшавы и Петербурга, как все были чем-то ошеломлены и до какой степени висело надо всем роковое облако, достаточно будет

¹ № 22. 1867 года.

рассказать следующий случай. Незадолго перед тем временем, о котором повествуется, приехал из Петербурга в Варшаву один полковник, флигель-адъютант: его поразило состояние города, эта беспрерывная манифестация, куда ни погляди; эти странные народные сенаторы; фотографии убитых, продаваемые открыто по всему краю тысячами; неслыханные, чисто революционные сборища в Купеческом клубе... Встретясь кое с кем из своих военных друзей, он сказал: «У вас, господа, революция, а вы не видите! В Петербурге не имеют ни малейшего понятия о том, что здесь творится». Друзья, услышавшие это, или молчали, по принятому тогда обыкновению, или улыбались.

Посмотрев еще на разные разности, полковник не счел возможным оставаться долее праздным зрителем таких беспорядков, грозивших потрясти обычный ход дел, — воротился в Петербург и доложил обо всем, что видел и что узнал. Одно высшее военное лицо призвало его и, сделав строгий выговор, велело отправиться вновь в Варшаву и сидеть смирно...

Видимо было, что правительство, отыскав Велепольского, думало, что вопрос решен довольно хорошо; что вот еще неделя, другая — и все пойдет как следует. Кто бы что ни говорил и ни замечал, всем был один ответ: «Погодите немного, все это скоро кончится: Делегации и хаосу ресурсы дни сочтены; все это, так сказать, дышит на ладан».

13 марта н. ст. наместник пригласил к себе архиепископа Фиалковского, графов Андрея Замойского и Владислава Малаховского; делегатов Кронеберга и Шленкера — и прочел им письмо государя императора, в котором говорилось о преобразованиях, ожидающих край. Наместник надеялся произвести на приглашенных самое выгодное впечатление. Не тут-то было. Эти белые были уже не белые. Замойский, не тот Замойский, который несколько месяцев тому назад в белом жилете и галстукке изображал в Замке надежнейшего консерватора, не тот Замойский, который утром 27 февраля требовал у правительства войск против своих же соотечественников, а Замойский, уже значительно протянувший

руку движению, у кого бывали кое-какие сборища, к кому заглядывала подчас и молодежь всякого свойства; этот Замайский сказал, что «для них, для партии умеренной, это все, что нужно, что они и того не ждали; но что противоположная сторона этим не удовлетворится».

На другой день, 14-го, получен был ответ государя императора на адрес, тоже в виде письма к наместнику и также сообщен нескольким влиятельным полякам.

«Я прочитал просьбу, которую вы мне прислали. Должен бы счесть ее за несуществующую, так как несколько человек, пользуясь беспорядками в улицах, взяли на себя самовольное право пренебрегать всеми распоряжениями правительства; но я не вижу в этом покамест ничего, кроме увлечения.

Я устремляю все мои мысли к изготовлению реформ, каких требуют время и развитие нужд государства. Подданные мои в Царстве составляют также предмет моих попечений. Все, что может упрочить их благосостояние, не находит и не найдет меня никогда равнодушным.

Я уже дал им доказательство того, что желаю сделать их соучастниками в предпринимаемых улучшениях и преобразованиях государства. Остаюсь ныне все в тех же намерениях и чувствах. Имею право рассчитывать на то, что таковые чувства встретят с их стороны полный ответ и не будут задержаны на пути желаниями чего-либо несвоевременного и неумеренного, чего бы я не мог им дать, не нанеся ущерба интересам моих подданных в империи. Исполню все мои обязанности. Ни в каком случае потакать беспорядкам не буду. На таком грунте строить ничего нельзя. Требования, которые захотели бы на них опереться, сами бы себя тем самым подкопали, уничтожили бы всякую доверенность и встретили бы с моей стороны суровый отпор, как нечто такое, что может совратить государство с правильного пути, к которому я хочу неуклонно следовать»¹.

¹ Напечатано в русских газетах, между прочим в «Московских Ведомостях», 1861, № 51, в особом прибавлении.

С прибытием этого ответа Делегация оканчивала свое существование. Это стояло в условиях ее учреждения. Само собой разумеется, белой партии и тем из красных, которые смотрели на дело умеренными глазами, хотелось, насколько возможно, продлить ее существование. В ее спорах, в ее торгах и переторжках с правительством, какими бы они кому ни казались, был все-таки толк и некоторая польза. Делегаты, так ли, не так ли, были действительным проводником многих мыслей общества в Замок, обыкновенно не очень доступный. Они заявляли о разных нуждах и потребностях города и края, и голос их бывал не раз услышан. Они освободили даже несколько арестантов, которым бы сидеть, может статься, долго в Цитадели и неизвестно куда выйти. Делегаты решительно сослужили отечеству службу, и не видеть этого мог лишь такой поляк, у которого на глазах была красная повязка, кто ничего не видел, чьи фантазии рвались за все границы. И потому все умеренное старалось охранить Делегацию от предстоящей опасности, предстательствовать за нее у наместника, насколько хватит сил; просить оставить это учреждение и на будущее время, хотя бы в измененной форме, в виде обыкновенных членов магистрата, пока дела придут в окончательный порядок.

Другая сторона, чисто красная, революционная, шумевшая по домам и в ресурсе, ничего не видала в Делегации, кроме чиновников, посаженных правительством, и требовала от них невозможного: учреждения манифестаций, постоянной борьбы с правительством, заявлений самых неслыханных и неестественных. Слышались нередко вопросы: «Кем делегация выбрана? Почему она величает себя народной? Если имеется в виду восстание, — зачем эти странные торги с правительством, констебли, которые иногда помогают правительству хватать агитаторов, иначе сказать, истинных слуг делу и отчизне?»

Были ораторы, которые вскакивали на столы, чтобы лучше быть услышанными; но их тут же зачастую стаскивали за ноги при общем хохоте всей залы.

Крики недовольных Делегацией в ресурсе доходили иногда до того, что делегаты высылали из среды своей кого-нибудь объясняться с публикой. Этот высылаемый большей частью лгал без всякой совести, чтобы только успокоить крикунов — хоть на тот вечер. Например, говорили, что часть членов Делегации находится на секретном совещании у наместника, обсуждая вместе с ним наиважнейшие вопросы: о результате узнают завтра. В другой раз говорили, что все идет как надо, беспокоиться нечего, заведены сношения с европейскими деятелями, средства готовятся...¹

По городу для успокоения красных был пущен, между прочим, слух, что «конституция уже пишется, что этим занят адвокат Август Тршетршевинский».

Так хитрили делегаты перед своими и правительством, чтобы только держаться день за день; так неверно было их положение.

Крайние безумцы, вроде шайки агитаторов Художественной школы, с Новаковским и Шаховским во главе, устав воевать с делегатами на словах, вознамерились было распорядиться с ними по-старопольски, как дельвал блаженной памяти Володкович² с членами трибуналов: разогнать палками. Так как ресурса была одно время предоставлена в полное ведение поляков, и они делали там что хотели, то, разумеется, всякое насилие с делегатами было возможно. Шаховский с кучей разного отчаянного народа, вооруженного палками, ворвался однажды туда и приступил к делегатам с угрозами, называя их прямо «изменниками» — *zdrajsami kraju*, — слово, которое легко срывается с языка всех поляков, чуть дойдет до патриотических объяснений. Делегаты были в опасности, но какой-то оратор

¹ Показания Ляндовского, Янчевского и других, а также частные рассказы знакомых автору поляков, бывших тогда в купеческой ресурсе.

² Исторический буян последних дней самостоятельной Польши, друг Радзивилла — Пане-Коханку. Шалости его и неповиновение властям достигли такой степени, что он был схвачен в Минске и расстрелян. Мицкевич вспоминает об нем в поэме «*Pan Tadeusz*» под именем Диндолета.

довольно резкого свойства спас их, поведя дело круто и тоже назвав нападающих изменниками.

После этой истории Делегация придумала *билеты* для входа в ресурсу и поставила у дверей несколько стражей из умеренных школьников, которые вели себя как следует и без билета никого не пропускали¹.

Тогда красные устроили ряд мелких манифестаций: разбитие стекол, кошачьи музыки, пение гимнов. Наместник, уже готовившийся покончить со всей этой комедией, выпустил 16 марта н. ст. такой приказ:

«С целью положить предел подстреканиям злоумышленников, собирающих партии для устройства манифестаций, в каком бы то ни было виде, так как манифестации сии неуместны и наносят вред общественному порядку: возбраняются отныне всякие сборища на площадях и на улицах, имеющие предметом устройство каких-либо манифестаций, а равно запрещаются и процессии, не установленные обрядами католической церкви.

Жители Варшавы! Послушайтесь моего предостережения; не принуждайте меня употребить прискорбные меры для водворения порядка вооруженной силой.

Вместе с сим полицейские власти обязуются сообщить таковое предостережение всем жителям города, дабы никто не мог отговариваться незнанием».

Делегаты, прочитав это, изумились и сочли себя оскорбленными в том смысле, что правительство огласило такой приказ, не войдя с ними в соглашение, не посоветовавшись.

На другой день, 17 марта н. ст., встретясь с генералом Паулуччи в ресурсе (куда он ходил иногда по приказанию наместника), они спросили его: что значит вчерашний приказ о сборищах, которых, собственно, нет и которые правительство силится вызвать провокативными мерами?

Сверх того было предложено еще несколько вопросов; в особенности делегаты выражали неудовольствие, что им не

¹ Показания Янковского.

было дано никаких объяснений на замечания, изложенные в протоколе от 7 марта.

Генерал объяснил, что не может дать на это никакого ответа в ресурсе¹, а просить господ делегатов пожаловать завтра в Ратушу, где будет сообщен устный или, пожалуй, письменный ответ.

Вечером того же дня вице-председатель Левинский получил от генерала Паулуччи такую записку.

«Любезный генерал!

Что касается вчерашнего приказа, честь имею уведомить вас, что его сиятельство наместник нашел нужным огласить оный, потому что до него дошли слухи о существовании в городе революционных агентов, которые стараются тревожить народ и правительство посредством манифестаций. Кроме того, многие из призванных к ответу после грустных событий 25 и 27 февраля уверяли князя, что им вовсе не известно о запрещении подобных манифестаций. Касательно же муниципальных учреждений его сиятельство выразился, что это дело уже совсем окончено».

Левинский прочел эту записку делегатам, собравшимся в Ратушу. Паулуччи был тут же. Они спросили у него: «Неужели тут все, что им хотят ответить на вопрос о приказе и на другие вопросы, ими предложенные еще 7 марта?»

Паулуччи отвечал, что *тут все*, что касается приказа от 16 марта; а завтра они получают объяснение по вопросу о судах над политическими преступниками.

В самом деле, 19 марта н. ст. им было сообщено что-то по этому поводу, но в какой форме, неизвестно: протокол этого заседания представляет дело явно искаженным, — в том виде, как делегатам хотелось показать его читающей протоколы публике.

В заключение заседания делегаты просили вновь сообщить наместнику протокол их от 13 марта, где высказаны замечания об управлении городом. Генерал обещал.

¹ Делегаты, с получения наместником второго письма от государя, не ходили на заседания в Ратушу.

Между тем мелкие манифестации продолжались; кое-кто из жителей получил анонимные письма, исполненные ругательств, и кроме того был распространен повсюду печатный *список подозрительных лиц*, которым народные власти советовали уезжать подобру-поздорову за границу.

Наместник приказал спросить у делегатов: кто это шалит? Они, конечно, знали кто; но отвечали, как и надо было предвидеть, что не знают, что принимали меры к отысканию виновных, но никого не найдено.

Более других умеренный редактор «Варшавского Курьера» Куч, имя которого несколько времени стояло в списке делегатов, боясь, чтобы все эти шалости не вызвали какого-либо сурового распоряжения со стороны правительства в минуту, когда оно действительно готовило реформы, решился поместить на своих столбцах увещательную статью, но возбудил ею почти всеобщее против себя негодование и насилиу поправил потом свою репутацию¹.

Из всех этих фактов, из городских манифестаций, из поведения делегатов ясно было настроение массы. Надеяться ни на кого было нельзя. Ввиду катастрофы, могущей быть при появлении на политической сцене маркиза Велепольского (прибывшего в Варшаву около 20 марта), из Петербурга вызван генерал с известным боевым именем. Варшава разделена на четыре военных *отдела*, с особым военным начальником в каждом.

1-м отделом (цыркула: 1-й, 2-й — до эспланады Цитадели и 11-й до Трембацкой и Беднарской улиц со включением Примасовского палаца, Театральной площади и Ратуши) — назначен заведовать генерал-лейтенант Хрулев.

2-м отделом (цыркула: 3-й, 4-й, 5-й и 6-й, со включением зданий и площади Банка, из 7-го цыркула) — генерал-лейтенант Веселицкий.

¹ Эту статью называли в публике *artykuł z krzyżem* (статья с крестом), потому что она имела в начале изображение креста.

3-м *отделом* (цыркула: 7-й, 10-й и 11-й, за исключением из 7-го и 11-го того, что отходило к 1-му и 2-му отделам) — генерал-лейтенант Мельников.

4-м *отделом* (цыркула: 8-й и 9-й) — генерал-адъютант Мерхелевич.

Сверх того, по распоряжению главного директора Комиссии внутренних дел разосланы ко всем гражданским губернаторам особые циркуляры о принятии чрезвычайных мер, как административных, так и полицейских.

Генерал-майор князь Бебутов, бывший командир Мусульманского полка, отправлен внутрь края, закрывать возникшие в разных пунктах провинциальные делегации.

Нечего говорить, что делегаты города Варшавы встревожились всем этим еще больше, нежели приказом наместника от 16 марта. Они высказали на заседаниях 20 и 21 марта н. ст. много разных замечаний своему председателю, но он их уже плохо слушал.

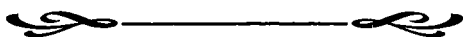
А 22-го наместник, пригласив к себе господ Левинского, Кронеберга, Шленкера и Розена, отблагодарил, в лице их, Делегацию за службу и объявил, что она, в том виде, как существовала до сих пор, существовать уже не будет, а заменится временным учреждением особого *отдела делегатов из восьми членов*, которые будут заседать при городском магистрате с теми самыми атрибутами, какими пользовалась Делегация из 24 членов.

Выслушав это, приглашенные отправились в ресурсу объявить товарищам волю наместника, а затем всем составом собрались в Ратуше, где написали проект, каким образом следует управлять в стране, которую они знают лучше, нежели русские. Это была как бы диктовка удаляющегося со сцены народного правительства новому правительству с Велепольским во главе: как оно должно себя вести, за какие порядки прежде всего ухватиться. Это был последний вздох умирающей Делегации. Имя Велепольского уже раздавалось всюду.

На другой день, 23 марта н. ст., Варшава прочла в разных газетах, что Делегация упраздняется, а на место быв-

шего Варшавского учебного округа и Духовного отдела при Комиссии внутренних дел учреждается Комиссия вероисповеданий и народного просвещения, где главным председательствующим директором будет граф Александр Велепольский, маркиз Гонзага Мышковский.

Глава шестая



Трудность положения Велепольского. — Заккрытие Земледельческого общества. — Манифестации у дома Кредитного общества и у дома графа Замойского. — Сборища народа у Замка. — Стрельба. — Начатки белой организации. — Смерть князя Горчакова.

Роль, взятая на себя Велепольским, была, конечно, из самых трудных, какие только разыгрывались когда-либо в свете. Он сам не мог сообразить на первых порах всей трудности своего нового положения. Самолюбию и честолюбию дано было столько пищи и торжества, что ничему другому не было, так сказать, уже и места.

В самом деле, превратиться в один миг из не служивших нигде помещиков в министры¹, в помощники наместника Царства Польского, и вместе с тем видеть вдали карьеру спасителя отечества в критическую минуту: какая голова при этом не закружится?

К тому же и некогда было думать, обдумывать и задумываться. Надо было сказать только: беру или не беру. Велепольский сказал первое, будучи ошеломлен предложением и вместе надеясь на свои силы. Подумай он немного, осмотришь, — ответ, может быть, вышел бы иной. Но думать и осматриваться не давали; было просто-напросто некогда.

¹ Мы употребляем иногда это выражение для краткости, вместо длинного «главный директор, председательствующий в такой-то комиссии»: это лицо для Польши совершенно то же, что у нас министр.

Картина нарисовалась как следует только тогда, когда министр уселся надлежащим образом в кресла и начал работать. Тут он увидел и невероятную глупость своих, и допотопные бюрократические приемы Петербурга, плохое знание Польши, лень и беспечность, писанье без конца — и чрезвычайно мало дела.

Реформы, обещанные Польше, состояли в следующем: «Независимое от центральных властей империи управление края, под ближайшим ведением монарха; учреждение Государственного совета, как законодательного собрания, из высших духовных и гражданских сановников, заседающих в нем по должности и из членов по назначению государя императора; муниципальное управление Варшавы и главнейших городов Царства; губернские и уездные советы из выборных членов, с председателем, назначаемым из среды их от правительства; преобразование школ высших и низших»¹.

С этим прибыл Велепольский из Петербурга совершенным русским чиновником, только с приемами польского аристократа, с той выдержкой и достоинством, которыми он обращал на себя внимание в нашей северной столице, как редкий, невиданный зверь.

27 марта н. с., в среду на Страстной, вступил он в должность и принимал в зале заседаний Варшавского учебного округа² чиновников своего ведомства, которым сказал следующую речь, держа в руках, по своему обычаю, маленькую бумажку с конспектом того, что произносил:

«Господа!

Приветствую в лице вашем сотрудников, приветствую чиновников не Варшавского учебного округа, а воссозданной Комиссии исповеданий и народного просвещения. Эта перемена означает еще более глубокую и существенную перемену вещей. Сим монарх возвращает нашему отечеству самое важнейшее для народа достояние: достояние веры

¹ Резюме протокола статс-секретариата по делам Царства Польского, от 14 (26) марта 1861 года.

² Ныне зала заседаний куратории Варшавского университета.

и просвещения. Настоящее собрание наше, как товарищей, есть первое осуществление реформ, милостиво нам гарантированных¹; а затем в нас и нами долженствующая совершиться перемена да будет основанием других спасительных улучшений: ибо к чему бы все это послужило, если б мы не старались образовать из молодого поколения людей, способных принять участие в таких серьезных преобразованиях?

«Труд наш тяжел и велик. Полнейшая реорганизация школ, восполнение отделов Главной школы, в течение столь долгого времени праздных, — это задача немалая. Чтобы содействовать успеху всего этого, подадим друг другу руки!»

Так умеренно и, можно сказать, ласково отнесся новый министр к представленным ему тотчас после его инсталляции² чиновникам. Он знал, конечно, кое-что за некоторыми из них, но начать дела намеками на это, вероятно, не хотел.

Совсем не так встретил он другую часть своего ведомства: польское духовенство, которого ждал к себе целую неделю и все это время кипел и обтачивал разные фразы.

Известно, что духовенство в Польше — весьма значительная сила. Приняв участие в манифестациях, оно помогало распространению в воздухе тех элементов, которые более всего мешали благополучному разрешению задачи, заданной министру правительством. Никким образом нельзя было отнестись равнодушно к этой симпатии и связям духовных с красной партией. Министр решил показать им сразу, что все видит и все знает. Только что прошедшая Страстная и начавшаяся Святая неделя были полны мелкими манифестациями, где намеки на тяжкие страдания,

¹ «Laskawie nam zapewnionych».

² Инсталляция — введение чиновника в должность, что происходит обыкновенно в какой-либо присутственной зале, перед портретом государя императора и зеркалом или распятием, заменяющим зеркало. Вышнему лицу предместник представляет при этом его подчиненных.

завершившиеся воскресением в позор и поношение врагам, играли главную роль, повторялись беспрестанно в речах ксендзов, печатались в газетах. Иные «артисты» по этой части нашли дерзкую возможность применить пять ран Господних к пяти недавним жертвам. Слово это печаталось курсивом¹. Велепольский мог все это видеть.

Выйдя с такой же бумажкой в руках к собравшемуся у него² 2 апреля н. ст. в той же самой зале духовенству, министр произнес:

«Достойный ксендз-епископ! Уважаемые прелаты и отцы!

В предстоящем здесь римско-католическом и униатском духовенстве приветствую ныне вестников мира!

Отверстую в народе пред нашими глазами пропасть всемогущая десница провидения начинает замыкать, и после дней скорби настает отрадная тишина, Бог даст и радость!

И кому же теперь, в самом деле, менее поводов роптать, как не духовенству? Вы чувствуете вместе с нами, а после долгих испытаний и лучше нас, как много благодетельствовал вас монарх, установив в крае особую власть для дел духовных и повелев сзывать отовсюду пастырей, по старому обычаю, в Совет Царства.

Римско-католической церкви надлежит все мое внимание. Памятовать мне об этом тем естественнее, что вера католическая есть моя и отцов моих вера. Но сие мое расположение я сумею пока обуздать и остановить³. Так, достойный ксендз-епископ, уважаемые прелаты и отцы! Я, представитель власти, заведующей исповеданиями соединенно с просвещением; я буду следовать только действительной и разумной терпимости, одного из величайших достояний нашего века.

¹ См. «Варшавский Курьер», 1861, № 78, 79, 83, 84 и 85.

² Были: епископ-суффраган Варшавской архиепархии Декерт, Капитула, Духовная академия и настоятели варшавских монастырей.

³ Lecz tę moją zyczliwyść polrafię utrzymać na wodzy.

Будучи членом правительства всемилостивейшего нашего монарха, я нигде, насколько могу, тем более в моем ведомстве, не допущу правительств в правительстве¹; от установленных правил уклоняться не позволю и готов охотно выслушать всякую жалобу на стеснение. Если она окажется справедливой, удовлетворю ей насколько имею власть, или представлю оную на высочайшее благоусмотрение.

Нужды костелов и духовных особ буду иметь в виду.

Полагаюсь на ваше благоразумие и умеренность; а вы, уважаемые господа, положитесь также и на мои добрые вам пожелания!»

Выслушавшие эту речь ксендзы были ею сильны озадачены. Они никак не ожидали такой встречи от своего нового начальника. Они думали, что он побоится выступить резко против силы, которую они изображают в крае. С той же самой минуты они начали помышлять о мести.

К вечеру все цирюльники, портные и сапожники Варшавы уже рассуждали, по разным огрудкам и бавариям, о речи Велепольского к духовенству, перебирали ее со всех сторон, снабжая теми комментариями, какие пришли от учителей.

Чаще всего слышалось: «Видишь, какая гордость! Он потому только помнит о католической вере, что она его и его отцов вера! А когда бы она не была его и его отцов вера?..» И это повторялось несколько лет кряду, даже повторяется иногда теперь.

Тогда же вышла в свет фотографическая карточка, где Велепольский изображен сидящим в креслах, с кулаком на столе, с грозно нахмуренными бровями и страшным гневом в очах. Посадка, взгляд были схвачены типически. Подпись внизу гласила: «Nie ścierpię rządów w rządzie!»

И эта фраза, столь простая и обыкновенная, облетела весь мир, подобно сломанному кресту и пяти жертвам. Так сумели распорядиться «артисты».

¹ «Rządów w rządzie».

Через два дня, 4 апреля н. ст., представлялось министру еврейское духовенство варшавских округов, комитет Главной синагоги и депутация евреев местечка Пинчова¹.

Знал он кое-что и об этих, но потому ли, что считал их менее опасными, или по другим каким соображениям (может быть, просто в пику своему духовенству) отнесся к ним самым милостивым образом, причем даже подал руку старшему раввину Майзельсу, популярному и ретивому представителю еврейско-польских интересов в городской Делегации после 27 февраля.

Выйдя к ним с такой же бумажкой, министр сказал:
«Господа!

Благодарю вас за оказанное мне доверие, которого новое лестное для меня свидетельство видел я вчера в газетах.

Искренно желаю, чтобы ваши стремления — устранить (само собой разумеется, путем строго легальным) различные касающиеся вас исключения — увенчались успехом; желаю этого, как начальник исповеданий, допускающий принцип здоровой терпимости, и как юрист.

Вам известно, что я ревнитель гражданских законов, которые в течение полувека служат звеном соединения между вашей народностью и европейской цивилизацией. Духу этого кодекса² чужды исключительные постановления и всякая исключительность пред правом гражданским. А потому не думайте, чтобы я разделял новорожденные теории тех, которые вам подадут там разные советы, ставя условием, чтобы вы перестали быть тем, чем вы, главнейшим образом, есть, то есть свернули бы с торгово-промышленного пути и, бросив соединенные с ним занятия, впряглись в плуг. Почтенно звание земледельца, и мне бы желалось, чтоб вы также приняли в нем некоторое участие. Я сам по ремеслу земледелец; но земледельцев, господа, было у нас всегда очень много, а недоставало нам постоянно так называемого

¹ Имение Велепольских.

² Кодекс Наполеона, принятый в Польше с 1806 года.

третьего, или среднего сословия, которого зародыш вложен в вас самим провидением и если не подвигается вперед, так это потому что не признан.

Приложим общие старания, чтобы этот зародыш ожил и развился»¹.

В этом — общественное ваше достоинство.

Это будет зависеть в значительной степени от вашей находчивости и проницательности; дай Бог, чтобы эти свойства, искони вас отличающие, стали нашим общим делом!»

Речь эта, столь различная от речи министра его родному духовенству, взорвала окончательно красных ксендзов. Весьма скоро после этого, в куче всяких ругательных анонимов, приходивших ежедневно, Велепольский получил письмо, яко бы от «всего католического духовенства Польши», от 4 апреля н. с. Вот что в нем писали:

«Господин директор!

Речь ваша к представлявшемуся вам 2 сего апреля католическому духовенству повергла всех в недоумение и наполнила сердца горестью. Все католические капланы Польши находят в ней угрозу, неизвестно чем вызванную, неуважение к званию, ничем не заслуженное, и считают неумолимой и священной обязанностью протестовать против всего, что в ней оскорбительно для нашей совести и унижительно для нашего достоинства.

Прежде всего на этой речи лежит отпечаток необыкновенной суровости, чего-то резкого и повелительного, к чему мы не привыкли и чего нисколько не заслужили, чего в объяснениях директора с представителями других испове-

¹ В этот раз, или немного позже, в беседе с Майзельсом, Велепольский спросил, как говорят (по-немецки): «Скажите, любезный Майзельс, отчего вы постоянно подаете левую руку?» — «Оттого, ваше сиятельство, что у нас нет правой» (Wir können nicht anders machen: wir haben doch keine *rechte*). Игра слов: «у нас нет *правой* и *прав* — Rechte». Впоследствии один из русских правителей сказал Майзельсу в шутовском разговоре, когда права евреев были значительно уравнены с прочими: «У вас теперь, кажется, *обе правые*».

даний не замечается вовсе. Далее слышались обвинения в нарушении нами установленных церковью правил, намеки на какие-то распри и столкновения с властью, которая предшествовала господину директору. Все это в речи громится страшно, и, может быть, это и так, господин директор; но эти нарушения установленных правил, это были горькие и тяжкие попытки устранить бедственные последствия тех правительственных распоряжений, коих целью была решительная деморализация и развращение нашего народа, в чем господин директор может убедиться, немного порывшись в архивах. А эти распри и столкновения — это была тридцатилетняя кровавая борьба с насилием, которое стремилось к тому, чтобы подавить в крае святую нашу веру и народность и слить нас с народом, чуждым для нас по религии, чувствам и просвещению. Такая борьба питает нашу гордость, приносит нам честь и вместе с тем укрепляет нас в твердости и выдержке до конца. Мы сомневаемся, чтобы господин директор, как поляк и как католик, ссылающийся на предков, тоже поляков и католиков, имел право порицать нас за такие действия, за такое нарушение правил и бросать в нас камнем.

Что же до того места речи, где господин директор не признает правительства в правительстве, мы его хорошо не понимаем. Значит ли это, что господин директор объявляет себя врагом тех народных самостоятельных заявлений, которые стремятся спасти нас от совершенного разложения, которые одни только ставят нас в возможность поднять и вести борьбу против всяких покушений на религию и народность нашу? Значит ли это, что господин директор, отвечая видам правительства, хотел бы преобразовать высшие духовные власти в чиновников своей канцелярии и нас в слепые орудия, покорные всемогущей воле правительства, в каком бы то ни было случае? Господин директор! Человек, бывший на вашем месте, имел касательно нас точно такие же намерения, но у него не достало смелости высказать это в лицо целому краю, в лицо всему образованному миру. Вы, господин директор, восполняете его в этом отношении и,

как поляк-католик, ввиду воскресающей отчизны, ввиду невысохших еще слез, текущей крови и незакрывшихся ран, после тридцатилетней борьбы за то, что нам дороже всего на свете, — грозите нам именем правительства всемилостивейшего государя исполнить то, чего предшественник ваш не мог. Такое поведение, конечно, согласно с видами правительства, но противно священнейшим интересам нашей отчизны, а равно и старым традициям нашего исторического развития, чего неестественно господину директору не чувствовать в глубине своей души.

На этом пути господин директор встретит такое же самое сопротивление и такую же готовность нарушать установленные правила, как и его предместник. С одной стороны, выступит господин директор как потомок древней польской фамилии, как католик и поляк, защищая правительственные стремления к централизации, дающей такие благие плоды в соседнем государстве; с другой — выступит польское духовенство, с именем Божиим — и начнется стародавняя борьба, которая не прекращалась, несмотря на неравенство сил, борьба за веру, совесть, права и свободу нашего народа. Победа в руке Божией. На его милосердие смиренно уповаем».

Это было, разумеется, произведение красных; но теми же красными пущен всюду слух для придания факту большей силы, будто бы это написал Декерт с несколькими духовными высших чинов, действуя от лица всего духовенства. За границей следили за всем, что делалось в нашей Польше, и когда нужно было, подхватывали иное происшествие, сообщали ему приличное освещение, трубили и шумели, как только было можно больше и дольше. Так нашла себе ретивых комментаторов и эта история с письмом духовенства к своему новому начальнику: Львовская газета «Голос» (Glos), № 93, не долго думая, напечатала прямо, что это письмо сочинил Декерт.

Когда прочли это в Варшаве, Велепольский приказал спросить Декерта официально, что значат все эти слухи и статья «Голоса»? Декерт отвечал, что он ничего не знает и

автором письма никогда не был. Его пригласили отречься печатно; он отрекся¹. Это, конечно, послужило только к еще большему усилению всяких праздных толков.

Среди такого шума начал свою административно-политическую деятельность Велепольский. Мы далеки от того, чтобы строго судить о том или другом тогдашнем шаге нового министра, обвинять его в излишней поспешности, раздражительности или бестактности относительно того или другого лица, не то котерии. Он был, пожалуй, и раздражителен, был и бестактен вообще; но виноват ли он во всех частных своих движениях за то бурное, кипучее время, которое мы описываем, — бог знает. Если б только могли себе представить с достаточной ясностью, как все тогда неслось, кипело и клокотало, как события рябили и пестрели перед глазами, как громоздились они друг на друга, как много совершалось в каждый миг, как много нужно было ежеминутно обдумывать всяких противоречивых вопросов! Вспомним при этом условия, в каких находился тогда новый деятель, искавший чуть не квадратуры круга: этот ливень анонимных писем, исполненных угроз и ругательств², косые взгляды русских и поляков, общее недоверие, борьба ежедневная, ежечасная. Надо быть нечеловеком, чтобы оставаться во все это время совершенно спокойным и не делать никаких ошибок.

Министр обдумывал с разными правительственными лицами Варшавы очень важный шаг: закрытие Земледельческого общества.

Еще прежде было замечено, что это общество выходит из круга предписанной ему деятельности и решает много таких вопросов, которые до него ничуть не относятся. Комитет общества играл уже давно роль отдельной, самостоятельной власти, *status in statu* — больше, чем духовные, которым намекнул на это в речи своей Велепольский. Президент общества, Замойский, раздавал уже какие-то

¹ «Варшавский Курьер» № 114, 1861 год.

² По поводу усилившихся злоупотреблений городской почтой, она была закрыта спустя несколько дней, именно 11 апреля н. ст.

медали, как маленький наместник. С развитием революционного движения в крае развилась и самостоятельность Земледельческого общества; особенно оно шагнуло вперед на этом пути после событий 27 февраля и подачи адреса государю императору. Немного оставалось, чтобы общество перешло в настоящую революционную организацию. Само собой разумеется, что при таких условиях не скоро бы мы дождались себе помощников, которые главнейшим образом должны были выделиться из этого же Земледельческого общества. Реформы, подготовленные правительством, имели значение для страны только в нормальном ее состоянии. А теперь все выступило из берегов, и поляки всех оттенков понимали очень хорошо, что даруемые учреждения, как бы они либеральны ни были, какая бы ни произошла подтасовка при выборах в разные советы, никак не будут сейчас же тем, чем уже есть Земледельческое общество, может, не совсем любимое иными кружками, тем не менее очень сильное, главная сила. Нужно время да и время, чтобы переделать все вновь полученное так, как следует тому быть; да и переделаешь ли — еще бог весть; может быть, только даром пропадет труд и правительство выиграет. Стало быть, для достижения нашей правительственной цели необходимо было устранить одно, чтобы явилось другое. Но тут опять возникал вопрос: образуется ли через это желаемая нормальная атмосфера? Устранятся ли все препятствия? Не прибавится ли их еще более? Не дальше ли еще станут от нас массы? И без того Велепольский стоял один, на юру, и никто не протягивал ему руки на помощь; если ж общество будет закрыто — этот факт все припишут интригам министра, его личной мести. «Общество его забаллотировало, — забаллотировал же его и он! И еще как ловко!» Вот что скажут. Но, что бы ни сказали, что бы ни случилось, дела в том положении, как были, оставаться не могли. Нужно было на что-либо решиться, рискнуть. Велепольский с наместником рискнули.

6 апреля н. с, в субботу на Святой, изумленная Варшава читала во всех газетах:

«По указу его императорско-царского величества и пр. и пр. Совет управления Царства.

Так как Земледельческое общество, учрежденное в Царстве Польском единственно для поддержки развития земледелия, в последнее время, уклонившись от своего устава, взяло не соответствующее настоящим обстоятельствам направление: посему, опираясь на полномочия, дарованные его императорско-царским величеством, Совет управления постановил:

1) Земледельческое общество, учрежденное указом от 12 (24) ноября 1857 года, ныне упраздняется.

2) Правительственная комиссия внутренних дел представит на высочайшее утверждение проект касательно устройства, в разных пунктах Царства, земледельческих собраний.

3) Остаток сумм Земледельческого общества должен быть перенесен в Польский банк, как депозит, для возвращения тем, кому что принадлежит.

Исполнение сего постановления, имеющего войти в Дневник законов, возлагается на Правительственную комиссию внутренних дел.

Подписали: Наместник, генерал-адъютант князь Горчаков; Испр. должность главного директора, председательствующего в Комиссии внутренних дел, генерал-майор Гецевич; Статс-секретарь в Совете управления И. Карницкий».

По прочтении этого город пришел в волнение.

Нельзя сказать, чтобы Земледельческое общество пользовалось большой популярностью и симпатией в крае. Всем было известно, как крупные землевладельцы, которых часть составляла комитет общества, глядят на самый важный вопрос, занимавший тогда все умы в империи, на освобождение крестьян, и как ими управляют. Было известно также, как большинство баричей проводит время, куда идут деньги, добываемые тяжким трудом селянина. Один граф Андрей был несколько популярен, вследствие простоты и любезности его обхождения со всяким человеком, большим и маленьким, и еще вследствие некоторых патрио-

тических его предприятий и жертв. Но и о нем говорили, что мужиками своими правит он чересчур по-старому и считает их не чем иным, как *быдлом*, не имеющим покамест прав на свободу и лучшее обращение. Известные читателю¹ переговоры красных с Земледельческим обществом, незадолго до событий 27 февраля, и постановление комитета общества относительно освобождения крестьян и надела их земель вскоре после этого дня еще более охладили к помещикам город, и без того уже соединившийся в чувствах своих с красными, то есть с противоположным элементом. Повредило им также в мнении толпы требование войск у правительства утром 27 февраля. Сколько ни хлопотал потом граф Андрей, граф Фома Потоцкий и прочие той же масти люди, чтобы восстановить свою популярность в массе, сколько ни делали глупостей и ребячеств, никто их не замечал, или замечал очень немного: павшая тень продолжала лежать и лежала вплоть до закрытия Земледельческого общества.

Тут вдруг об нем заговорили все до единого, как бы о павшем герое, полном сил и надежд, которого унесла за Коцит какая-нибудь проклятая бомба. Все заговорили о Земледельческом обществе. Граф Андрей стал опять популярен.

Красные не дремали. Еще бы они упустили такую драгоценную минуту для манифестации! На что же у них Новиковские, Шаховские, Франковские! Куда бы они годились, все эти забубенные ребята, если б не сумели чего-нибудь устроить, «для поднятия народного духа», по поводу такого крупного факта!

В ту же ночь, с 6 на 7 апреля н. с., обдуманы «артистами» главные подробности манифестации, которой мотивом, заглавием, должны быть «поминки по умершему Земледельческому обществу и поднесение председателю оногo, графу Андрею Замойскому, столько в нем подвизавшемуся на пользу общую, колоссального венка бессмертия».

¹ См. выше.

Хотя никаких объявлений об этой манифестации не было, но об ней так много говорили везде, что полиции ничего не значило получить самые точные обо всем сведения и предотвратить беспорядок. Однако ж этого не сделано. Что касается до новых начальников отделов, — из них никто и не пошевелился принять какие-либо меры, хотя бы просто-напросто переговорить с князем Горчаковым и убедить его отдать нужные приказы. Все знали все и приготавились смотреть на спектакль.

Манифестация состоялась в таком виде.

Утром 7 апреля н. с. вышли две процессии из костелов: Капуцинского, что на Медовой, и Бернардинского, на Краковском предместье. Бернардинской процессией управлял Новаковский, неся в руках крест, о котором говорили народу, что это «тот самый, сломанный 27 февраля».

Обе процессии потянулись на Повонзки, где незадолго перед тем красная партия собрала довольно много народу у могилы пяти жертв. Могилу эту украсили цветами и различными эмблемами с Польским орлом, пели народные гимны и потом, всей массой, отправились обратно, в город, неся в руках цветы и ветви.

Близ 4-го часа вся эта масса, увеличенная приставшими к ней в городе толпами, очутилась перед домом Кредитного общества на Ериванской улице, где было бюро Земледельческого общества (в наместниковском палаце оно только заседало). Всего народу сначала было, может статься, тысяч десять, но вскоре набралось еще столько же из разных улиц, преимущественно, как говорили, из Маршалковской. Эти новые принесли с собой также цветы и ветви и, кроме того, огромный венок с надписью: *Земледельческому обществу*. Дом Кредитного общества покрылся в некоторых местах цветами и гирляндами. Нашего орла занавесили черным крепом, а рядом с ним торжественно воздвигли белого Польского орла и образ Ченстоховской Божьей Матери, при громких криках «ура! виват!» и т. п., и пении гимна; «*Pod Twoją obronę*»¹. В заключение грянула: «*Jeszcze Polska nie zginęła!*»

¹ «Под твою милость, Владычице, прибегаем» (Гимн Богородице).

Словом, опять стали твориться чудеса, вроде февральских, и правительство, нисколько не научившись тогдашним горьким опытом, действовало опять точно так же, как в те минуты: массам не только дали свободно собраться и возрасти тысяч до двадцати с лишком, но и допустили их делать несколько часов кряду, что им угодно.

Князь Горчаков послал на место сборища генерал-губернатора Панютина уже тогда, когда массы народа покрывали решительно всю площадь перед домом Кредитного общества, часть Ериванской, Мазовецкой и Королевской улиц¹.

Панютин пользовался большой симпатией в городе: Горчакову вообразилось, что вследствие этого толпа его послушает и разойдется.

Панютин прибыл на место с казаком и легко пробрался к самому дому Кредитного общества; но казака его не пустили, говоря, что «пану генералу не нужен эскорт, потому что его все любят и ничего ему не сделают: да здравствует генерал!»

Такое начало, шутливый, фамильярный прием не предвещали ничего доброго. Можно было заранее предсказать власти, с которой так обходилась толпа, неизбежное фиаско в переговорах.

Очутившись перед домом Кредитного общества, где творились главные чудеса и где были все коноводы затеи, Панютин спросил мягким голосом: «Что вы тут делаете, дети мои?»

«Творим поминки по умершему Земледельческому Обществу», — отвечали ему.

«А эти гирлянды?»

«Это заупокойный дар на могилу, по обычаю отцов, от провинций: Мазовша, Волыни, Украины, Подола и Литвы».

«А этот орел?»

«Это Польский орел: пришли поляки творить поминки по умершему польскому обществу; стало, тут и нужен наш

¹ Все это пространство заключает в себе приблизительно до четырех тысяч квадратных сажень.

Польский орел: мы взяли вашего и занавесили, а на место его воздвигли нашего белого Польского орла».

«Все это, дети мои, называется беспорядком. Прошу вас как ваш друг, желающий вам всего лучшего: разойдитесь по домам, иначе навлекете на себя много неприятностей»¹.

«Ладно, мы разойдемся!» — сказала несколько голосов, и с этими словами часть народу действительно тронулась по Мазовецкой улице, потом по Свенто-Кршиской и заворотила по Новому Свету к дому графа ЗамоЙского, где теперь Русский клуб. Туда же направилось от Кредитного Общества и все остальное, лишь только Панютин уехал в Замок доложить князю о результатах своих переговоров с народом.

В передних рядах, стоявших у самого балкона, был виден тот громадный венок, о котором сказано выше.

ЗамоЙский был дома; но, несмотря на сильное удовольствие, которое он чувствовал при оглушительных криках толпы, наполнявшей скромный дворик скромного его палаца², не решился выйти на балкон, а послал секретаря своего Гарбинского³ поблагодарить прибывших за внимание и принять венок. Но толпа продолжала вызывать самого хозяина. Он вышел...

Когда это происходило, в Замке отдано приказание выдвинуть на площадь войска, приблизительно в том порядке и количестве, как это было 27 февраля.

В Замке со времени начавшихся беспорядков стоял всегда какой-нибудь батальон. Офицеры помещались в тронной зале, где и обедали. Две роты солдат занимали библиотеку и

¹ Составлено по разным печатным и письменным источникам и по рассказам частных лиц в Варшаве, поляков и русских, видевших эту манифестацию.

² Дом, где жил ЗамоЙский, невелик. Главный же дом с флигелями и огромным корпусом, внутри двора, отдавался обыкновенно в наймы и приносил графу, как говорят, около 30 тысяч рублей чистого дохода в год.

³ Был одно время редактором журнала «Roczniki gospodarskie» (Хозяйственные летописи), выходившего в числе 4 тысяч экземпляров (по числу членов Земледельческого общества.). Умер в ноябре 1866 года, в Варшаве.

залу над ней¹. Рота располагалась в оранжерее и, наконец, четвертая — по разным комнатам, где случится. Одно время солдаты занимали даже и залу с колоннами, где, как и во всех других, имели для спанья солому.

Такую службу в марте и апреле 1861 года несли поочередно первый и третий батальоны Костромского пехотного полка и один Симбирского.

Когда отдано было приказание занять площадь войсками, генерал Хрулев², в ведении которого состоял первый отдел города с Замком, построил развернутым фронтом, от угла Бернардинского костела к третьим воротам Замка, две роты бывшего тогда на очереди в покоях Замка первого батальона Костромского полка. Роту послал он по Сенаторской улице вследствие слухов, будто бы там начали скопляться массы; но она скоро воротилась, ничего не могли сделать: массы действительно стояли сплошной стеной. Четвертую роту генерал повел лично, Краковским предместьем, к дому Кредитного общества, где манифестация, как говорили, продолжается; но, придя к месту, Хрулев не нашел никого: белый орел был снят. Бродившие кругом небольшие кучи народу сказали генералу, что толпа двинулась к дому графа Замойского, для поднесения ему венка; Хрулев туда, но и там уже никого не было³: массы прошли к Замку и стали против войск. Между простыми обывателями, во всяких незатейливых костюмах, виднелось много хорошо одетых. Кое-где мелькали даже и дамы.

Князь Горчаков, давший, как известно, делегатам слово явиться на площади при первом скопище народа⁴, действительно пробрался в толпу, сквозь войска, около Съезда, в

¹ Библиотека помещалась в зале между танцевальной с колоннами и церковью.

² Прибыл в Варшаву 3 апреля н. ст. 1861 года.

³ Толпа разошлась с Хрулевым таким образом: он шел по Краковскому предместью и потом по Саксонской площади; толпа же в то самое время двигалась по Мазовецкой и Свенто-Кршиской, и были друг другу не видны. К дому Замойского Хрулев прошел тем же путем, как и толпа, то есть улицами Мазовецкой и Свенто-Кршиской.

⁴ См. выше.

пальто и с хлыстиком в руках¹, и повторил несколько раз: «Rozchodźcie się! Rozchodźcie się!» («Расходитесь, расходитесь»). Но ему отвечали из толпы: «Niech książę idzie do domu, my jesteśmy w domu!» («Ступайте вы, князь, домой, мы дома!») Слышались фразы менее церемонные: «Wy rozchodźcie się, kapusniaki! Jdz, stary, do domu, bo zimno: kataru dostaniesz!» то есть «Вы расходитесь, капусташки! Шел бы, старый, домой, холодно: насморк схватишь!»²

Услыхав такие приветствия, наместник скрылся опять за рядами войск и послал к толпе своего начальника штаба, генерала Коцебу. Он въехал в массу верхом, сопровождаемый еще несколькими генералами и другими военными чинами. Каждый из них по-своему стал убеждать народ разойтись, но никто не двигался. Местами раздавались восклицания шутливым тоном: «Niech żyje jenerał!» («Да здравствует генерал!») Местами отпускались приветствия вроде тех, какие выслушал князь Горчаков. Иные молодые люди в рядах, ближайших к войскам, стоя от них на расстоянии какого-нибудь шага, а где и вплоть, вступали в разговоры с офицерами, в таком духе: «Скажите на милость, зачем вы тут стоите?» «Кажется, нам бы следовало спросить у вас об этом, — отвечали офицеры. — Мы бы не пришли, когда бы вас не ждали от Кредитного общества, где вы делали бог знает что». «Да вы уйдите, и мы уйдем!» — говорили опять из толпы. «Этого нельзя!» — возражали офицеры. «Ну, и нам нельзя!»

Были шалуны, предлагавшие солдатам сигар, и когда те отказывались брать, говоря, что им запрещено в строю курить, предлагавшие обращались к офицеру: «Ваше благородие! Позвольте бедному солдату покурить!»

Зрелище становилось час от часу невыносимее. Нужно было войскам все терпение русского человека и привычку

¹ Эти подробности и кое-что ниже — от офицера Костромского полка, бывшего тогда на площади, при первой роте. От него же и размещение батальона в Замке.

² Капустняк — бранное название русского солдата у польского простонародья. Кроме того, *kapusniak* значит *щи*.

повиноваться власти, чтоб выдержать эти сцены героически спокойно, не ринуться на дерзких и не наказывать их. Но, несмотря на то что солдаты стояли как вкопанные, по их лицам и стиснутым зубам можно было легко угадать, что в них происходило и что вышло бы, если б дать им волю, какие бы клочки полетели к небу от этих угощателей сигарами! И то кое-где слышался глухой, сдержанный ропот вроде начинающей разыгрываться бури.

Несколько белых, находившихся тут же на площади, предвидя печальный исход шутки, пробовали всячески увещевать братьев, чтоб они разошлись. Куда! Толпа поднимала их на смех! Явились более влиятельные делегаты, и они ничего не сделали. Массы стояли не трогаясь ничуть. Насмешки над войском и дерзости продолжались.

Необходимо было положить этому какой-нибудь конец.

Уверяют, что разные высшие чины убеждали князя Горчакова, сидевшего у окна с биноклем в руках, послать Хрулеву приказание: «Действовать оружием, а если нужно, то и стрелять!», и князь отправил с таким приказанием адъютанта своего Мейендорфа, но Хрулев сказал будто бы Мейендорфу: «Я и так справлюсь!» — и, въехав в толпу верхом, он начал с ней переговоры. Толпа будто бы объявила генералу, что «не двинется с места, пока не будут уведены с площади войска». «Ну, хорошо, — сказал Хрулев, — я поворочу налево кругом, смотрите ж, и вы поворачивайте!» Это было обещано, но лишь только войска тронулись, как в толпе раздались хохот и браво. Войскам приказано занять прежние места.

Между тем совершенно стемнело. Задние ряды отведены к Замку и, когда замечено, что толпа тоже стала редеть, уведены и остальные. На площади виднелись только казаки и небольшие кучи разного молодого народу, более всего так называемых лобузов, которые кричали, что не уйдут до тех пор, пока и казаки не будут уведены в Замок. Казаков увели. Тогда кричавшие, построясь в ряды, замаршировали в направлении к Саксонскому саду и всю дорогу распевали:

«Wygrana, wygrana!» («Победа, победа!»). Потом бродили по саду, по разным улицам, сбивали с прохожих цилиндрические шляпы (с этих пор началось неистовое преследование цилиндрических шляп). Всю ночь во многих пунктах города слышались восклицания: «Wygrana! wygrana!»

Замок, конечно, не спал. Говорят, наместник сделал выговор Хрулеву за неисполнение его приказа: «Стрелять, или вообще употребить силу оружия». Хрулев будто бы извинял себя особыми инструкциями, полученными им при отъезде из Петербурга: ему казалось необходимым испробовать всевозможные меры переговоров, и они испробованы; толпа, так ли, не так ли, удалась. Конечно, никто не мог поручиться, что она не соберется завтра. А потому большинство находившихся в Замке высших военных чинов советовало наместнику сделать все нужные приготовления к более решительным объяснениям с ней, чем то, что было доселе. Хрулев же и некоторые другие настаивали на том, чтобы выдать назавтра самое точное постановление, *когда* начальствующий войсками может стрелять, или вообще действовать оружием, дабы не оставалось с этой стороны ни малейших недоразумений и никто не мог подвергнуться потом ответственности понапрасну.

Вследствие таких настояний составлены тогда же, ночью, следующие правила, в форме постановления Совета управления:

«По указу его императорско-царского величества и пр. и пр.

Совет управления Царства,

взяв во внимание, что повторяющиеся многочисленные сборища нарушают общественное спокойствие и препятствуют свободному развитию учреждений, всемилостивейше Царству дарованных, постановил:

1) Всякого рода сборища и какие бы то ни было недозволенные правительством сходки, на улице или общественных путях, воспрещаются.

2) Если же произойдет сборище или какая-либо недозволенная правительством сходка, на улице или общественном

пути, президент, бургомистр, гминный войт, или правящие их должности, полицейский комиссар, либо иной чиновник, отправляется на место сборища.

Удар в барабан возвещает прибытие чиновника. Чиновник приглашает собравшихся разойтись. Если воззвание это осталось без последствия, чиновник повторяет оное еще два раза, приказывая перед каждым разом ударить в барабан.

Если сборище не разойдется и после третьего воззвания, то должна быть употреблена вооруженная сила¹.

Вооруженная сила может быть употреблена также и после первого или второго воззвания к народу, если б следующее затем воззвание оказалось почему-либо неудобно-исполнимым.

3) Каждый, кто, несмотря на сделанное воззвание, не удалится, будет арестован и послан в одну из крепостей, а потом отдан под суд.

4) Кто не удалится после первого воззвания, подвергается аресту от восьми до двадцати дней; кто не удалится после второго барабана, подвергается аресту в исправительном доме от трех до шести месяцев; кто не удалится после третьего барабана, подвергается аресту от шести месяцев до двух лет.

Если же кто-либо при сем окажет сопротивление вооруженной силе, будет заключен в одну из крепостей Царства от 3 до 5 лет.

5) Кто станет подговаривать других к неповиновению или сопротивлению, подвергается вдвое строжайшему наказанию против того, кто не подговаривал.

6) Всякое возбуждение к сборищам, воспрещаемым первой статьей, устное или посредством письменных либо печатных воззваний, наклеенных или раздаваемых, нака-

¹ Хрулев, как говорят, советовал поставить в этом месте слова «будут стрелять», но Горчаков и некоторые из ближайших к нему лиц были за первую фразу, и она осталась без изменения. Несколько позже, именно 29 июня ст. ст. 1861 года, Хрулев подал новому наместнику Сухозанету записку о том же, но ее тоже не приняли.

зывается арестом в исправительном доме, от 6 месяцев до 2 лет. Такому же аресту подвергается автор письменного воззвания, литографии или печатного листка. Разносящий, а равно и приклеивающий таковые воззвания подвергается аресту от 8 до 20 дней.

7) Если бы во время скопищ были учинены какие-либо преступления, таковые будут судимы по законам отдельно.

8) В случае часто повторяющихся сборищ или других беспорядков в какой-либо местности виновные в таковых будут заключаемы в крепость для произведения над ними надлежащих судебных следствий.

9) Исполнение настоящего постановления, имеющего войти в Дневник законов, поручается главным директорам, председательствующим в Комиссиях внутренних дел и юстиции»¹.

Кроме того, написано краткое воззвание к народу и передано полицейскому офицеру Ойжинскому, состоявшему на службе при Замке более 30 лет. Генерал Хрулев, который жил тогда в Замке, около гауптвахты, призвал к себе Ойжинского в ту же ночь, с 7 на 8 апреля н. ст., и дал ему устные инструкции, как вести себя завтра, если толпы соберутся, как выйти из Замка, на каком расстоянии стать от народа, что говорить².

С самого раннего утра, 8 апреля, полиция спешила распространить постановление Совета управления о сборищах. Его наклеивали на всех видных местах города и раздавали прохожим в руки, но мало кто обращал на него внимание. Город, можно сказать, был пьян от вчерашней

¹ Оглашено в газетах только 9 апреля н. ст. за датой 8 апреля (27 марта) 1861 года и подписью наместника и исполняющего должность главного директора, председательствующего в Комиссии юстиции, И. К. Воловского и статс-секретаря Карницкого. Раньше не могло быть оглашено, потому что 8 апреля газеты не выходили.

² Сведения от Ойжинского, который и ныне состоит в той же должности при Замке, находясь преимущественно перед аркой первых ворот, подле коих имеет и квартиру. Без его ведома ни одно лицо не может пройти в Замок.

победы. У всех в уме и на языке были гирлянды, Польский орел и поворачивающие налево кругом войска.

Остаток ночных ватаг бродил по улицам прежде, чем какое-либо оглашение стало известно. Дабы эти кучи как-нибудь не разошлись, коноводы манифестационной партии, собиравшиеся во что бы то ни стало устроить повторение вчерашнего спектакля, направили их на Повонзки с погребальной процессией: в тот день хоронили воротившегося из Сибири помещика Ксаверия Стобницкого¹. При беспорядочном и праздном настроении города к этой процессии пристало сейчас множество всякого народа, бросившего обыкновенные свои занятия и неопределенно шатавшегося по улицам. Когда погребение окончилось, вся толпа зашла, как водится, на могилу пяти жертв.

В то же самое время еврейская молодежь, руководимая своими наставниками, находившимися в постоянных сношениях с вождями польской красной партии, отправилась в значительном числе на свое кладбище, так называемый *керкут*, почтить память бывшего директора школы раввинов Эйзенбаума, который проповедовал соединение всех племен и предсказал евреям *слитие с поляками, запечатленное кровью*. Иные евреи считают его пророком.

Керкут находится недалеко от Повонзков: толпы молившихся там и там увидали друг друга, и произошло соединение при слезах и клятвах в братской любви и готовности на всякие жертвы².

После того вся масса жидов и поляков двинулась в город и стала слоняться по улицам, однако манифестации никакой не выходило.

Так прошло утро. Новаковский с приятелями, видя, что дело как бы разлаживается, толпы начинают явно скучать бессмысленным блужданием по городу и мало-помалу редуют, полиция их не трогает, стало не раздражает и не располагает к сопротивлению, — придумали собрать все,

¹ Wiadomosci z kraju, z lat 1861 — 1862. Lipsk, 1863. S. 9.

² Авейде II, 39 — 40.

что еще не разошлось, у статуи Богоматери на Краковском предместье и начать молиться. Не выйдет ли чего из этого? Не пошлет ли им польский бог чего-либо вдруг на выручку?

Когда подошедшие к статуе ратники Новаковского (конечно, поляки, без жидов) пали на колени и запели, что в подобных случаях тогда певалось, показалась от почты (которая оттуда в полутораэта с небольшим шагах) почтовая карета, ехавшая в Люблин. Польские почтари, правящие лошадьми, обыкновенно, трогаясь с места, играют что-нибудь на своем медном рожке, какой-нибудь краковяк, мазурку¹. Почтарь упомянутой кареты, по своему или чужому вдохновению, вздумал дернуть: «Jeszcze Polska nie zginęła!»

Едва карета поравнялась с молящимися у статуи, как все, что там было, ринулось к ней, крича «ура!», и проводило ее до Съезда, где с утра стояли в том же порядке войска: эскадрон жандармов, сотня кубанских казаков, 1-я и 2-я стрелковые роты Симбирского, 10-я, 11-я, 12-я линейные Костромского полков.

Толпы, дойдя до войска, остановились в некотором расстоянии, как накануне, и не трогались с места. К ним стал присоединяться народ из разных ближайших улиц. К 5,5 часам масса собравшихся таким образом людей заняла всю Замковую площадь, но стояла в совершенном безмолвии. Хорошо одетых было не так много. Местами замечались мрачные личности в нетрезвом виде. Дам было очень мало.

Полицейский офицер Ойжинский получил приказание выйти к толпе с двумя барабанщиками и одним офицером какого-то из полков, стоявших в Замке. Приблизясь на такое расстояние, чтобы стоявшие перед ним могли хорошо слышать его слова, он велел ударить в барабан и потом произнес:

¹ По крайней мере, так бывало прежде; нынче при выезде дилижансов почтарь играет один и тот же определенный мотив.

«Z mocy prawa i rozporządzen władzy, wzywam was, abyscie się rozeszli, gdyż po bezskutecznym trzechkrotnym wezwaniu rospędzeni zostaniecie siłą zbrojną»¹.

Толпа отвечала на это смехом, свистками и ругательствами. Многие грозились палками. Одна баба дошла до такого бесстыдства, что обернулась к войскам задом и подняла подол. Это было повторено ею три раза, при громком смехе и одобрительных жестах народа².

Через десять минут ударил второй барабан, и Ойжинский снова повторил толпе вышеприведенные слова. Результат был тот же: смех, свистки и угрожающее махание палками. Наконец ударил третий барабан, и Ойжинский в третий раз приглашал толпу разойтись, но также без всяких последствий.

Тогда он был отозван в Замок, и приказано полуэскадрону жандармов двинуться вперед рысью, действуя на толпу натиском лошадей.

Толпа частью отхлынула к тротуарам, частью вошла в улицы: Подвальную и Сенаторскую.

Жандармы остановились, разделенные от народа водосточными канавами. Иные из стоявших на тротуарах молодых людей махали перед глазами лошадей палками: лошади пугались, пятились, подымались на дыбы. Были и такие смельчаки, которые схватывали лошадей за поводья и, сильно рванув вниз, осаживали на колени, что возбуждало хохот и насмешки окружающих. Так прошло около получаса. Толпы между тем, видимо, прибывали со всех сторон. Скоро Краковское предместье, Подвальная, Сенаторская и Свенто-Янская улицы зачернели колышущимися массами. В Подвальной улице начали строить баррикаду из дружек.

¹ «В силу закона и распоряжений власти я приглашаю вас разойтись; если не исполните этого после троекратного воззвания, будете разогнаны вооруженной силой». Автор нашел эти слова напечатанными (по-польски) на узких полосках бумаги, в двух экземплярах, при одном из дел начальника 1-го отдела. Ойжинский помнит это до сих пор наизусть.

² Рассказано в официальных документах; ходили и частные слухи.

Конечно, нельзя было оставлять дела в таком положении. Генерал Хрулев приказал жандармам обнажить сабли и атаковать народ, стараясь, однако, наносить удары плашмя.

Первый жандармский взвод, стоявший перед Сенаторской и Подвальной улицами, произвел четыре атаки, а второй, стоявший вдоль тротуара, от Зигмунтовой колонны до Резлерова дома, на Краковском предместье, — две атаки, но почти без всякой пользы. Народ, разбежавшийся в начале атак, совокупился после них в улицах опять и стал бросать в жандармов и войска вырытыми из мостовой камнями, причем сильно ушиблено два офицера и девять рядовых. Немного позже ранено еще около 36 рядовых¹.

Тогда генерал Хрулев отвел жандармов в резерв, а на место их выдвинул вперед 10-ю линейную роту Костромского полка и 1-ю стрелковую Симбирского и приказал им зарядить ружья. Когда это было исполнено, офицеры подошли к толпе и еще раз пробовали убедить ее разойтись, говоря, что «с ней не шутят, что ружья заряжены боевыми патронами»; но все увещания их были напрасны.

Приказано испытать действие прикладами: толпы двинулись и кое-где даже очистили улицы совсем; но едва солдаты воротились на свои места, народ снова показался на прежних пунктах с теми же нахальными криками и бросанием камней.

После этого Хрулев подъехал к окну, у которого сидел наместник, и сказал: «Я велю стрелять!»

Горчаков кивнул головой...

Тогда были выведены вперед головные полувзводы от 1-й стрелковой роты Симбирского полка — против Подвальной улицы и от 10-й линейной Костромского — против Краковского предместья и дали по залпу.

¹ В то же время на Беднарской улице захвачены и жестоко избиты народом: казак Малахов и артельщик Федоров. Казак в тот же день умер. Все эти подробности относительно действия войск взяты преимущественно из «Дел начальника 1-го военного отдела города Варшавы с марта по август 1861 года».

Толпы бросились в боковые переулки и по дворам домов, но потом явились опять, осыпая войска ругательствами и спеша подобрать убитых и раненых.

Приказано выдвинуть вперед 12-ю роту Костромского полка — против Сенаторской улицы и 11-ю того же полка — против Пивной и Свенто-Янской.

Едва только они стали на места и зарядили ружья, как со стороны Бернардинского костела послышалось пение и показалась особая густая толпа, в виде процессии, предводительствуемая рослым человеком с крестом в руке: это был Новаковский. Наступила всеобщая тишина. Пение разливалось в воздухе очень явственно. «Сущие гугеноты!» — сказал кто-то подле Горчакова. Он отвечал: «Да!»

Гугеноты эти двигались в направлении к Замку, ближе и ближе. Новаковский выводил торжественно: «Святый Боже, святой крепкий...» Хрулев смотрел-смотрел на эту сцену и приказал солдатам схватить человека с крестом и препроводить в Замок.

Несколько солдат отделилось от передних рядов в ту же минуту. Новаковский, сообразив опасность, стал отчаянно защищаться крестом и весь его обломал об ружья¹; наконец взят пятерыми солдатами и отнесен на руках в Замок², так как идти не хотел, откуда отправлен в Новогеоргиевскую крепость. Во все время, когда его несли солдаты, он сильно барахтался, мотал головой и пел: «Святый Боже, святой крепкий».

Процессия, потеряв вождя, остановилась. Часть народу смешалась с толпами, находившимися прежде на Краковском предместье, а часть перебралась через проходной дом Резлера на Сенаторскую и Подвальную и там запела гимны, пав на колени.

¹ Можно заметить, что на этот раз, когда крест был действительно сломан, ничего из этого не сочинили, может быть, потому что это было бы излишним повторением или минута была не такая.

² Рассказывают, будто бы Новаковский, сдаваясь, передал крест какому-то молодому человеку, который держал его над головой до тех пор, пока не был пронзен казацкой пикой. Для большего эффекта прибавляется, что этот молодой человек был еврей (Авейде, II, 39). Но о действии казаков пиками не говорится ничего в наших официальных документах.

Испытав против всех этих сборищ всякие меры увещаний на словах, генерал Хрулев приказал войскам вторично открыть огонь.

Головные полувзводы 1-й стрелковой роты Симбирского и 10-й линейной Костромского полка дали каждый по два залпа вдоль Краковского предместья и Подвальной улицы; а полувзвод выдвинутой позже 12-й линейной Костромского полка дал, последовательно через каждые четверть часа, пять залпов вдоль Сенаторской улицы¹.

Потом пущено несколько выстрелов 2-ю стрелковой ротой Симбирского полка по улице Мариенштату, что направо от Съезда, где собралась куча жидов и страшно шумела.

Наконец 11-я рота Костромского полка дала залп по Пивной улице. Это были последние выстрелы. По Свенто-Янской не стреляли вовсе².

Генерал Хрулев, по приблизительном соображении числа убитых (двести человек с лишком), которых тут же собрали и снесли на замковый двор солдаты, явился к наместнику отдать отчет в своих действиях и когда доложил ему, что «зарядов выпущено такими-то ротами столько-то, пало столько-то», князь Горчаков, по свойственному ему обыкновению уклоняться в решительные минуты от всего, что может вызвать неприятные последствия, пробормотал своим неразборчивым способом объясняться: «А разве стреляли не холостыми зарядами — кто приказал?»

¹ При этом после 1-го залпа командир 12-й роты капитан Кульчицкий, польского происхождения, вышел из фронта и сказался больным. Обязанность его принял на себя старший по нем офицер, а Кульчицкому велено было на другой день подать в отставку. Мы еще с ним встретимся.

² Вот сколько всего выпущено в тот день пуль:

1-я стрелковая рота Симбирского полка — 93 (два залпа);
2-я стрелковая рота Симбирского полка — 18 (один залп);
10-я линейная Костромского полка — 188 (два залпа);
11-я линейная Костромского полка — 35 (один залп);
12-я линейная Костромского полка — 150 (пять залпов).
Итого: 484 пули.

(«Дела начальника 1-го военного отдела города Варшавы с марта по август 1861 года».)

Хрулев вспыхнул и сказал резко: «Нет, ваше сиятельство, теперь вам отказываться и вилять поздно. Я могу сослаться на многих, здесь присутствующих... Притом стрелять в такие минуты холостыми зарядами могут разве только дети!»

Горчаков не отвечал ни слова¹.

Эта сцена необыкновенно хорошо его рисует. Таков он был во всем: приказывающий и отменяющий, приказывающий и забывающий приказание, умышленно или неумышленно, бог его ведает...

Спустя несколько минут Хрулев сказал все еще тем же взволнованным голосом: «Надо бы подать сигнал к тревоге: это бы окончательно успокоило город».

Едва ли бы слышать варшавянам эту тревогу, если б о ней напомнили Горчакову при другой обстановке. А тут он был разбит и сконфужен. Из глаз Хрулева летели искры, и губы его тряслись, когда он говорил. Плохо разглядывавший все на свете, князь Горчаков разглядел на тот раз душевное состояние Хрулева как следует. Знал он притом, по Севастополю, с кем имеет дело.

«Что ж, велите подать сигнал!» — проговорил он робко.

Шесть пушечных выстрелов грянули с Владимирского форта Цитадели, и звук их потряс замерший и как бы притаившийся в глубокой тишине город. Потом взвилось над Замком 12 ракет, и заурчало, и зашипело в воздухе.

Это был знак, по которому войска должны были занять заранее указанные им пункты.

Все эти дни войска находились в постоянной готовности, смотрели на Замок, прислушивались и ждали, точно какого спасения, этих шести выстрелов и двенадцати ракет.

Едва только определилось для них, что прогремевшие выстрелы — давно ожидаемая тревога, все понеслось как ураган.

Жандармский эскадрон, стоявший в Лазенках (4 версты от Замка) явился на Замковую площадь через четверть часа после первой ракеты.

¹ Автор слышал об этом от самого Хрулева и нескольких лиц, бывших тогда в Замке.

Батальон Олонецкого пехотного полка, находившийся в наместниковском дворце, стал на Саксонскую площадь прежде, чем кончились сигналы.

С той же невероятной быстротой явились на указанные им места и другие части войск, нигде не спутавшись¹.

Кто-то распорядился при этом осветить улицы усиленными огнями, пустив газовые рожки так, как еще никогда не пускали. Эффект несущейся во весь опор кавалерии, при блеске этих волшебных, невиданных огней, был самый необыкновенный. По замечанию очевидцев, многие из прохожих дрожали дрожкой. Все замерло в городе, как в гробу.

Ту же минуту отделены от собравшихся на разные пункты войск патрули и разосланы по улицам. Сверх того наряжены особые команды для разыскивания по домам, лавкам и монастырям раненых и убитых. Эти команды нашли в доме графа Андрея Замойского пять трупов, столько же в Европейской гостинице, около того же в монастыре Сакраменток, в кондитерской Белли, в доме Резлера и других. Жители выдавали их не споря. Везде виден был страх и готовность к повиновению.

Забавна и плачевна была в тот день роль Велепольского. Он явился на Замковой площади в карете с намерением, как говорили, пробраться в Замок и просить наместника о прекращении стрельбы; но толпа, увидя его, подняла такие угрожающие крики, что он, во избежание опасности, попал под защиту русских штыков. Карета министра, не доехавшая до Замка, была, по чьему-то распоряжению, окружена ротой Костромского полка до самой глубокой ночи, покамест город не пришел в совершенное спокойствие.

Этот факт ярко показывал будущему защитнику отечественных интересов, что если ему угодно их защищать при тех условиях, в каких все находилось, то он будет защищать их не иначе, как под охраной русских штыков.

¹ То есть каждая часть следовала теми самыми улицами, какими было заранее назначено, дабы не произошло столкновений отряда с отрядом.

И нам таинственный перст показывал этим самым фактом нашу ошибку. Но мы тогда ровно ничего не видали.

* * *

Войска, разложив костры, бивакировали на занятых ими пунктах, именно: на Замковой, Саксонской, Красинской и Александровской площадях; на площади в Наливках и у банка, где позже разбили палатки.

Кроме того, две роты расположены в саду наместниковского дворца, где жил с 28 марта н. ст. Велепольский; одна — во дворе Брюлевского дворца и две — в театре¹.

Первая ночь прошла, однако, для войск, занявших площади, в тревоге: красные агитаторы старались распространять по городу разные фальшивые слухи. Вдруг прибежал к иному отрядному начальнику солдат: «Ваше высокоблагородие! Поляки строят на Старом Месте баррикаду!.. Ваше высокоблагородие! Открыт склад оружия... пороху!..»

Начальники посылали справляться: нигде ничего не оказывалось.

Наконец утро, которое, как известно, мудренее вечера, озарило тихие улицы совсем другой Варшавы, чем она была накануне, — и все грезы, может быть, и тревожившие немало иных храбрых воинов, не слишком знакомых с Польшей и вообще с славянскими массаами, разлетелись.

Минута была хорошая: можно было, действуя последовательно и энергически, мерами, а не полумерами, в самое короткое время окончательно восстановить порядок. Обстоятельства нам, видимо, помогали. Вызывая против себя решительные распоряжения правительства, столкновение

¹ Эти две последние роты поставлены в театре немного раньше, после того как лобузы Козубского и Ячевского дали кошачий концерт директору театра Абрамовичу, когда-то обер-полицеймейстеру Варшавы, которого никто в городе не любил. О нем сохранился, между прочим, такой анекдот: призвав провинившегося, он будто бы начинал свои беседы с ним так: «Знаешь азбуку: А — Abramowicz; В — baty (позги); С — Cytadela; стало — запирайтесь нечего».

Войска заняли только Малый театр (Rosmaitosci), где и прекращены с тех пор представления.

войск с «безоружными» гражданами, манифестаторы надеялись умножить число наших врагов между жителями, между различными партиями; но вышло не то: чувство страха, сознание правительственной силы образумило очень многих, переделало кучи красных в белых, показало городу, что ребята идут не туда, куда следует, что держаться их опасно и бестолково, помогать им — еще более; это значило накликать на всех новую грозу. Многие из влиятельных коноводов красной и средней партий, как, например, Маевский и Юргенс, просто-напросто потеряли почву. Им не хотелось оставить своих, кому они, собственно, принадлежали душой и телом; но не хотелось также и делить с ними опасные дурачества, и вот они перебежали из лагеря в лагерь, не зная, где и на чем остановиться, где то дело, которое надо делать¹. Будь в это время у правительства в руках знамя; изменись хотя немного тот же Велепольский, уступи свои старошляхетские предрассудки, стань само правительство несколько не тем, чем оно было, перестань писать, а начни делать — победа явилась бы на нашей стороне очень скоро.

Но знамени для сбора нужных нам дружин под руками варшавских властей тогда не случилось; Велепольский измениться не умел и не мог; правительство только писало, а потому в самом непродолжительном времени все очутилось на прежних местах. Лошади, тронувшие было дружно и как следует варшавский правительственный экипаж, опять заступили в построики. Город увидел, что бояться нечего, что войска и пушки точно стоят на площадях, но все прочее осталось, как было. Опущенные головы красных приподнялись, и усы закрутились.

Велепольский принялся решать заданную ему задачу, что значило в ту минуту, при известных читателю условиях, толочь воду.

¹ «Все вместе, — говорит Авейде, — представляло в это время (начало лета 1861 года) грустную картину замешательства, путаницы понятий и стремлений». II, 151, 171. У Маевского находим то же самое. III, 25.

Власть его случайно усилилась. Подписавший незадолго перед тем ночное постановление Совета управления, главный директор Комиссии юстиции Воловский, возмущившись стрельбой, подал в отставку¹. Место его предложено занять Велепольскому.

10 апреля н. ст. к нему явились чиновники Комиссии юстиции.

Выйдя к ним с обыкновенной бумажкой в руках, Велепольский произнес:

«Господа!

Спасенный, к сожалению, в кровавой схватке и покрытый броней новых учреждений, общественный порядок хочу я ныне передать в ваши руки. Вашим делом будет уже позаботиться о сбережении в невозмутимой тишине и спокойствии этого сокровища, для всех нас равно драгоценного. Общественный порядок не выпрашивается со дня на день как милостыня: он должен опираться на себя сам, стоять неколебимо, быть во всякую минуту силен самим собой.

Если же порядок живет из милости на хлебах у само-волия, легкомыслия и крамол, тогда все гибнет в народе, иссякает источник энергии в гражданах, исчезает независимость мнений, умирает свобода мысли.

Вследствие высочайше даруемых нам учреждений нас ожидают важные труды: по причине упразднения Кодификационной комиссии, мы, а никто другой, должны заняться преобразованием и улучшением законодательства. В особенности предстоит много изменений в кодексе уголовном. Новые постановления о сборищах заключают в себе уже то улучшение, что присуждаемые ими наказания приводятся в исполнение здесь, в Польше, а не в ином каком-либо месте.

¹ Вскоре затем он был уличен в политической переписке с братом, находившимся в Париже, сослан на жительство в Россию и там умер. Он был собственно обер-прокурором IX департамента Правительства Сената, правил должность главного директора Комиссии юстиции всего пять дней, по увольнении г. Држевецкого. (См. «Варшавский Курьер», 1861, с. 88.)

Трудов этих, во всем их объеме, я не могу разделять с вами до конца: меня призывают к себе обязанности по другой части, для которой звеном соединения с вашей есть общее стремление образовать юридический факультет. Может быть, однако ж, я буду в силах во время нашего товарищества рассмотреть проекты и все приготовленное к улучшению законодательства и оное пополнить. Рассчитываю при этом на вашу помощь и опытность судей, прокуроров и адвокатов, которых знание и способности я имел уже случай заметить. Все же дело будет закончено моим прочным преемником, который, надеюсь, между вами.

Жизнь моя в руке божией. Но если б я при вашей помощи достиг хоть только того, чтобы, опираясь на преобразованные законы и права, укрепил бы и обеспечил общественный порядок, это первое условие всякого народного преуспевания на законодательном пути, я бы, смею думать, оставил по себе моим детям добрую память».

Затем Велепольский стал требовать у правительства сколь возможно скорейшего осуществления всех этих беспредостанно повторяемых обещаний, хоть чего-нибудь в подтверждение слов, им и другими то и дело произносимых. Но ничего не являлось. Прошел апрель, наступил май (по н. ст.) — реформ все не было. О них по-прежнему только говорили. В особенности странны были препирательства об этом варшавских властей с Часом и другими заграничными польскими органами¹. Наместник постоянно твердил о предстоящих выборах в городские и прочие советы и ждал от этой меры чудес, но выборы эти были еще далеко.

Конечно, в массе частных тогдашних распоряжений князь Горчаков виноват больше, чем кто-нибудь. Он прямо не годился для того места, которое занимал. Но в общем он и его помощники имеют несомненную долю извинения в той нерешительности и бесхарактерности, с какими велось тогда польское дело в Петербурге, откуда подавали Варшаве камертон.

¹ «Варшавский Курьер», 1861, № 121.

Таким образом, все белое и часть красных, готовых нам служить, видя непонятную мешкатность высших властей, как бы род недоверия к тому, что сами же они избрали и считали тогда за лучшее, — опять отшатнулись назад и стали строиться в новые ряды: сочинять каких-то мужей доверия (*meżów zaufania*) с целью положить этим начало народной организации. Это, однако же, у них не клеилось по причине отсутствия действительной энергии. Господа Маевские, стоя одной ногой здесь, а другой там, мало им помогали. Велепольский мог бы все это окончательно разбить и расстроить, даже тот Велепольский, каким он был в то время (обещающий и пока еще ничего не осуществивший из обещанного), сойдись он только искренно с Замоиским и его сторонниками. Но тут-то и воздвигались непреступаемым порогом, истинной Китайской стеной, те вековые польские предрассудки, та шляхетская гордыня и склонность иметь непременно свою партию, чего было так много у того и у этого. На другой, не польский лад перестроиться в этом отношении, хотя на миг, хотя бы временно, оба они не могли — не хватало сил.

Велепольский сидел у себя в наместниковском дворце, а потом с весны в Бельведерском и ждал визита от Замоиского, считая себя такой силой, которой рано или поздно должно уступить и поклониться все. Говорят, будто бы он даже сказал об эту пору, полушутя-полусерьезно: «Я слишком толст, чтобы броситься в объятие к Замоискому: он потоньше!»

Замоиский же, со своей стороны, чувствовал в жилах страшный холод, и вся внутренность его содрогалась при мысли, что он делает к Велепольскому первый шаг без всякого решительного движения оттуда. Сверх врожденных, так сказать, понятий о своем противнике и обо всем роде Велепольских, понятий, всосанных с материнским молоком; сверх природного нерасположения, которого не в силах был одолеть; сверх глубочайшего убеждения, что он как аристократ выше и значительнее, граф Андрей считал себя хозяином в Варшаве, а может, и в целом крае,

тогда как тот был гость, недавно к ним прибывший и мало кому хорошо известный¹. Стало быть, оставя все прочее (если только можно было это оставить), Велепольскому уже как гостю предстоял первый визит по всем человеческим правилам.

И граф ждал этого визита. И загорись тогда вселенная, если б ему сказали: «Тронься только первый к Велепольскому, и пожар потухнет!», — еще бог весть, встал ли бы он со своих покойных кресел и потушил ли бы пожар таким образом; скорее нашли бы его пепел на тех креслах, в которых он так крепко и упрямо сидел, дожидаясь визита противника.

Таково было положение вещей в двух белых лагерях: в маленьком лагере Велепольского (который, разумеется, имел несколько сторонников) и в большем лагере Замойского, когда правительство ожидало, что они вот-вот, не сегодня-завтра, соединятся.

В первой половине мая по н. ст. случилось незначительное происшествие, которое еще прибавило препятствий.

Велепольский, приезжая из Бельведерского дворца работать в Казимировский, в ту квартиру, которую занимает теперь попечитель Варшавского учебного округа, вздумал отгородить для своих прогулок часть сада, находящегося при этой квартире и других зданиях, рядом стоящих. Этим садом располагали до тех пор вполне воспитанники Главной школы, Реальной гимназии и Художественного класса, заведений, которые помещались в разных корпусах Казимировского дворца.

Как только ребята заметили какие-то работы в своих владениях, сейчас же собрались в кучу и давай кричать: «Что это! Вторгаться насильственно в наш сад! Ты не терпишь *rzadów w rządzie*, а мы *ogrodów w ogrodzie*!» И с этими словами бросились на рабочих, разогнали их, а заготовленные материалы: кирпич, известку и прочее — опрокинули под гору в пруд и подушили там рыбу.

¹ Просим читателей вспомнить события 1846 года.

Полиция, призванная восстановить порядок, вела себя двусмысленно: ссылаясь на недостаток сил, залегла просто-напросто в траве и спокойно смотрела на картину побоища¹.

Велепольский повел против мальчиков процесс. Испуганные родители поспешили поставить решетку, которая и стоит до сих пор. Но Велепольский уже не заглядывал более в Казимировский дворец, живя то в Бельведерском, то в наместниковском палаце. С 18 мая н. ст. он окончательно поселился в последнем.

Толкам и шуму об этой истории с решеткой не было конца. Само собой разумеется, что враждебных министру элементов через это прибавилось еще. Родители студентов, а за ними их знакомые и друзья, возмущались тем, что он думает будто бы упечь детей в Сибирь (такие были крики и опасения). Чиновники жаловались, что главный директор юстиции будто бы призывает их поминутно и деспотически внушает им, как должно смотреть на вверенное им дело. Иные до сей поры не могут говорить спокойно о своих беседах с министром по этому поводу. Что до студентов — эти просто кипели как котел.

Чтоб успокоить немного умы и сделать что-нибудь приятное для низших слоев населения, не забывая, однако же, и о высшем слое, правительство огласило 22 мая н. ст. указ «об уничтожении барщины (панщины)», но только не сейчас, а с 1 октября, то есть по уборке хлебов еще на том же крепостном положении, на каком они посеяны.

Такая мера, которой хотели задобрить два противоположных сословия вдруг, поймать одной собакой двух зайцев — не поймала ни одного. Выданное тогда же постановление об увеличении чинша, дабы вознаградить чем-либо помещиков, терявших даровые крестьянские силы, было той же ловлей двух зайцев одной собакой и еще более усиливало затруднения.

¹ Рассказ полицейского офицера, который командовал тогда кучкой полициантов, посланных унять шалунов.

Разумеется, в другое время все бы это уладилось и ввелось очень спокойно, все неясное разъяснилось бы само собой, и никакого чрезмерного ропоту бы не было; но тогда все струны были чересчур натянуты, и надлежало ударять по клавишам осторожно и верно.

Недремавшая красная партия ту же минуту отправила внутрь края расторопных агентов, чтобы они объяснили крестьянам коварство и фальшивые свойства русских властей, а помещиков убедили уступить хлопам излишек изобретенного их общим врагом чинша, ограничась пока, для пользы начатых дел, старым размером экономического оброка, освященного временем. Агенты эти работали сильно и не без успеха. Многие помещики отказались от нового чинша.

Для восстановления возможного порядка с этой стороны наместник счел необходимым издать отдельное истолкование указа 22 мая, а равно и нового постановления о чинше и отправил с этим во все губернии особых чиновников, которым поручено разъяснить крестьянам все возникшие недоразумения.

Но эти чиновники, принадлежа уже к той революционной организации, которая мало-помалу строилась в Варшаве и крае, вели себя так, как будто бы были посланы не правительством, а заговорщиками: они нисколько не успокоили народ, а вооружали его против нас еще более, толкуя, что «все кончится увеличенным чиншем, а свободы не будет никакой; что паны к октябрю все это переделают».

Мы уже начинали иметь дело с заговором.

По Варшаве между тем была пущена картинка, изображавшая Фарисея, который показывает Христу чиншевую монету. Картинка эта, отпечатанная в литографии Дзвонковского, продавалась во всех эстампных магазинах открыто, по два злота за штуку¹.

Кроме того, ходили по городу стихи Сырокомли «на закрытие Земледельческого общества». В тогдашнем хаосе и

¹ См. публикацию об ней в № 121 «Варшавского курьера» 1861 года, стр. 586.

колебании партий и этот поэт, демократ по крови и убеждениям, становился вдруг ратником тех, к кому никогда не лежала его душа; а в заключение пьесы, озаменованной его талантом, потому легко и жадно читавшейся, уже намекал на близость решительных встреч с оружием в руках. Он говорил, что, разогнав земледельцев, правительство как бы само напоминало полякам, что пришло время «перековать железные сохи и плуги на мечи».

Вследствие нового предписания обер-полицеймейстера «не ходить по улицам после 10 часов вечера без зажженного фонаря», явились фонари-монстры, на длинных шестах, с разными карикатурными изображениями. Это повело к такому множеству арестов, что не знали, куда девать арестованных.

А Велепольский повторял и повторял: «Дайте мне только в руки реформы, откройте выборы, и все это безобразие прекратится. Те, кто не идет к нам теперь, тогда бросятся стремглав. Немного погода дадите больше!»

Князь Горчаков, без того слабый здоровьем, смотря теперь на все, вокруг него происходившее, на разгоравшийся пожар, которого как бы умышленно не давали ему тушить, — занемог не на шутку, сделался до крайности подозрителен, недоверчив, так что не было никакой возможности говорить с ним о самых обыкновенных, нисколько не раздражающих предметах: он сейчас выходил из себя. Между тем разыгрывал роль здорового, всячески бодрился и не хотел слышать ни о каком успокоении.

Один из близких к нему генералов (если не сказать, самый близкий), с кем он провел душа в душу последние 7—8 лет; человек, имевший к нему доступ во всякое время дня и ночи, может быть, единственный из плебеев, которого князь не смел третировать аристократически свысока; человек, без которого наместник еще недавно не решал ни одного важного вопроса, — видя упадающие с минуты на минуту силы бывшего своего друга и понимая хорошо, что край не может оставаться с таким правителем, счел своей гражданской обязанностью написать обо всем в Петербург,

выразив мысль, что «все-де у них в Варшаве старо и ветхо, и люди, и система управления: все требует смены; события надвигаются тучей и грозят катастрофой».

Но дабы это письмо не походило на донос, написавший заблагорассудил показать его перед отправлением Горчакову. Горчаков прочел, по-видимому, совершенно спокойно, даже поправил одну ошибку против языка (письмо было по-русски) и сказал: «Пошлите, я ничего не имею против этого».

На самом деле было не так: он относился к этому факту не настолько спокойно, как хотел показать. Тот же курьер повез от него к тому же самому лицу письмо, где стояла между прочим такая фраза: «Видите, посреди каких интриг я должен действовать!»

Так письмо, написанное бывшим другом князя, может быть, в самых чистых намерениях, принято за интригу, которой исходной целью было будто бы, устранив Горчакова, сесть на его место. Так это утвердилось в умах очень многих людей; так говорили и до сих пор говорят в Варшаве.

История кончилась тем, что лицу, написавшему письмо, прислан одиннадцатимесячный отпуск в Россию и за границу, что равнялось, конечно, увольнению от службы, а князю Горчакову — совет: поправить свое здоровье поездкой на воды; даже, говорят, он получил формальный трехмесячный отпуск и стал собираться в Эмс, но все-таки твердил, что «едет только на месяц, а через месяц будет назад и откроет выборы».

Вдруг болезнь уложила его в постель, и он уже не встал. 27 мая н. ст. ему стало так дурно, что из Петербурга пришло предписание старшему по нем генералу Мерхелевичу принять на себя исправление обязанностей главноуправляющего гражданскими делами в Царстве Польском.

Генерал Мерхелевич, вступив в эту должность, выдал на другой день, 28 мая н. ст., такое воззвание к народу.

«Жители Варшавы!

По воле монарха я призван к управлению гражданской частью в Царстве Польском, на время болезни его сиятельства князя-наместника.

Извещая об этом жителей Варшавы, надеюсь, что сохранением спокойствия и повиновением властям они дадут мне возможность думать только об их благе.

В случае же возобновления беспорядков и соборщ я исполню с добросовестностью солдата постановления Совета управления от 27 марта (8 апреля), кои при сем оглашаю вновь.

Генерал-адъютант Мерхелевич».

Это воззвание и упомянутые в нем постановления наклеены были в разных местах, по стенам и тогда же кем-то сорваны. Полиция наклеила новые листы, и их скоро сорвали. Более уже не наклеивали, и никто не обращал внимания на этот беспорядок: всех занимала болезнь князя Горчакова, готовившегося перейти в вечность.

Грустно умирал старик, под конец всеми оставленный, при общих криках, будто бы он всему виной, хотя это было не совсем так...

29 мая н. ст., в полдень, потухли последние искры... Тело в течение десяти дней стояло в церкви Лазенковского дворца, а потом, вследствие не раз выраженного покойным желания лежать вместе со своими сподвижниками в Севастополе, отправлено туда с разрешения государя императора.

В 11 часов дня, 8 июня н. ст., катафалк в шесть лошадей, с гербами всех губерний Царства, двинулся к дебаркадеру Варшавско-Венской железной дороги¹.

Жители города спустили в это время в окна шторы. Чиновники, прибывшие на похороны по наряду, шли за гробом только до Нового Света, а потом рассеялись по улицам. Многие из них, следуя в процессии, курили сигары, но было, впрочем, несколько решившихся проводить гроб до конца. Уличная ребятежь освистала их, когда они стали возвращаться домой².

До границы за гробом ехало 40 человек 3-й роты Костромского полка и 6 линейных кубанских казаков. По-

¹ Большие подробности о похоронах князя Горчакова № 136 «Варшавского Курьера» за 1861 год.

² Дело Л. А. № 1.

следние проводили тело до самого Севастополя. Везде по станциям железной дороги находился почетный караул со знаменем. Народу собиралось довольно, но без выражения какого-либо чувства, в совершенном безмолвии.

На границе гроб принят австрийским караулом. При следовании тела через Вену назначен был там особый печальный церемониал, на котором присутствовал сам император. Затем гроб свезли на пароход.

Похороны в Севастополе происходили 19 июня н. ст.

Глава седьмая



*Назначение наместником военного министра
Сухозанета. — Проезд графа Ламберта через
Варшаву из-за границы. — Возобновление
манифестаций. — Первый подземный листок. —*

*Назначение наместником графа Ламберта, а
военным генерал-губернатором города Варшавы —
генерал-адъютанта Герштенцвейга. — Выборы. —
Борьба против них красной партии. — Городельская*

289

*манифестация. — Смерть архиепископа
Фиалковского. — Манифестация похорон. — Объявление
военного положения. — Панихида по Костюшке. —
Аресты в храмах. — Закрывание их по распоряжению
духовенства. — Последствия этого. — Смерть
Герштенцвейга. — Отъезд за границу графа Ламберта.*

В тот же самый день (28 мая н. ст. 1861), когда генерал Мерхелевич назначен был главноуправляющим гражданской частью в Царстве Польском (то есть еще при жизни князя Горчакова), назначен и преемник последнему: военный министр Николай Онуфриевич Сухозанет в звании исправляющего должность наместника.

Теперь еще не время описывать подробно обстоятельства, при которых последовало это назначение. Довольно сказать, что оно было весьма временное. Тогда же высматривали на это место человека более соответственных лет, образования и способностей. Так как охотников на шаткий

трон правителя Польши между самыми высшими лицами империи было немного или, точнее сказать, не было вовсе, то следовало искать слоем ниже: между молодыми генералами, в известных административных условиях, еще строившими свою карьеру или как-нибудь забытыми.

Внимание государя остановлено было на одном молодом генерале, жившем за границей, графе Карле Карловиче Ламберте.

Фамилия Ламбертов принадлежит к старой французской аристократии. Дед нашего *maréchal du camp* Людовика XVI командовал национальной гвардией Парижа. В революцию (1790) он должен был эмигрировать. Дети его, Карл и Иосиф, попали в Россию. Первый вступил в военную службу и был одним из храбрых генералов «вечной памяти двенадцатого года». Умирая в 1843 году, он оставил двоих сыновей¹, тоже Иосифа и Карла. Оба они пошли по следам отца: стали военными.

Граф Карл был ловкий, умный, с утонченными светскими манерами офицер. Особенной практической стороной его характера было то, что он умел всегда сохранять дружеские отношения со своими школьными товарищами, из которых иные пошли далеко и могли так или иначе влиять на его служебную карьеру.

Говорят, будто первоначальному возвышению графа Карла несколько способствовало следующее обстоятельство.

На всех смотрах войск, за разными отдельными частями: ротой, эскадроном, батальоном и полком — следуют обыкновенно, в церемониальном марше и других эволюциях, унтер-офицеры и офицеры, всегда видный и brave народ, — в кавалерии на лучших конях, которые идут в лансадах. Так по крайней мере было в то время. Это по-военному называется: идти, или ехать *в замке*, то есть замыкая известную часть, колонну². На одном из смотров гвардии,

¹ От брака с дочерью суворовского генерала Деева, с отличной храбростью действовавшего в Польше.

² Построение времен Фридриха II. Тогда люди, следовавшие в замке известных частей армии, имели назначение строго наблюдать за порядком

такая доля «проехать в Замке» своего полка (лейб-гвардии конного) выпала графу К. К. Ламберту. Он проехал как следует и был вскоре назначен флигель-адъютантом к его величеству (что было тогда уже карьерой). Так, по крайней мере, рассказывают.

В начале пятидесятых годов, будучи генерал-майором свиты его величества, граф Ламберт получил в командование полк, за которым так удачно проехал когда-то в Замке. Полк этот стоял тогда в местечке Мендзыржец Люблинской губернии — отсюда первое знакомство с Польшей.

В 1856 году конно-гвардейцы были потребованы в Москву на время коронации государя императора. Командир их произведен в генерал-лейтенанты, а потом вскоре назначен генерал-адъютантом и переведен в Петербург. Годом позже ему поручили заведование делами комиссии по упразднению южных военных поселений, по окончании занятий которой граф вернулся опять в Северную столицу.

Неловкое падение с дрожek на Большой Миллионной в 1860 году заставило графа Карла отправиться за границу для поправления своего здоровья. Он жил в Париже и следил не без любопытства за беспорядками в крае, несколько ему знакомом. Конечно, ему и во сне не снилось, что он вскоре будет призван укрощать эти беспорядки как главный начальник. Ему не снилось — его поискала судьба.

Один из школьных друзей графа, стоявший в то время очень высоко, вспомнил о старом товарище, когда стали перебирать имена генералов, более или менее способных занять почти упразднившееся место правителя Польши. Молодость, ум, происхождение, чрезвычайная мягкость и изящество приемов, наконец — некоторое знание Польши были выставлены на вид перед государем. Даже взято во внимание католическое вероисповедание графа: в этом усматривали путь к лучшему сближению с духовенством, —

в каждой части и были, сверх оружия, снабжены палками, которые, при случае, и употребляли в дело.

(как уже сказано) значительной силой, через которую можно действовать на массы.

Время летело необыкновенно быстро, события сменялись событиями; из-за польских, маскарадных, детских орлов выглядывали уже другие орлы, совсем не детские и не маскарадные; долго останавливаться над решением столь важного вопроса, как назначение наместника в Польшу, было нельзя. Лучше и соответственнее Ламберта на этот пост, по высшим взглядам, на ту пору никого не было. Его вызвали из Парижа как бы на место генерал-губернатора Варшавы; но в сущности, как думают многие, он был уже тогда наместник; только это хранилось в глубокой тайне.

По особенной игре случая граф Ламберт прибыл из Парижа в Варшаву, на пути в Петербург, в тот самый день (1 июня н. ст.), когда прибыл туда исправляющий должность наместника, военный министр Сухозанет. Судьбе, роковым силам истории угодно было, чтобы временный наместник сейчас же увидел в Варшаве лицо, которым хотели его заменить. Его временность, непродолжительность почувствовались ему еще ярче и резче, что заставило его более обдумывать каждый шаг, быть через меру осторожным и уступчивым, дабы не оставить за короткое время своего управления дурной памяти в крае, тяжелых, — сохрани Господи, — кровавых следов.

Между тем Ламберт в краткое свое пребывание в Варшаве (где прожил только пять дней) старался, насколько позволили обстоятельства, собрать поболее всяких сведений о положении дел в Царстве Польском, причем успел показать кое-кому из высших лиц телеграмму, которой был вызван на место генерал-губернатора; поклонился праху князя Горчакова, стоявшему в церкви Лазенковского дворца, и тут же сам принял два-три поклона неопределенного свойства (особенно низко поклонился, говорят, хитрый армянин Бебутов); наконец, испросивши себе телеграфической депешей позволение у государя императора, находившегося тогда в Москве, приехать прямо туда, — уехал.

С этой минуты он действует уже сколько через друзей, столько же, или еще и более, сам, пустив в ход все свои дипломитическо-служебные способности, всю светскую ловкость, так что некоторые говорили после, может быть и несправедливо, что он «сделал себя наместником сам, сообразив хорошо положение вещей¹».

* * *

Сухозанет стал править Польшей, смотря постоянно на двери, в которые должен был войти его прочный приемник. Вероятно поэтому он избегал подписи: исправляющий должность наместника и подписывался постоянно, по-прежнему: военный министр; иногда присоединял к этому: временно главнокомандующий 1-й армией.

Она начал с того, что приказал убрать со всех площадей палатки и увести войска в казармы.

Читатели видели выше, что еще в последние дни правления князя Горчакова красные, заметив новые колебания волн, двигавшихся как древние пилигримы, три шага вперед, а два назад, а иногда и четыре, позволили себе кое-какие беспорядки. В день смерти князя Горчакова, совпавший с первым днем праздника Пречистого Тела Господня (Vożego Ciała), лобузерия, под предводительством Козубских и Снегоцких, произвела смятение в процессии, шедшей из Свенто-Янского костела на Старое Место, к алтарям, какие обыкновенно строятся при этом на разных пунктах. Смятение было так велико, что многие духовные лица и сам архиепископ были сбиты с ног. Находившийся недалеко обер-полицеймейстер предложил для восстановления порядка воздвигнуть монстранцию (золотой сосуд в лучах, заключающий в себе Святые Дары). Это было исполнено; все пали на колени, воцарилась тишина, и шествие могло потом направиться далее.

¹ Ходили также слухи, что будто бы граф Ламберт принял наместничество неохотно.

Впрочем, это был частный беспорядок, шалость манифестаторов низшего разряда. Высшие красные чины сидели тогда спокойно. Уборка с площадей войск подняла на ноги и их. Вся красная партия целиком, от мала до велика в повстанской иерархии, стала по-прежнему думать только о манифестациях, ища повода, к чему бы придаться, чтоб их возобновить.

Повод найти было нетрудно: почти в один день с Горчаковым (29 мая н. ст.) умер в Париже старый вождь демократической партии польских эмигрантов, историк Иоахим Лелевель, имя которого известно каждому поляку и польке с малых лет. 1 июня н. ст. происходили в Париже его торжественные похороны; потом весть об этом принеслась в Варшаву. Варшава принялась в ту же минуту обдумывать ряд манифестационных панихид.

Первая панихида, в виде *balon d'essai*, была отслужена 7 июня н. ст. в костеле реформатов без всякой пышности и без особенных речей.

Вторую, настоящую, панихиду город намеревался отслужить на другой день, 8 июня, у святого Креста; но, узнав, что в этот день будет вывоз тела князя Горчакова, отложил ее на 10 июня н. ст.

А 8 июня отслужена все-таки панихида евреями в главной их синагоге на Даниловичевской улице, с участием многих поляков. Известный еврейский проповедник Ястров сказал речь на польском языке, в которой коснулся бесмертных заслуг покойного историка, как ученого мужа и вождя партии на чужбине, уподобив его Моисею в Египте и поставив в пример твердости и терпения. Настоящее время проповедник называл *мраком*, после коего должна возблистать *заря*.

Затем все стали готовиться к торжественной, от всего города, панихиде. Была собрана значительная сумма, причем даже ученики гимназии давали по два злота с человека. Места на хорах (у Креста) были распроданы аристократическим фамилиям по 10 рублей за каждое.

Когда началась панихида, перед катафалком явился бюст Лелевеля, который среди богослужения увенчали венком бессмертия профессора М. Х. Академии Яниковский и Пражмовский. Разные дамы собирали квесту на «дело отчизны». Собрано, как говорят, около 30 тысяч злотых.

В тот же день отслужена панихида по Лелевеле в Доминиканском костеле артелью рабочих с железного завода Эванса, которые собрали на это между собой 45 рублей¹. Наконец, тогда же отслужена панихида у Капуцинов, на Медовой улице, с участием епископа Декерта. В числе присутствовавших на этой панихиде замечен был народом 80-летний старец Горлинский, помещик из Плоцка, приехавший посмотреть, что такое творится в Варшаве. Он был одет в жупан и кунтуш, в руках имел белую костюшковскую конфедератку. Артисты манифестаций, по окончании панихиды, вывели старца под руки и после водили долго по Саксонскому саду в сопровождении огромной толпы зевак.

На всех перечисленных панихидах раздавались народу цинкографированные листы с кратким описанием жизни Лелевеля, где выставлены были все его заслуги отечеству и свободе, а в заключение сказано: «Тело его покрыла чужая земля, но дух его живет и будет жить посреди соотчичей, которые, сливаясь между собой общей любовью к отчизне, трудами, стремлением к единению, братскими чувствами, словом и доблестями, какими озарялся каждый шаг в жизни Иоахима, воздадут высшую почесть бессмертным его заслугам. А презрение излишеств и простота жизни, какими покойный отличался, да будут внешним знаком принятия его правил, кои в сердцах поляков освежит сегодняшний печальный обряд».

17 июня н. ст. отслужены панихиды по Лелевелю в трех еврейских синагогах вдруг: на Даниловичевской улице, в Наливках и на Праге. В Наливках сказана похвальная речь покойному и пропет 79-й псалом Давида: «Пасый Израиля,

¹ Все это — официальные сведения.

вонми... Воздвигни силу Твою и прииди, во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся! Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих? Напитавши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положил еси нас в пререkanie соседом нашим, и врази наши подразниша ны. Господи, Боже сил, обрати ны, просвети лице Твое, и спасемся!»

Слова: «Напитавши нас хлебом слезным» и, в особенности, троекратное (в полном тексте псалма) воззвание к Богу: «Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся!» производили необыкновенное, потрясающее впечатление. Иные плакали навзрыд¹.

Кроме того, в те самые дни устраивались патриотические молебствия у разных статуй: на Сенаторской, перед реформатской церковью, где статуя Богоматери; на углу улиц Узкого и Широкого Дуная, где статуя святого Иоанна; на Краковском предместье, у дома Мальча, где также статуя Богоматери, и в других пунктах.

Везде пелись беспрепятственно: «Boze cos Polskę», «Zdumem rozagęw» и прочие того времени гимны, которые вскоре затем были отпечатаны и продавались на улицах открыто.

Явился даже, в подражание «Boze cos Polskę», подобный гимн якобы от русских под названием «Modlitwa Moskali», смысл которого состоял в том, что «в то время, когда поляки вознесены к славе и просвещению, русские остались во тьме невежества». Поэтому заключительное двустипие каждой строфы вzywало: «О просвети нас, Господи!»

К продаже тетрадей с гимнами вскоре присоединилась продажа картинок, действующих на воображение народа, например, «Дружкарі, выпрягающие коней из дружек, чтобы запрячь их под пушку», или: «святой Иосафат, зарубленный москалями»².

¹ Официальные источники.

² Иосафат Кунцевич, Витебский епископ, убитый мещанами Витебска 12 ноября ст. ст. 1623 года за то, что всякими непростительными мерами заставлял народ принимать унию. Поляки возвели его в мученики за истинную веру.

Сначала мальчики, пущенные по улицам с этими картинками, навязывали их только одним статским, но потом стали приставать и к военным: «Może pan polkownik pozwoli świętego Józafata, zarąbanego Moskalami... albo dorózkarze, wuprzęgające koni?»

И многие у них покупали, не замечая, что служат таким образом повстанческой пропаганде.

Более всего были тогда в ходу мелкие манифестации: кошачьи концерты и битье стекол в домах некоторых лиц. Дошло до того, что явился даже *директор*, иначе сказать, *капельмейстер кошачьих концертов*, который брался за известную плату устроить кошачью музыку, где и кому угодно. Концерт с выбитием стекол стоил 15 рублей, без выбития — 10. Иногда обстоятельства требовали уступки; равно были случаи, когда концерт и выбитие устраивались бесплатно, по распоряжению тайных властей.

После рассказывали, что директор кошачьих концертов снял с себя фотографическую карточку, со всеми своими атрибутами, дабы его легче было отыскать, и через это попал в Цитадель.

В садах Саксонском и Красинском и на больших дворах иных домов устраивались игры в польского и русского короля, причем дружины последнего непременно побивались, и самому королю приходилось плохо. На него бросалась подчас и собственная его дружина.

Такие игры служили в публичных садах предметом развлечения для всей гуляющей публики. Побиваемого короля выручали только в крайнем случае; но если он не подвергался опасности быть избитым до полусмерти или вовсе убитым, зрители только хохотали, а иной раз и аплодировали воинам своего.

Как-то однажды, в Саксонском саду, в такую игру вмешался полициант и стал разгонять ребятишек: на него сейчас накнулись старшие, и он принужден был удалиться под гулом свистков.

В уединенном и никем не наблюдаемом саду Казимировского палаца (где ныне университет) разная городская мо-

лодежь обучалась фехтованию на палках. Потом основаны настоящие фехтовальные залы в некоторых домах, куда не заглядывала полиция по уважению к особе хозяина. У студента Фохта обучались его приятели ружейным приемам.

В конце июня по н. ст. показались в Варшаве печатные плакаты: «*Воззвание к помещикам*», которых тайные власти приглашали «устроить быт крестьян, не дожидаясь распоряжения правительства, отложившего действительное освобождение до 1 октября».

Другой плакат назывался: «*Послание ко всем полякам на земле Польской*», где исчислялись претерпенные поляками угнетения от правительств русского, прусского и австрийского, подавалась надежда на скорое освобождение, а под конец рекомендовалась всевозможная бережливость и умеренность в жизни.

Тогда же в разных галантерейных магазинах появились в продаже образки с начертанием изломанного креста и с надписью *27 февраля и 8 апреля*. Уличные ребятишки, продававшие гимны и картинки, стали скоро продавать и эти образки по улицам и в Саксонском саду.

Словом, революционное дело пошло на всех парусах по прежней своей дороге, и никто этому не мешал. Если иногда полиция, патруль или разъезд делали какое-нибудь распоряжение в пользу порядка, тут же являлся приказ или замечание высшей власти края, парализовавшие такое распоряжение и сбивавшие всех с толку. На бумаге было одно, на деле — другое.

Для патрулей и разъездов существовало множество сбивчивых правил, одно другому противоречивших; требовалась такая точность донесений обо всяком незначительном происшествии, обо всяком распоряжении начальников частей, что весьма немногие из них решались заводить дело с уличными шалунами, чтоб не быть как-нибудь потом в ответе за неисполнение того или другого пункта.

Достаточно привести один факт того времени, чтобы показать, каких хлопот стоил иногда патрулю самый ничтожный случай, сколько переспрашивалось об этом на-

роду, сколько бумаги исписывалось; не говорим уже о том, сколько могло выходить из всего этого соблазнительных сцен и праздных толков в массе. В роту Симбирского полка, шедшую патрулем в один июньский вечер по Медовой улице, мимо Капуцинского монастыря, был пущен из калитки¹ этого монастыря камень. Боясь быть неточным в описании этого происшествия, майор Фельшпер, командовавший ротой, в рапорте своем начальнику 1-го городского отдела так изобразил полет камня: «Камень пролетел позади меня, около подпоручика Шах-Назарова и вдоль 1-й шеренги 1-го отделения 2-го полувзвода означенной роты и ударился в двери дома, находящегося на противоположной стороне улицы». Затем прилагался длинный список чинов 8-й роты Симбирского полка, мимо которых пролетел камень².

Более всего военные возмущались приказом, отданным по войскам 21 июня ст. ст., где «в крайнем случае» разрешалось «стрелять», но в конце сказано, что «если во время следования караула, команды или патруля по улицам из какого-либо дома будут сделаны выстрелы или брошены камни, то не отвечать пальбой, а только заметить дом, откуда последовал выстрел». Военные спрашивали: «Какого ж еще нужно крайнего случая, если выстрелы по войскам — не крайний случай, который бы мог разрешить крайние меры?»

Этот приказ, собственно, не был новостью: он явился в первый раз еще при князе Горчакове, 21 марта ст. ст. 1861 года, но тогда не был замечен и не вызвал особенного ропоту, может быть, потому что тогда вдруг последовало множество разительных распоряжений, и никто не знал, что из этого выйдет. Теперь же, когда стало ясно, что дальнейшее продолжение уступок и противоречивые действия

¹ Та самая, подле которой изображен слева на стене большой крест барельефом — «Капуцинский», собственно: «по-Капуцинский». Тоже самое надо разуместь и о других монастырях: Бернардинский, Паулинский — по-Бернардинский, по-Паулинский и т. д.

² «Дела начальника 1-го военного отдела города Варшавы с 21 марта по 13 августа 1861 года».

правительства только запутывают наши дела в Польше и вызывают новые затруднения; когда военные получали поминутно выговоры неизвестно за что, когда в войсках вообще был ропот: этот приказ возбудил чрезвычайный шум и толки, которые можно было слышать несколько лет кряду. Еще в 1863 году и позже иные военные повторяли, как о чем-то невероятном, о приказе 21 июня и сочинение его приписывали Сухозанету, а не Горчакову.

Что касается тогдашних арестов, случавшихся нередко, — с этой стороны происходило более хаоса и путаницы, нежели где-нибудь: один начальник арестовывал, другой освобождал или ходатайствовал об освобождении у наместника; а потому иное лицо, три раза на неделе попавши под арест, три раза от него освобождалось разными хитростями, и в результате выходило то, что ареста решительно никто не боялся¹. Кроме того, и самый присмотр за арестантами был таков, что они могли переписываться из казематов с городом.

Манифестации пошли, конечно, от этого дальше и шире. Люди, недавно умеренные и спокойные, стали в ряды буйных шалунов. Почтенные старики обратились опять в мальчиков.

15 июля н. ст. умер в Париже другой столп польской эмиграции, другой свидетель и участник революции 1830 года, — *re in petto*, князь Адам Чарторыский. Похороны его в Париже отличались, конечно, еще большей торжественностью, чем похороны другого демократического полюса эмиграции, Лелевеля. Там недоставало аристократической пышности и блеску, здесь было этого довольно. Даже, говорят, за гробом, покрытым королевской мантией, несли корону.

Само собой разумеется, в Варшаве назначен ряд панихид.

На этот раз не было никаких *balons d'essai*: прямо огласили во всех газетах торжественную панихиду на 22 июля

¹ Авейде, II, 89, 90, 93.

н. ст. в соборе святого Яна. Ее служил сам архиепископ. Участие белой партии придало обстановке богослужения особенный эффект. Масса молившихся за упокой души человека, который, несмотря на разные ошибки (в польском смысле), все-таки поработал, на свой пай, для интересов отечества и был вообще замечательным человеком блестящей Наполеоновско-Александровской эпохи, который унес на челе своем отражение каких-то особых лучей, при звуке имени которого столько шевелилось, припоминалось, вставало в каждой польской душе: масса молившихся за такого человека могла, конечно, настроиться вполне патриотически. У многих полились слезы. Все были искренно убеждены, что хоронят если не короля, так что-то такое, чего... не будет! Сам архиепископ, личный свидетель того, что припоминалось иными, заливаясь слезами, не почувствовал, как из уст его вылетело и понеслось к небу: «*Boze cos Polskę...*» Храм дрогнул; все пали на колени и запели дальше: «*...otaczał blaskiem potęgi i chwaly*»¹, и громом небесным разлеглись под темными вековыми сводами заключительные слова строфы: «*Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę, Wolność racz nam wrócić, Panie!*»²

По окончании службы все было так настроено, что когда архиепископ сел в экипаж, кучи народу бросились, выпрягли лошадей и довели его на своих плечах до дому.

Затем бурная волна панихид за Чарторыского хлынула с такой силой, что и снисходительнейший из правителей Польши нашел нужным их остановить.

Манифестации и всякого рода враждебные заявления против правительства от этого, разумеется, ничуть не прекратились.

В газете «*Times*» усмотрена была, близ этого времени, статья, возбуждавшая в поляках разные надежды³. Варшав-

¹ «Окружал блеском могущества и славы».

² «Перед Твои алтари возносим моление: отчизну, свободу благоволити возвратить нам, Господи!»

³ В этой статье находились между прочим такие строки: «Нам нужно всеми руками взяться за работу, чтобы окончить заседание (в нижнем

ские агитаторы собрали сейчас толпу народа перед домом английского консула, которого вызвали и подали ему такой адрес:

«Я, мать, облитая мученической кровью моих детей, вдова в траурном одеянии, невольница с оковами на руках; я, живьем зарытая в могилу, посылаю тебе, народ английский, слово благодарности. Речь депутата твоего в парламенте, голос кипящих деятельностью городов твоих срывает печати с гроба, в который насилие и равнодушие ввергли Польшу. Кровь моя и слезы мои вопиют к богу, и он отвечает мне устами твоего народа. Честь ему и благодарность тебе, Англия! Всем, что осталось во мне живого и бессмертного, после долгого мученичества, благословляю твоих старцев, мужей, сынов и дочерей на вечную свободу и счастье! Да предстательствуют за тебя присно и во веки пред богом твои святые патроны, подобно тому, как ты, досточтимая и благоденствующая Англия, предстательствуешь ныне за отринутую, растерзанную, распятую Польшу!»

Английский консул отправил этот адрес в Лондон, со множеством визитных карточек от варшавских поляков разного звания. Заказы на карточки были так велики, что литографы едва справились¹.

Весь воздух наполнился повстанским электричеством; нетерпеливым казалось, что восстание уже очень недалеко. Эмиссары Мирославского, появившиеся вдруг в значительном числе для снятия на план кое-каких местностей Царства Польского, усиливали между кружками всяких оттенков вредные для самих же поляков толки. Поэтому

парламенте), а мы тут вынимаем из карманов платки и давай хныкать над судьбами Польши. Неужели больше нечего делать? Мы, великая нация, государство первого разряда, выдаем ежегодно 15 миллионов фунтов на сухопутное войско и столько же на флот, а для Польши не хотим палец о палец ударить. Отчего бы Англии не предпринять ради ее крестового похода?.. По совету одного из покойных государственных мужей, послать бы нам флот под Варшаву, а если бы это оказалось неудобным, то и под Петербург».

¹ Дело А. В. № 1, стр. 190 — 191.

партия опытных руководителей массы, так называемых сибираков (sybiraków) то есть вернувшихся из Сибири по манифесту о политических преступниках, затеяла издавать газету, дабы, сколь возможно, действовать на умы и остерегать неосторожных.

6 августа н. ст. вышел первый номер этой первой подпольной газеты последнего восстания, носившей имя «Стражница» (Strażnica), что значит наблюдательный пункт, сторожевая башня. Это был небольшой листок бумаги с текстом на одной только стороне, напечатанным очень плохо, по всей вероятности, ручным станком¹. Листок этот приглашал всех поляков «быть готовыми каждую минуту, но выждать спокойно и терпеливо».

Все бросились читать эту ничтожнейшую из газет, но ее советы не привели ровно ни к чему: нетерпение и несбыточные надежды красных нисколько не ослабели. Манифестаторы продолжали свое дело с той же детской неосторожностью.

8 августа н. ст. (через два дня по выходе «Стражницы»), в день рождения государыни императрицы, устроена в соборе святого Яна такая манифестация, которая превзошла своей дерзостью и неприличием все, что делалось в том же духе до этого времени.

Началось с того, что архиепископ Фиалковский, незадолго перед тем отслуживший с таким пафосом панихиду по своему фантастическому королю, на этот раз присутствовал в храме как частный зритель. Богослужение совершалось прелатом Бялобржеским. Из чиновников разных ведомств прибыло только восьмеро: председатель Комиссии финансов Ласский, вице-президент Банка Шемиот и шестеро мелких. Лишь только было возглашено: «За здравие и благоденствие императорской фамилии» и орган заиграл:

¹ Авейде говорит, что печатание первых плакатов и газет представляло для них неимоверные затруднения. Станки сначала выписывали из-за границы, но потом их стали делать в Варшаве. Когда народное правительство вошло в силу, печатание газет и прочего производилось в обыкновенных типографиях.

«Боже, царя храни!», как человек пятьдесят различной молодежи подошли к решетке главного алтаря и запели «*Boże coś Polskę*». Весь народ, бывший в костеле, подхватил это и заглушил своим пением орган и клир. Вечером того дня уличные мальчишки гасили иллюминацию и били стекла в домах. Между прочим, разбиты стекла у генералов Шепелева и Кузьмина, на Медовой улице.

Никакого преследования этих беспорядков не было.

Затем приближающаяся годовщина Польско-Литовской унии дала мысль агитаторам устроить манифестацию на границе обеих земель, Литвы и Польши, что должно было показать степень взаимного их сочувствия друг другу и степень развития организации.

Красные и белые (собственно, живая, энергическая часть белых, кого Авейде называет молодой шляхтой) действовали тогда в иных случаях заодно. Задержки реформ, отчасти даже фактическое устранение Велепольского от дел (хотя он и носил все прежние титулы) благоприятствовали сближению противоположных стихий в массе. Манифестация в память Унии Литвы и Польши была обдумана главами разных кружков в Варшаве, и выбран пункт для торжества, не очень наблюдаемый: именно мост на Немане против посада Алексоты, Марьямпольского уезда Августовской губернии, у города Ковна, где население обоих берегов без того «поминутно братается друг с другом. Сочиненный в Варшаве план передан для пополнения разными подробностями помещикам Августовской и Ковенской губерний. Он состоял в том, чтобы двинуть, в день годовщины Унии, две духовные процессии вдруг: одну из посада Алексоты, а другую из города Ковна, таким образом, чтобы они сошлись на мосту и следовали вместе в село Годлево (в Царстве Польском, недалеко от Алексоты), где должен быть составлен акт в память этого события и произойти соответственное братское пиршество.

Для Варшавы и других городов придуманы свои местные торжества на этот день. Между тем пущен повсюду такой печатный плакат:

«Братья земляки! 12 августа 1569 года король Сигизмунд-Август торжественно закрыл сейм Унии в Люблине, и это окончательное соединение Литвы с Польшей заключил свободной речью, в которой завещал обоим народам вековую братскую любовь. А потому, братья земляки, почтим празднеством сей день, ознаменованный соединением наших предков: соберемся в костелы и вознесем сообща горячие молитвы к богу, дабы он слил по-прежнему в одно целое наш народ, разорванный на части, и связал нераздельно наши души. 12 августа сего 1861 года докажем публично, вместе с капланами, что мы — братья одной и той же семьи Белого Орла и Всадника. Празднество этого единения народов должно быть торжественно спокойно и обнимать собой все пространство стародавней Польши. Траур на сей день снимается».

Так как правительство нигде не принимало решительных мер к воспрепятствованию всем этим затеям, то празднества в годовщину Унии везде удались. В Варшаве жители явились в этот день в самых ярких платьях. Разряженные дамы катались по улицам в блестящих экипажах. Вечером город был иллюминирован. Более всего горело огнями Старое Место¹. В Люблине устроилось гулянье около памятника Унии, что против губернаторского дома. Многие дамы были одеты в изысканные сельские платья. Между ними в особенности отличалась известная Пустовойтова. Кроме сельской одежды она имела и сельской убор головы: длинные косы, в которые были вплетены трехцветные ленты. Проходя мимо памятника, дамы бросали к его подножию цветы и венки. Вечером город был иллюминирован. В некоторых окнах показались разные эмблематические транспаранты: гербы литовский и польский, портрет Костюшки и т. п.

Манифестация на границе Литвы и Польши произошла при следующих подробностях. Когда ковенская полиция узнала о съездах помещиков и приготовлениях к торжеству

¹ Авейде, II, 81. — Красная партия хотела устроить особую торжественную процессию на Повонзки; но умеренные отклонили это, пустив по городу остерегающие плакаты.

в день годовщины Унии, что делалось довольно открыто, губернатор выехал в Петербург, может быть, впрочем, совершенно случайно. Оставшийся править его должность вице-губернатор донес главному начальнику края, генерал-адъютанту Назимову, об ожидаемой на 12 августа манифестации и испрашивал приказаний: «Что делать, если манифестация состоится?» Говорят, ответ по телеграфу был таков: «Поступайте благоразумно, а мост развести»¹. Вице-губернатор не принял никаких мер и моста не развел, а потому обе процессии собрались и выступили утром 12 августа из Ковна и Алексоты при огромном стечении народа. Тогда только вице-губернатор дал приказание одному капитану путей сообщения, родом поляку, развести как можно скорее мост. Капитан сказался больным. Заменявший его поручик, русского происхождения, успел кое-как выхватить только один плашкот, вследствие чего процессии, взойдя на мост с обеих сторон, могли свободно перекликаться друг с другом и разговаривать. В это время какой-то смельчак, перебравшись на отделенный плашкот (который по неосмотрительности или недостатку времени не был отведен от моста) нашел возможность перебросить оттуда народу канат: плашкот подтянули, и соединение процессий совершилось при оглушительных криках «ура» на обоих берегах и пении «*Boze cos Polskę*». Войска, присланные начальником дивизии, расположенной в тех местах, генералом Бургардтом, смотрели на все это спокойно и, когда началось пение, машинально сняли шапки и стали креститься². Соединенные процессии, согласно плану, двинулись через Алексоту в Годдево и там оставались до вечера. Конечно, лились вино и слезы... а в заключение всего составлен акт в память события, скрепленный многими подписями. Через несколько дней полетели по Литве и Польше тысячи фотографических карточек с изображением встречи процессий на разорванном мосту.

¹ Сообщено автору на месте разными официальными лицами. Иные уверяли при этом, что телеграмма состояла всего из двух первых слов: «Поступайте благоразумно».

² Рассказы очевидцев.

15 августа н. ст. разные партии Варшавы хотели устроить манифестацию в честь императора Наполеона, но все умеренное в этих партиях восстало против этого, и никакой манифестации не случилось. Плакаты, наклеенные на нескольких костелах, приглашали жителей почтить этот день обыкновенным молебствием Богородице, что и было иными исполнено.

Близ того же времени красная половина варшавского духовенства, соединенно с крайними всех партий, сочинила и пустила в ход «Воззвание к братьям и товарищам во всей Польше» самого возмутительного содержания¹, и вышел второй номер «Стражницы».

Этот непрерывный ряд манифестаций, плакаты, гимны, картинки, образки, подпольная газета, соединение партий в явных приготовлениях к чему-то, ссоры наместника с Велепольским, наконец, страшный ропот военных²: все это ускорило прибытие в Варшаву прочного начальника края, снабженного разными уполномочиями. Реформы были дописаны и могли осуществиться.

Еще с июля месяца стали говорить в Петербурге, что наместником Царства Польского будет граф Ламберт. С 20-го числа этого месяца по ст. ст. началось необыкновенно быстрое возвышение его по службе: высочайшим

¹ «Wiadowosci z kraju». Часть по-русски: Библиотека для чтения, 1864, с. 33.

² Этот ропот доходил одно время (в июле 1861) до того, что Сухозанет счел нужным послать командиру 2-го корпуса особое предписание, от 23 июля (4 августа) 1861 года, за № 71, где находились, между прочим, такие строки... «Видю, что оскорбления, наносимые иногда жителями войску, возбудили между господами офицерами сильное раздражение, начинающее выражаться громким ропотом. Обстоятельство это, усиливая затруднения правительства, показывает, что господа офицеры не с надлежащей точки зрения смотрят на свое положение здесь и неясно понимают свой долг». «Оскорбления, коих виновники рассчитывают всегда на возможность укрыться от ответственности по законам, не составляют никакого бесчестия для тех, которые бывают случайными их жертвами». «Надеюсь, что господа офицеры, обдумав это, поймут, что в таких обстоятельствах хладнокровно переносить неизбежные неприятности есть долг истинного мужества».

приказом от этого числа граф назначен управляющим делами императорской главной квартиры и собственного его величества конвоя; высочайшим же приказом от 6 августа ст. ст. произведен в генералы от кавалерии¹ и назначен исполняющим должность наместника в Царстве Польском и командующим 1-й армией.

Оставалось назначить ему помощника в лице военного генерал-губернатора города Варшавы, в обязанности которого, сверх управления Варшавой во всех частях, входило заведование паспортами во всем Царстве.

Конечно, найти мгновенно лицо, отвечавшее вполне такому месту, было нелегко. Критическое положение Варшавы, с таившимся в недрах ее заговором или хоть его начатками, требовало от генерал-губернатора самых необыкновенных способностей, молодости, энергии, знания людей, служебной опытности и даже прочного здоровья.

В числе молодых генералов нашей Северной столицы наиболее отвечал такому посту дежурный генерал Главного штаба его величества генерал-адъютант Герштенцвейг.

Это был человек с редкими достоинствами, умный, изящный, солидно образованный, писака и притом с чрезвычайно твердым характером. Его ссоры и споры² с некоторыми высшими лицами нажили ему врагов в той сфере, которая наиболее влияет на благополучный исход всяких карьер. На него косились и не прочь были, при случае, «спу-

¹ Иначе, командуя, как наместник, тремя корпусами 1-й армии, он был бы ниже чином всех трех корпусных командиров этих корпусов: Лабанцева, Липранди и Врангеля.

² В особенности известны его споры о Генеральном штабе. Герштенцвейг находил несправедливыми преимущества, которыми пользовались офицеры Генерального штаба вне полков, откуда прибыли. По его мнению, им следовало по окончании курса в Военной академии возвращаться в полки и там получать соответственные отличия, делаясь скорее других ротными, батальонными и, наконец, полковыми командирами; что иначе армия теряет лучших людей, губернии же отнюдь не приобретают лучших губернаторов. В таком духе он подал несколько докладных записок, но им не дали ходу.

стить» его куда-нибудь, как шедшего вразрез... со всеми, правшего, так сказать, против рожна. Но он сидел крепко, занимаемую им должность правил с честью, был любим и уважаем подчиненными. Заговаривать с ним о том, чтобы он ехал ломать себе голову в Польшу, под начальством Ламберта, было очень странно. Нашли возможным устроить так, что Герштенцвейг должен был уступить и стал собираться в путь с стесненным сердцем. Точно что говорило ему о печальном конце нового его поприща...

Граф Ламберт, с которым Герштенцвейг по разным встречам в свете был довольно близок, даже на «ты», постоянно уверял приятеля, что действительным наместником в Царстве будет он, а никто другой: все будет предоставлено его опытности и соображениям; что их старая дружба не допустит, конечно, и тени столкновения...

Словом, как это бывает часто: говорилось много всяких хороших вещей, пока оба приятеля стояли друг от друга вдалеке; пока Ламберт был для Герштенцвейга только Ламберт и больше ничего. Но едва состоялся высочайший приказ о назначении одного наместником, а другого генерал-губернатором в один и тот же пункт, как все сейчас же изменилось. Ламберт уже в Петербурге принял тон начальника и стал смотреть, бог ведает с чего, на будущего своего помощника несколько подозрительно. Ему стали мерещиться разные призраки. Ему казалось, что если такой умный, хитрый и осторожный человек решился променять верное на неверное, не попробовал подать в отставку при напоре чрезвычайных сил, а рискнул ехать в край, поставленный вверх ногами, то не иначе как с каким-либо тонким макиавельским расчетом. На беду, молва одно время возводила Герштенцвейга в наместники, а того спускала в генерал-губернаторы: значит, червь непременно грызет его; он может таить месть и, пожалуй, отомстит при первой возможности, подставив приятелю ногу...

Добрые люди, которые всегда в таких обстоятельствах откуда-то являются с советами, утешениями и объяснениями всего неясного, как сверчки в новом доме прежде

хозяев, мгновенно явились и тут и только подливали масла в огонь.

В таких отношениях приятели очутились в Польше, нововавшей, как мы видели, из конца в конец, в Польше, которой оставался только один шаг до настоящего заговора.

Новый наместник въехал в Варшаву 23 августа 1861 года н. ст., не имея при себе никакого конвоя. Даже прислуга его, одетая в статское платье, держалась вдали. Это было довольно резко после разъездов его предместника, за которым постоянно скакало человек 50 кубанцев. Заметив на Съезде бедняка, граф подал ему щедро.

Затем пошло новое управление страной, которое было тщательно обдуманно со всех сторон разными опытными людьми и могло бы, как мы полагаем, восстановить порядок, сойдись только искренно и пойми друг друга два главных лица, отыщи только в себе Ламберт больше доверия к Герштенцвейгу и имей более самоотвержения вообще, в разные серьезные моменты, или (что еще лучше) переменись каким-нибудь волшебством обе роли: стань генерал-губернатор наместником, а наместник генерал-губернатором, как пророчила когда-то молва, представляя на тот раз истинный *vox populi — vox Dei*.

Беда случилась именно оттого, что оба лица, у кого в руках находились судьбы края и кто должен был идти рядом, нога в ногу, решительно во всем, во всем сливаться и действовать гармонически, никак не сливались, и один, высший, носил в себе постоянно незаконные и несправедливые подозрения против другого, низшего. Вот что привело их обоих к гибели.

Взгляд наместника на умиротворение края был таков: «Открыв выборы при помощи умеренных, правительство решало уже половину задачи. Красные, а с ними и все то, что было подготовлено к будущему восстанию, немедля теряли значение, сходили со сцены. Конечно, выборы, произведенные при таких смутных обстоятельствах, в каких находился край, представят из себя нечто хаотическое, будут похожи на древние сеймики; выбранные чиновники будут в первые

минуты не чем иным, как слугами заговора, повстанской организацией, которая пополнит собой то, что сделано уже по этой части молодой шляхтой. Пусть! На все это вначале закрыть глаза. Второй половиной задачи будет превратить, насколько можно скорее, этих сеймиковых, повстанских чиновников в чиновников обыкновенных, какие нам нужны. Больших, неодолимых затруднений тут не предвидится вследствие несостоятельных свойств племени, с которым мы имеем дело. Но если б и произошла борьба, во всяком случае, она потребует меньших жертв, будет менее опасна, чем открытое столкновение с партиями разных оттенков при введении реформ под влиянием штыков».

Герштенцвейг был других убеждений относительно того же вопроса; он находил, что «время каких бы то ни было уступок повстанцам окончательно миновало, и шалости ребят, соединившихся в иных действиях со взрослыми, перешли уже ту черту, когда на них можно смотреть как на шалости. А потому он считал необходимым: порешить с этими шалостями, не медля ни минуты, добраться до гнезда агитирующих кружков, во что бы то ни стало, хотя бы резкими мерами, напугать этим все партии, заставив их признать за правительством присущую ему силу, в которую они давно перестали верить, и под влиянием всего этого сажать чиновников на новые места, чиновников, какие были нужны, а не повстанских, дабы ничего или очень немного оставалось для последующих доделок и переделок».

Словом, он думал и говорил то же самое, что говорили многие практические люди тотчас после выстрелов Хрулева; но, опытный в жизни и службе, он не нашел удобным спорить с наместником на первых порах, а предоставил ему идти избранным путем, в той надежде, что друг его, по всем вероятностям, наткнувшись вскоре на разные рожны, вернется и сам туда, куда звали его поломавшие поболее голову над польским вопросом; или, что еще скорее, заснет, и тогда, конечно, все очутится в руках генерал-губернатора.

Наместник пошел по избранному им пути очень быстро. С первых же дней по приезде он стал сближаться с разными

влиятельными лицами среднего круга, с той бюргерией, которая недавно изображала из себя народный сенат и без которой, в сущности, не могла быть сильна ни одна партия. Куда клали свои шары эти господа (бойкие чиновники, капиталисты, способные рисковать, литераторы, артисты, помещики, которые не слишком много теряют в революции), там только и оказывалась прочная победа.

До сих пор этот довольно широкий и неопределенный кружок стоял в стороне, сам по себе, очень мало участвуя в революционных затеях разных партий, не протягивая решительным образом руки никому: ни аристократии, ни красным крикунам, ни правительству. Как люди самые умные и практические, бюргеры видели, что еще нет ничего серьезного нигде; но тем не менее имели всюду агентов и зорко всматривались во все.

Ламберт знал это.

Очень скоро часть бывших народных сенаторов ресурсы проникла в Замок и стала беседовать с заместителем, попросту, без затей, за чашкой чаю. К таким принадлежали, между прочим: Кронеберг, Шленкер, Халубинский, Вышинский и Стецкий.

Мало-помалу, в Замке явилась точно такая же делегация, какая в мартовские дни 1861 года заседала в ресурсе, только не имела на этот раз никакого определенного титула и ограничивалась меньшим числом членов. Ее составило ядро тогдашней Делегации, люди наиболее ворочавшие в марте всякими делами.

Роль этой новой, маленькой Делегации была совершенно та же, что и большой в марте. Она так же служила проводником иных мыслей умеренной городской партии в Замок; так же торговалась с правительством, так же «заговаривала ему зубы», объясняя всякий уличный беспорядок в возможно лучшую сторону, успокаивая русские власти и подавая им надежды, что все в самом непродолжительном времени пойдет прежним путем, тихо и мирно, лишь бы правительство выслушивало советы сторонников порядка и не предпринимало ничего резкого.

Главнейшим предметом бесед были выборы и вообще реформы, которые правительство намеревалось ввести в край. Наместник старался подготовить себе для этого в городе надлежащую, сочувственную почву, дабы не встретить затруднений в оппозиции некоторых кружков, стоявших от нас далеко. Гости его довольно долгое время не высказывались определенно, видя в предстоящих реформах род западни, расставляемой правительством всяким революционным попыткам, всему тому, что, так или иначе, не без борьбы и тяжких жертв, было завоевано краем.

Но, с другой стороны, умеренную часть населения, которой гости Замка были представителями, страшили также и успехи красных, начинавших овладевать движением. При малейшем промахе, излишнем послаблении их шалостям край мог очутиться в руках необузданного, дикого заговора, под начальством Мирославского, и еще скорее потерять все приобретенное, надолго оборвать все нити патриотических работ.

Таким образом, умеренные видели себя между двух огней и не умели покамест определить, где менее опасности, куда пристать, в чем спасение: в манифестациях ли, рука об руку с красными, в открытой ли и дерзкой борьбе с правительством, или в наружном сближении с ним и в тайной, подземной интриге, в дипломатических, тонких, почти невозможных изворотах?

Время, однако, требовало ответа. Маевский, изменивший своим окончательно, находил нужным устроить по этому поводу съезд в Варшаве, вальный сейм; ибо сеймики (как он называл съезды помещиков по разным городам и местечкам) не могли привести никак к желанной цели — разрешить вопрос «что делать?».

Но белые были везде и во всем белые, тяжелые на подъем, не способные ни к чему без сильного толчка извне. Они собирались съехаться и не съезжались. Повторилось то же самое, что было с Земледельческим обществом в начале 1861 года¹.

¹ См. выше.

Мирославский следил за ходом революционных дел в нашей Польше. От него не укрылось настроение умов умеренной партии, готовой протянуть руку правительству и тем, разумеется, погубить восстание; не укрылись также и побеги некоторых агитаторов из красного лагеря в белый. Более всего жаль ему было его нестичка, Маевского, этого отчаянного парня, не боявшегося ничего на свете, неутомимого, исполненного самоотвержения, которого не охлаждали ни стены казематов, ни страх Сибири и виселицы. Чтобы воротить его и других на «путь истинный» и вместе дать заговору надлежащее направление, Мирославский тоже затеял съезд в Гамбурге Гессенском и звал туда недавнего друга и приятеля.

Этот съезд состоялся в самом начале сентября (10 или 11 по н. ст.). Отяжелевший от лет¹ и высокого чина, который носил в эмиграции с сороковых годов, Мирославский лично не поехал в Гамбург, а послал своего секретаря, Куржину, снабдив его всякими уполномочиями. Равно и Маевский, поставивший себя в фальшивое положение относительно старых друзей, также не решился отправиться на съезд, а послал туда вместо себя молодых помещиков: Иосифа Калачковского и Станислава Карского, людей особой белой партии, о которой будет сказано ниже. В ту минуту оба эти лица и поехавший с ними какой-то Семинский сливались в работах с «молодой шляхтой» и много думали о затеянной ими «организации», которую обыкновенно называли народной².

Они сообщили Куржине все, что знали о ходе повстанских работ в крае, и уверяли, что эти работы скоро придут к окончанию — «народная организация» охватит своей сетью всю Польшу 1772 года, и тогда правительство попало. Затем они просили оставить инициативу действий

¹ Познанский агитатор Александр Гуттри в книге своей «Pan Ludwik Mieroslawski» (Drezno, 1870) говорит, что эта *osiężakosé* была свойственна Мирославскому еще в 1846 году и чуть не погубила его.

² Все это и несколько ниже — преимущественно по Запискам Маевского и Авейде.

за краем, а не за эмиграцией. Но Куржина хотел другого, а потому прибывшие на съезд в соглашение между собой войти никак не могли. Переговоры их кончились ничем. Куржина отправился обратно в Париж, а Кадачковский и прочие — в Варшаву.

Мирославский дал знать красной партии, чтобы она билась до последнего издыхания и не выпускала из рук хотя того, что приобретено, тревожа край время от времени манифестациями и напоминая этим о себе как белым, так и правительству; равно мешая, по возможности, осуществлению реформ.

Красные и без того не расставались с манифестациями. Маевский и другие, утраченные красным кружком, были кое-как заменены. Из новых агитаторов смотрел отчаяннее прочих Аполлон Корженевский, оратор и писатель, незадолго перед тем явившийся из Волыни. Он был человек не первой молодости, любил ходить в простонародном платье, в длинном белом охабне и высокой бараньей шапке.

Сначала Корженевский сошелся было с Маевским и был его усердным поклонником, но потом, увидя, что тот сближается с белыми и бывает на их сходках, бросил его и принял команду над осиротевшим кружком Новаковского, где преимущественно сочинялись самые грандиозные манифестации. Корженевский показал в этом необыкновенную изобретательность. Помощниками его были Шаховский, Сикорский, Шаняевский, Целецкий, братья Франковские и тому подобные ребята, не признававшие над собой никакой власти и считавшие красный комитет вовсе не красным, а скорее белым.

Этот кружок, сам по себе, без всякого приглашения с чьей-либо стороны, счел нужным усилить манифестации тотчас по прибытии нового наместника с реформами, дать ряд таких спектаклей, которые выбили бы сразу из головы новоприезжих всякую мысль об успокоении края чем-нибудь таким, как выборы в разные советы.

Решено было возобновить *молебствия за благогенствие отчизны* (*nabożeńshwa za pomyślność ojczyzny*), удачно изо-

бретенные кем-то еще в июне месяце, при Сухозанете¹, и они возобновились.

Начали *механики по устройству мельниц и работники паровой мельницы на Лешне*. Их приглашение «помолиться за благоденствие отчизны 5 сентября н. ст. там-то» было снабжено рисунком, изображавшим мельника, который бросает предметы своих занятий, надел конфедератку и вооружился косой. Сверху — герб Литвы и Польши, осененный терновым венком и двумя перекрещенными пальмами.

На другой день, 6 сентября н. ст., в новый 5622 год евреев, совершены ими (по внушению того же кружка) торжественные молебствия за благоденствие отчизны во всех синагогах, а в главной, Даниловичевской, пропето еврейское «*Boze cos Polskę*» на польском языке.

Затем последовал небольшой промежуток². 16 сентября н. ст. явился скромный, без всяких рисунков, плакат *обоих фабрикантов*, приглашавший варшавян «помолиться за благоденствие отчизны в Свенто-Кришский костел».

В тот же день совершенно подобное молебствие у Пиаров, на Свенто-Янской улице, *цехом фортепьянных мастеров*.

Так как в этих молебствиях не было ничего особенно возмутительного, то высшие власти смотрели на них сквозь пальцы³, как на последние конвульсии умирающего заговора, если он только был. Белые, бюргерия, видимо, стали подаваться на сторону правительства и обещали ему свою

¹ Первое такое молебствие было у Кармелитов на Лешне 24 июня н. ст. 1861 года.

² Так, по крайней мере, по самому полному сборнику этих плакатов.

³ При всех подобных беспорядках на улицу посылали обыкновенно офицера с ротой солдат, всегда одного и того же, с приказанием «взглянуть что делается и в точности о том донести». Этот офицер получал за всякую экспедицию до трех рублей, а потому в высшей степени аккуратно являлся с ротой на место, где слышался какой-либо шум. Большей частью, уводя солдат по окончании происшествия, он выслушивал от народа свистки. «Что, — говорили ему товарищи, когда он возвращался, — освистали тебя опять?» — «Мне свищи, не свищи, — отвечал он, — а мы пошли себе по три рублика получать!» (Рассказ одного генерала, находившегося тогда в Варшаве.)

помощь в деле реформ. Город сильно заговорил об этом, разделяясь на две резкие половины. Одна стояла за реформы, за допущение выборов, находя их «лучшим орудием для борьбы, для завоевания новых уступок, подготовительным деятелем революции, дающим ей силы и средства»¹. Другая половина видела в реформах одну только гибель всему, что было приобретено, реакцию, возврат к бессменной военной диктатуре.

Вальный сейм, к которому давно приглашал умеренных Маевский, стал теперь совершенно необходим. Надо было потолковать о том, как принять реформы, как устроить выборы, какие меры взять против городской оппозиции, иначе: против красных.

Значительное число помещиков съехалось наконец в Варшаву и на первом же, весьма бурном заседании (в первой половине сентября по н. ст., близ того времени, когда происходил и Гамбургский съезд) выбрало «делегацию» из следующих лиц: Эдуарда Юргенса, Леопольда Кронеберга, Александра Куртца, Адама Гольца, Фадея Эйдзятовича и Карла Маевского².

Маевский, принятый в этот кружок на случай надобности иметь дело с ремесленниками и другими низменными слоями, где его любили и считали оракулом, был до того красен между белыми (хотя и старался всячески побелеть), до того выражался обо всем по-своему, что большая часть новых делегатов сильно на него косились и не совсем ему доверяли, считая его скорее агентом красных, нежели своим товарищем. Особенно не терпел его Кронеберг и после первого заседания объявил, что выйдет в отставку, если не устранят этого грубого крикуна. Маевский сам понял, что стесняет своим присутствием остальных членов и, мелькнув на двух-трех заседаниях, перестал ходить.

Одновременно с вальным сеймом белых красные устроили свой вальный сейм, на котором также выбрали

¹ Авейде, II, 196.

² «Записки» Маевского, IV, 28.

делегацию, или комитет, где из членов известны: Аполлон Корженевский, Витольд Марчевский и Владимир Рольский.

Обе делегации шли, конечно, друг против друга войной. Белая старалась расположить умы к принятию реформ, иначе сказать, к открытию выборов, подготовить массы к этому так, чтобы не вышло никакого скандала, и правительство могло бы обойтись без резких мер. Красные кричали, что выборам не быть, что они в крайнем случае разгонят их палками. Шаховский, заметив некоторое колебание между своими, говорил, что он один наделает кутерьмы, а уж никак не позволит торжествовать противникам¹. Какой-то Игнатий Квятковский написал стихи «Чертово варенье» (czarne powidła), которым грозил вымазать всех, кто станет за выборы.

Видя, однако, свою слабость, видя, что белые час от часу выигрывают больше и больше поля, что выборы так или иначе состоялись, команда Корженевского и Шаховского решила на крайность: раздражить чем-нибудь правительство, вызвать новую стрельбу и этим если не уничтожить начинающееся соглашение города с замком, то хоть расстроить на время... а там кто знает, что будет?

18 сентября н. ст. кондитер Ведель, на Медовой, отказался внести три рубля «на дело отчизны». Красные, в раздражении своем против белых, сочли такой отказ достаточной причиной собрать народ и разбить кондитерскую. То же самое сделано с перчаточным магазином Островского, на Новом Свете, и с булочной Бартца на Маршалковской.

В последнем пункте стеклись такие массы, что наместник послал туда войска и артиллерию под начальством Севастопольского генерала Шейдемана, который очень сильно шумел, что ничего не может предпринять². Войска оставались на месте до тех пор, пока толпы не разошлись.

¹ Показания Янчевского и некоторых других из красной партии.

² Рассказывают, что какой-то дерзкий молодой человек, взяв стакан воды в ближайшей кондитерской, поднес Шейдеману и сказал: «Выпейте, успокойтесь!»

Наместник дал знать белой партии, что наступила минута открыть выборы. Если город не откроет их сам, то они будут открыты правительством при оглашении военного положения. Белые отвечали, что выборы непременно начнутся завтра же, 19 сентября.

Так как «избирательные списки» были уже составлены особой делегацией, где более всего хлопотал купец Осип Квятковский, то осталось только напечатать и разослать разным лицам билетики, кого на какие места выбирать, дабы не произошло ошибки¹. Это сделано быстро, в ту же ночь, и утром, 19-го, выборы действительно начались с 10-го, центрального цыркула Варшавы, где дом графа Андрея Замойского.

Избиратели, в том числе и сам граф Андрей, сошлись для предварительных совещаний в доме М. Х. Академии, где теперь Первая гимназия (у Коперника).

Корженевский и Шаховский, с несколькими лицами той же масти, намереваясь биться до конца, не уступать, пока будет в руках хотя какое-либо оружие, собрали кучу всякого народа перед академией и вызвали к себе графа Замойского «для объяснений». Он вышел, сопровождаемый ксендзом Вышинским², и спросил у желавших его видеть, что им нужно. Корженевский подал ему печатное Заявление народа к избирателям (*Mandat Ludu do Wyborców*), прося пустить это в ход перед выборами; но граф отвечал, что никаких заявлений ни от кого принять теперь не может, что все, что следует, сделано и предмет осмотрен со всех сторон: изменить направление предстоящих выборов или устранить их ничто уже не сильно. Тогда Корженевский и Шаховский принялись поспешно излагать содержание заявления, объявив, что народ этим «напоминает господам

¹ В собрании плакатов, виденных автором, находились и эти билетики. Они напечатаны на плохой серой бумаге, величиной с визитный билет малого формата. На каждом выставлен цыкул и имя.

² Стецкий ходил весь тот день перед Ратушей, где должны были состояться выборы, и уговаривал направлявшихся туда красных не делать беспорядков.

избирателям, чтобы они, созидая теперь муниципальный и прочие советы, внушали всячески чинам, которые займут в этих учреждениях различные места, что они поступают на службу Царству Польскому нераздельно с его провинциями, Литвой и Русью; что только таким образом Царство Польское может принять участие в новых учреждениях; всякое же другое понятие об этом противно святым интересам отчизны».

Когда они говорили, в толпе раздавались временами восклицания: «Хорошо, дельно говорит!» Но когда стал говорить Замойский, несравненно более известный городу, чем оба оратора и их партия, раздались крики громче, кончившиеся общим гулом: «Да здравствует граф Андрей!» (*Niech żyje hrabia Andrzej!*) Это могло быть даже и подстроено особыми агентами белой партии. Корженевский с приятелями ушел, разбитый в пух, впрочем, по свойству своему, ничуть не унывая. В их головах городились уже новые планы...

Избиратели, после переговоров в академии, перебрались в Ратушу, и выборы по 10-му цыркулу совершились благополучно.

Замечательно, что первым выбран в председатели Комитета владеющих заставными листами, большинством 1598 голосов против 2, некто Войчицкий, незадолго перед тем лишенный Велепольским места директора Публичной библиотеки.

До такой степени не любили в то время Велепольского, что стоило ему объявить себя против какого-нибудь лица, и это лицо сейчас же попадало под протекцию всего города. Еще до выборов Войчидкий получил место библиотекаря при Вилянновской библиотеке Потоцких с жалованьем в пять тысяч злотых. Граф Людвиг Красинский (сын известного поэта) назначил его также библиотекарем при своей Варшавской библиотеке с жалованьем в 3200 злотых. Кроме того, обещали ему место при театре, в 2000 злотых; а литераторы выдали в пользу его сборник разных статей.

На другой день и после выборы продолжались без всякой помехи. Выбирались, конечно, те лица, которых город

хотел видеть на том или другом месте. Красные, тоже проникавшие в залу выборов, подавали голоса за Гарибальди, Высоцкого, Мирославского, Клапку...¹; но это, возбуждая легкие взрывы смеха, не прерывало занятий.

Делать нечего: Корженевский бросился в манифестации. Хлынул целый поток молебствий за благоденствие отчизны.

20 сентября н. ст. явился плакат друцзяжей², приглашавший к молебствию в костеле Бернардинов и снабженный разными изображениями: по одну сторону от текста стоял друцзяж в бедной своей гуне, сняв шляпу и опершись на палку; под ногами его лежали пальмовая и терновая ветви; за стеной виделся змей, обвивающий разное повстанское оружие — косы, сабли, пики. По другую сторону текста красовался герб Литвы и Польши; за ним развевались четыре знамени, из-за которых выглядывал герб Киева: Михаил Архангел (Русь). Внизу опять оружие: косы, ружья и дубовая ветвь.

И как странен был подле всех этих хитрых воинских атрибутов бедный друцзяж, снявший шляпу, как бы прося извинения у публики, что он тут ни при чем и ничего не понимает!

После того, что ни день, было несколько молебствий. Решительно все городские сословия, учреждения, цехи, артели и общества служили по молебствию. Даже сочинялись общества и артели, каких не существовало...³ Город до того

¹ Авейде, II, 193.

² Объяснение этого слова выше.

³ Стоит закрепить печатью эти повстанские изобретения того времени, едва ли виданные другими революциями. Вот какие общества и артели служили молебствие за благоденствие отчизны, в разных костелах с 25 сентября н. ст. по день объявления военного положения, то есть 14 октября н. ст. 1861 года: Садовники города и окрестностей Варшавы; Содержатели дружек; Девиды, занимающиеся шитьем женских платьев; Музыканты и артисты; Артель столярных мастеров; Камердинеры; Крестьяне из окрестностей Варшавы; Польские матери; Ювелиры, золотильщики и граверы на металлах; Гребенщики; Девиды, занимающиеся полированием золотых вещей; Воспитанницы высшего женского пан-

любил еще манифестации, что здесь партии опять перемешались, и красные нашли себе усердных помощников в кружках, с которыми сражались по делу выборов.

Наместник не обращал никакого внимания на эти шалости, казавшиеся ему ничтожными, как вдруг красная партия затеяла огромную манифестацию внутри края, с тем чтобы поднять там массы и расстроить выборы, которые шли довольно хорошо.

За неделю или немного раньше до годовщины Городельского съезда (торжества, установленного королем Сигизмундом Августом II в память соединения Литвы с Польшей) стало ходить повсюду следующее курьезное воззвание, сочиненное, как кажется, Корженевским:

«Братья поляки, русины и литвины! Важным народным торжеством было некогда празднование годовщины соединения Литвы с Польшей, учрежденное королем Си-

сиона; Резчики на дереве, камне и металах; Фурманщики, пивовары и извозчики, занимающиеся развозом по городу крепких напитков; Артель учеников с мыловаренных заводов Варшавы; Инженеры, архитекторы, литераторы, живописцы и драматические артисты; Экипажных дел мастера; Артель перевозчиков по Висле; Мастера, делающие зонтики; Мастера гипсовых фигур; Рыбаки; Чиновники всех ведомств; Польские девицы и бедные вдовы; Ребята, разносящие плакаты; Парикмахеры с их подмастерьями и учениками; Артель рабочих с фабрики накладного серебра; Бабы, торгующие крупой; Один из занимающихся гонкой водки; Варшавские аптекари; Крестьяне из деревни Чернякова; Воспитанницы высших и низших женских пансионов; Фабриканты золоченых рам; Польская молодежь Моисеева закона; Торговки овощами за Железной Брамой (воротами); Артель ремесленников и работников газового освещения; Молодежь учащаяся в учебных заведениях и в домах родительских; Сапожных дел мастера; Братство Провидения Господня. Можно заметить, что духовенство при этом отнюдь себя не забывало и ни разу не служило даром, напротив, старалось взять побольше. Когда приказано было служить молебствие фортепьянным мастерам, старшина их Сталь собрал около полутора ста рублей, причем иные подмастерья давали по три рубля, и отправился торговаться с ксендзами-миссионерами ко святому Кресту. Они запросили за обыкновенное богослужение 100 рублей, а с хоральным пением семинаристов — 150 рублей. Стало показаться это дорого; он обратился к Пиарам; они и отслужили ему молебствие за 60 рублей. (Официальные источники.)

гизмундом Августом II в Люблине. Самый акт соединения был только одной формальностью и как бы закреплением действительного и добровольного слияния народов под скипетром короля Владислава Ягелло. Неслыханными и небывальными в летописях судьбами, взаимная симпатия и мысль о свободе заняли здесь место насилия и побед. Оставить подобный факт без внимания и не дать ему надлежащей оценки в настоящую минуту, не ознаменовать его народным торжеством значило бы отказаться перед лицом Европы, народов и собственной совести от своего прошедшего и будущего в одно и то же время. А потому взываем ныне ко всем трем соединенным народам, дабы они откликнулись нашему зову тем же сердцем, каким их предки откликались на съезд Городельский, и надеемся, что наш голос будет услышан всяким, кто только любит отчизну и свободу.

Празднество сие должно совершиться в городе Городле Надбужном, что в воеводстве Любельском, земле Хелмской, 10 октября сего 1861 года, которое соответствует 2-му числу того же месяца по старому календарю, день "обхода" Городельской Унии по летописям.

Для придания съезду надлежащего значения, какого он заслуживает, взываем прежде всего к высокопочтенному духовенству католическо-славянского и латинского исповеданий, чтобы оно, сколько во уважение к общим нашим страданиям и надеждам, сколько же и для интересов церкви, тесно связанных с интересами Польши вообще, благоволило принять самое искреннее и торжественное участие в празднестве, отрядив от себя епископов и депутации капитул разных монашеских орденов и всяких духовных корпораций ото всех епархий прежней Польши.

Взываем к обществу ученых и литераторов, к университетам, редакциям польских и русинских журналов, ко всем обществам и кружкам промышленным, к городам и корпорациям поляков Моисеева закона и вообще ко всякого рода общественным учреждениям, имеющим какую бы то ни было организацию: чтобы благоволили принять участие в Городельском съезде, послав от себя депутатов.

Только таким образом учрежденный съезд может придать торжеству общественное и народное значение. С целью оживить наши традиции, а равно и для сообщения торжеству исторического и политического характера, приглашаем жителей всех княжеств, воеводств и земель прежней Польши прибыть также в Городло в виде представителей от своих мест. Депутаты от корпораций, земель и вообще представляющие собой какое-либо сословие или круг имеют уведомить о своем прибытии в Городло, 10 октября, в 9 часов утра, дабы каждый мог занять соответственное назначение по программе.

Княжества, воеводства и земли, долженствующие принять участие в торжестве, суть следующие. Воеводства: Познанское, Калишское, Серадзское, земля Добржинская. Воеводства: Илоцкое, Мазовецкое, земля Равская. Воеводства: Хелминское, Мальборгское, Поморское, Прусское, Краковское, земля Освецимская, Заторская. Воеводства: Сандомирское, княжество Сенявское. Воеводства: Куявское, Русское, земли: Жидачевская, Пршемьсская, Галицкая, Хелмская. Воеводства: Волынское, Любельское, Белзское, Подляское, Брацлавское, Черниховское, Виленское, Троцкое. Княжества: Смоленское, Новгородское, Полоцкое, Витебское, Брест-Литовское, Мстиславское, Минское, Инфлянское. Княжество Курляндское.

Траур на сей день снимается».

Такая затея: собрать в одно место представителей всех земель бывшей Польши, манифестация, какой по размерам еще не было, потрясла все нервы. Не только все красное, очутившееся между белыми во время борьбы партий по делу выборов, но и часть белых, как белые есть, забыв все на свете, понеслись в Городло. Никого так легко не поднять на какое-нибудь безумство, на праздное шатанье с приключениями, опасностями и кутежами, как поляка. Ему дорого тут не столько дело, ради которого собираются, сколько процесс самых сборов и прибытие на место, театральная обстановка, эффектные тревоги, шум прежде и после. Немца так легко не подымешь с его логова: будь это купец, писатель, ничего

не делающий помещик или хоть даже революционер, он все-таки задаст себе предварительно кое-какие вопросы, осмотрит предмет с разных сторон. А тут, что называется, «из этого просто»: закладывай таратайку, а не то и пешком марш! Хоть на выстрелы!

В числе поскакавших в Городло был, между прочим, и Юргенс, недавно так горячо и усердно хлопотавший о выборах. Может быть, иным пришло на мысль, что народная организация «попалась», протянув руку правительству; а потому они и вздумали «бежать». Маевский не поехал. Он просто уже боялся прежних своих приятелей.

В Варшаве очень скоро узнали, что в Городле и окрестностях собралось множество всякого народу с целью устроить манифестацию на 10 октября, и делаются разные к тому приготовления.

Этой «шалости» нельзя было оставить без внимания. Начальник главного штаба, по приказанию наместника, послал к начальнику Люблинского военного отдела, генерал-лейтенанту Хрущову, такое предписание от 14 (26) сентября 1861 года за № 1441¹:

«Здесь распространился слух, что в местечке Городло начинают строить триумфальные арки... Если это действительно так, то его сиятельству утотно, чтобы все подобные сооружения были немедленно разрушены до основания. Командующий войсками² поручает вашему превосходительству лично прибыть в Городло к 28 сентября и даже раньше, если найдете присутствие ваше там необходимым. Весьма желательно было бы рассеять толпы одними уговорами и увещаниями, но если это окажется невозможным, в таком случае разрешает прибегнуть к силе оружия». Генерал Хрущов, получив эту бумагу, собрал в Городле и близлежащих местечках следующие войска: 1) В местечке Городле — 6 рот Могилевского пехотного полка, 4 орудия Донской № 6 батареи и 2 эскадрона драгун; 2) В Грубешо-

¹ Приводим в сокращении. Местечко Городло Люблинской губернии, Грубешовского уезда.

² Граф Ламберг.

ве — бывший прежде отряд; эскадрон драгун и 4 орудия Донской № 6 батареи. Прибавлено 2 роты Могилевского пехотного полка; 3) В деревне Лушкове — эскадрон драгун, наблюдать за переправой; 4) Для наблюдения за местечком Дубенкой и переправами вдоль Буга — 30 казаков; 5) Для формирования резерва приказано прибыть форсированным маршем из Красностава двум эскадронам Харьковско-го уланского полка и сотне казаков из Хелма¹.

Готовились как бы на войну: пушки, резерв, форсированный марш, тогда как нужно было (в самом начале) всего на все пару расторопных будочников. От этих войск были посылаемы в разные стороны кавалерийские разъезды для разведывания: не предпринимается ли где чего жителями?

Местная повстанская организация (белой партии) устроила свои разъезды из молодых помещиков на бойких конях. Кучки таких хватов, человек в 10—12, привлекли внимание одного драгуна, в болотистой местности, около деревни Гребенне, верстах в шести от Городла, ночью с 21-го на 22 сентября ст. ст., может быть, с тем, чтобы утопить его в трясине. Драгун, желая отвязаться от них, погрозился пистолетом, который нечаянно выстрелил. Повстанцы ускакали, и тем бы все должно и кончиться; но как-то случилось, что драгунский выстрел, ночью, в болотах, под деревней Гребенне, громко отдался в Варшавском Замке². Наместник испугался первоначального своего предписания о мерах против Городельского Съезда: чтобы излишнее усердие тамошних властей не испортило как-нибудь хода машины, которую так долго и с таким трудом устанавливали три наместника, не расстроило выборов, обещавших окончиться благополучно. Опасения его были усилены еще делегацией, гостями Замка из средних слоев варшавского населения, особенно черными диоскурами, которые в эти минуты не дремали и которых польское сердце билось наравне со все-

¹ Рапорт генерала Хрущова начальнику главного штаба, от 26 сентября 1861 года, № 1380.

² Узнали из донесения Хрущова от 23 сентября ст. ст. 1861.

ми другими при слухах о затеваемой краем удивительной манифестации на память векам, где к тому же будут неизбежными участниками их близкие друзья и соратники по духовному оружию.

Наместник велел своему начальнику штаба отправить к Хрущову другое предписание, и оно отправлено, от 24 сентября 1861, № 1506. Там между прочим говорилось: «По докладе отзыва вашего превосходительства от 23 сентября, его сиятельство изволил приказать, чтобы ваше превосходительство обратили особенное внимание на войска, собранные ныне в Городельском отряде, и на то, что все они, как пехота, так и драгуны, только что прибыли из России, а потому могут, не понимая еще отношений наших к местным жителям, начать действовать оружием, тогда как этого следовало бы избегать... Если, невзирая на все предупредительные меры, как вышеизложенные, так и другие, которые ваше превосходительство предпримите, соображаясь на месте с обстоятельствами, процессия совершится, то разогнать ее кавалерией, действуя с флангов и тыла процессии и избегать при этом столкновения с ксендзами и женщинами. Упорных забирать под арест и отправлять в Замосць до решения их участи наместником».

Этим предписанием сильно парализовалось первое, если только не уничтожалось вовсе: там разрешали оружие вообще, стало и огнестрельное; здесь дозволяли действовать одной кавалерией, причем упорных забирать под арест, «избегая столкновения с ксендзами и женщинами», тогда как ксендзы в подобных процессиях составляют главное. Хрущов, получив такую бумагу, естественно, растерялся. Можно было, конечно, развязать узел тем, что не допустить никакого сближения: перехватывать зачинщиков прежде, нежели что-либо устроится. Ребята были точно в чаду среди своих приготовлений; не думали ни о каких предосторожностях и сами давались в руки; их видел всякий, кто только хотел видеть; их можно было задержать еще в Варшаве...

Но этого не сделано. Съехавшиеся со всех сторон к Городлу коноводы затеи расположились в ближайших к

нему местечках и деревнях: Грубешове, Степанковицах, Дубенке, Душкове, Голубкове и других, где имели несколько совещаний. Наконец все обдумано на общем собрании в Степанковицах, большом селении в 20 верстах от Городла. Хотя стоящие повсюду войска представляли серьезное препятствие, но, помня, что подобное препятствие ничуть не помешало такому же торжеству между Алексотой и Ковном, съехавшиеся положили двинуть две процессии в Городло: одну из Степанковиц с окрестными деревнями и местечками; другую (от Руси) из Устилуга¹, тоже с разными околицами. Обеим процессиям сойтись, если можно, в Городле, отслужить молебствие и составить в память события акт, который закрепить подписями участников.

По этому плану, в 5 часов утра, 10 октября н. ст., Степанковицкая процессия, отслужив напутственное молебствие в местном парафиальном костеле (причем Люблинский капуцин, ксендз Фиделис, сказал речь, исповедал братию и отпустил всем грехи) тронулась с хоругвями, крестами и народными знаменами в направлении к Городлу. На половине дороги присоединились к ней партии из Грубешова и других местечек, отчего произошла небольшая остановка, и пробощ из Красностава, ксендз Боярский, сказал речь, которой старался успокоить и одушевить собравшихся. Затем процессия, заключавшая в себе приблизительно тысяч до десяти народу², двинулась далее.

Не доходя пяти верст до Городла, манифестаторы встретили первый драгунский пикет, который отъехал галопом к стоявшим вдали войскам. То же сделали встреченные потом второй и третий пикеты. Когда осталось до линии войск около версты, генерал Хрущов подъехал со штабом к голове процессии и сказал громко, что «получил предписание наместника не позволять собираться толпам в Городле, а если они пойдут, то будет употреблена вооруженная сила».

¹ Устилуг Волынской губернии Владимирского уезда.

² Мы берем среднюю цифру между показаниями частных лиц и донесением Хрущова наместнику.

В толпе поднялся страшный шум; но духовенство, успокоив крикунов, отделило от себя несколько депутатов для объяснения с генералом, которые, приблизившись к нему, объявили, что «находящиеся в процессии люди пришли в город помолиться и более ничего; что молиться не запрещено».

Хрущов отвечал им, что «правительство допускает только установленные церковью духовные процессии, не имеющие притом политического, демонстрационного характера, а настоящая процессия выходит из этих условий, вследствие чего он никоим образом в город ее не пропустит».

Тогда ксендз Боярский, бывший между депутатами, спросил у генерала, может ли он дать им честное слово, что действительно получил приказание не пропускать в город процессии. Хрущов дал. После этого ксендзы стали просить позволения отслужить молебствие в поле. Генерал разрешил это и даже позволил одному из ксендзов съездить, в сопровождении казаков, в город за алтарем и церковной утварью. Привезенный алтарь был поставлен на холме, между дорогами, ведущими в Городло из Степанковиц и Дубенки, в версте от войск. Народ расположился вокруг алтаря, воткнув в землю хоругви и знамена, которых было 54; а далее стали в виде огады экипажи, числом около тысячи. Богослужение совершено ксендзом Аницетом, капуцином из Люблина, и униатский ксендз из Хелма, Лауриевич¹, сказал проповедь, в которой объяснил собравшимся политическое значение съезда, важность минуты и чего она требует от поляков. После него говорили речи в том же духе: Люблинский помещик Грегорович и обыватель Ченстохова, Эдуард Ставецкий. По окончании всего (около двух часов пополудни) на месте молебствия водружен огромный дубовый крест из деревьев, срубленных в соседнем лесу, и освящен вместе со знаменами. Потом подписан акт или про-

¹ Ксендз Станислав Лауриевич, приятель Маевского, был, по словам последнего, главным распорядителем Городельской манифестации. III, 27.

тест, составленный еще в Степанковицах четырьмя лицами: Грегоровичем, литератором Вржозовским, воспитанником Художественной школы Шаховским и учеником Реальной гимназии Сикорским.

Протест этот был таков: «Мы, нижеподписавшиеся, делегаты земель и поветов Польши, в том ее составе, какой она имела до разделения, собравшись в Городле 10 октября 1861 года в 448-ю годовщину соединения Литвы с Польшей, объявляем сим актом и утверждаем собственноручными подписями, что Уния, соединившая все Польские земли, возобновляется ныне, на основании признания прав всех народов и исповеданий, образуя теснейший союз, который имеет целью освобождение отчизны и приобретение для нее полной независимости. Права наши поручаем совести народов и благоусмотрению конституционных правительств¹».

Ко всему этому можно прибавить, что в разных пунктах на совещаниях манифестаторов происходили между партиями горячие схватки, и одна из них, между сторонниками Корженевского² и Юргенса, едва не кончилась кровавым побоищем. Общее примирение последовало на обеде в Люблинском городском клубе 12 октября н. ст., где все (числом, как говорят, до тысячи человек) перепились и стали обниматься и проливать слезы. Иные произносили речи, смысл которых заключался в том, чтобы «всем как можно скорее организоваться революционно и слиться с хлопами».

Расставаясь, они давали друг другу *slowo honogu* собираться точно так же и в будущем 1862 году.

13 октября н. ст. была отслужена в Люблинском доминиканском костеле обедня, после которой собирались подписи на Городельском протесте от крестьян и мещан. Три экземпляра протеста, с 8 тысячами подписей на каждом, отправлены в Париж, Лондон и Геную.

¹ Сведения из донесения генерала Хрущова наместнику от 30 сентября 1861; из особой записки, составленной на месте одним очевидцем, из частных рассказов и печатных источников.

² Кажется, Корженевского подозревали в сношениях с правительством. Он вел себя в иных случаях действительно очень странно.

Другая процессия, собравшаяся в Устилуге и окрестностях, подойдя к Бугу и встретив там охранявшие переправу войска, воротилась назад, отслужила молебствие в часовне на кладбище и составила свой особый протест в следующем виде:

«Протест.

Учинен сей на границе Городла Надбужного, что в воеводстве Любельском, земле Хелмской, октября 10 дня 1861 года. Земли, составлявшие во время Городельского съезда, в 1418 году, Польшу, Литву и Русь, каковой съезд Польшу, Литву и Русь воедино неразрывными узами связал, а именно: воеводства Познанское, Калишское Серадзское, земля Добржинская и т. д.¹, быв ныне вызваны своими делегатами, собрались в лице представителей от всех духовных корпораций, а равно депутатий от разных литературных обществ, университетов и других высших учебных заведений, Медико-хирургической академии, редакций польских и русинских журналов; депутатий всевозможных цехов и разного рода кружков, имеющих какую-либо организацию, вместе с несколькими тысячами народа всех исповеданий, собравшись же, двинулись, под знаменем Христа Спасителя и соответственных религиозных инсигний, торжественным, процессиональным ходом, по направлению к Городлу, дабы в 448-ю годовщину нашего соединения возблагодарить Всевышнего, что он сохранил всех нас в той же любви и братстве, несмотря на гибельное влияние трех неприязненных держав, и у подножия его алтаря молить о всеобщем нашем воскресении; но, встреченные войсками, не можем перебраться на ту сторону реки и следовать в Городло. На границе приснопамятного соединения тех народов возобновляем Городельский акт во всей его силе и обширности. Протестуем против насилия и утеснения наших прав, против жестоких мер правительства, против самовольного разделения Польши и желаем возвращения ее независимости. Так как сей акт не может быть при настоящем положении

¹ Как в воззвании.

дел препровожден куда следует, яко составленный в краю, управляемом деспотически и не имеющем народного представительства, то он явится во всех заграничных изданиях, да ведают о нем алчные правительства, по милости которых раздаются вопли угнетенного народа»¹.

* * *

В это же самое время, как бы нарочно для придания силы красным, для выручки погибавшего заговора, произошло в Варшаве событие, которое вызвало ряд манифестаций и перевернуло весь ход дел.

5 октября н. ст. умер архиепископ Фиалковский. Это был человек без всяких способностей и притом чрезвычайно слабохарактерный. До 1861 года мало кто им занимался. События 1861 года, к которым он отнесся сочувственно, отдав себя в полное распоряжение нескольких бойких каноников (более всего Дзяшковского и Секлюцкого), изменили взгляд поляков на слабого архиепископа. Читатели припомнят, что он первым подписал адрес к государю. После этого его именем делалось очень многое, о чем он иногда и не знал: рассылались циркуляры, налагался и снимался траур; разрешалось пение патриотических гимнов в костелах; ему приписывали и разные патриотические заявления, слова, фразы, которых он или не произносил вовсе, или произносил в другом смысле. Впрочем, бывали минуты, когда он и сам, воображая, что призван разыграть чрезвычайную роль, вдавался в непростительные ошибки и увлекался по-детски. Естественно, что смерть такого лица была для красной партии истинным ударом. Прежде чем обдумывать вопрос, какие принять меры, чтобы это несчастье было наименьше чувствительно для заговора, все, что осталось в Варшаве красного, по отбытии многих агитаторов под Городло, нашло необходимым извлечь некоторую пользу из самого факта смерти: сочинить манифестацию, или даже

¹ Подлинник можно видеть в брошюре: «Wiadomosci z kraj», с. 20 — 26. Там же подробности об Устилужской процессии, то же по-русски в Библиотеке для чтения, 1864, февраль, с. 29 — 33.

целый ряд манифестаций, поярче и покрупнее, насколько удастся, и этим помочь Городлу затормозить хотя на время выборы, развлечь белых и правительство.

Сначала пущено в ход во множестве печатных экземпляров краткое описание жизни покойного архиепископа в повстанско-панегирическом духе¹. Потом рассеяны по городу и наклеены на самых видных местах траурные объявления о смерти, называемые у поляков клапсидами, где сообщалось, со всеми подробностями, в какие часы и в каком месте будут служить панихиды с понедельника до четверга. Наконец разосланы в разные города и местечки приглашения к жителям всех чинов и сословий прибыть в Варшаву, к такому-то числу, для присутствования на торжественных похоронах «достойного вечной памяти и вечных слез архиепископа, который в настоящую минуту замешательств и борьбы с правительством изображает для края особу почившего примаса, а примас в такое время, то есть в междуцарствие, заменяет короля; стало, и похороны его будут соответствовать пышностью и значением похоронам королевским»².

Случайно или не случайно днем этих похорон назначено то же самое число 10 октября — годовщина Городельского съезда.

Нечего и говорить, что отовсюду повалил народ. По Варшавско-Венской железной дороге прибыло накануне погребения около 700 человек разного звания из Ченстохова, Кутна, Скерневиц, Шлешина, Сломников. Потом прибыли представители всевозможных сословий из Пулав, Черска, Грубешова, Вомбков, Лодзи, Езерков, Компина, Медзишина, Пясечна и Вилянова. Каждая партия имела во главе ксендза. Виляновская партия вступила в город со знаменем, распевая патриотические гимны³. Наплыв

¹ В русском переводе в Библиотеке для чтения, 1864, февраль, с. 23 — 24.

² Авейде, II, 145, примечание.

³ Деревня Видлянов, принадлежащая ныне графине Августовой Потоцкой, находится всего в 10 верстах от Варшавы. Замечательна дворцом короля Яна III Собесского, садом и парком, где некоторые тополя посажены рукой этого короля.

таких гостей в Варшаву был до того велик, что многие едва находили себе помещение.

Генерал-губернатор, предвидя манифестацию, хотел было сам составить программу похорон и принять меры, чтобы она была исполнена во всей точности, буква в букву. Но духовенство через известных читателю агентов своих в Замке упросило наместника предоставить составление программы похорон городу, заверяя всеми святыми, что ничего неприличного и противозаконного при этом не произойдет. Наместник, разрешая это, выразил, однако ж, желание, чтобы составленный городом церемониал был предварительно сообщен генерал-губернатору для просмотра и подписи.

Сейчас, как водится, явился по этому поводу особый комитет из светских и духовных лиц, в котором очень видную роль играл купец Осип Квятковский. Принялись разрешать трудную задачу: составлять церемониал такого свойства, чтобы им удовлетворить по возможности и себя, и правительство. Само собой разумеется, что воображение составителей при всяком пункте рвалось дальше, чем позволяли обстоятельства и рисовало разные соблазнительные добавления, что иными и высказывалось тут же вслух, возбуждая общие приятные улыбки. Но в конце концов все беспокойные порывы укрощены: церемониал составлен довольно приличный. Герштенцвейг прочел его и подписал. Разные игривые добавления составители предоставляли судьбе, случаю, чьему-либо сверхштатному распоряжению, которое, вероятно, не заставит себя долго ждать.

И точно: несколькими часами позже собрался другой комитет, где именно было рассуждается о том, что такое прибавить к правительственному церемониалу и как распорядиться, чтобы этому никто не воспрепятствовал; и очень может быть, что некоторые лица, незадолго перед тем заседавшие в том комитете, предложили и здесь кое-какие соображения, уже позволив воображению своему разыграться вполне. Что было придумано, мы увидим ниже.

Четыре дня кряду совершались торжественные панихиды на дому архипастыря, в архиепископском палаце, на Медовой. Стечение народу было огромное.

Наступило наконец 10 октября. С самого раннего утра народные констебли, кем-то мгновенно сочиненные без спросу у правительства под командой Осипа Квятковского, Фомы Лебрюна и других более или менее известных обывателей, бегали по улицам и приказывали купцам запирать лавки, а хозяевам разных ремесленных заведений — распускать рабочих. Кто не слушался, того заставляли силой. На Огородовой улице эти констебли разбили винный погреб купца Кноля, который отказался повиноваться их приказаниям. На рынке за Железной Брамой, вследствие такого же упорства и неповиновения, разбросана и переломана констеблями деревянная посуда одного бондаря. На Сольной улице, где что-то строилось, констебли раскидали известку и мазали ею рабочих, которые не хотели разойтись по домам¹.

К трем часам пополудни все было в том виде, какой требовался для предстоящей церемонии.

Процессия тронулась из архиепископского палаца налево, улицами: Долгой, Пршеяздом, Велянской, Тлумацкой, Лешном, Римарской, Сенаторской, Вержбовой, Саксонской площадью, Краковским предместьем, мимо Замка, в Фару².

Впереди шли, как и при погребении пяти жертв, сироты и старцы Варшавского благотворительного общества со всеми членами этого общества. Затем следовали учебные заведения обоего пола. Реальная гимназия несла укрепленную к палке таблицу с гербом Литвы и Польши³. Студенты Медико-хирургической академии несли знамя с Польским орлом и трехцветными лентами. За ними шла Художественная школа, Земледельческое училище с Марионта; Варшавская консерватория с ее директором; разные

¹ Дело А. В. № 7.

² Обыкновенное, народное название Свенто-Янского костела.

³ Начинаются «добавления».

артисты и литераторы, штат городских врачей, цехи со знаменами, которые тоже были украшены Польскими орлами и увиты трехцветными и траурными лентами братства. Члены литературной архиконфратерны. Делегация погребального комитета. Орден сестер фелицианок. Орден Варшавских сестер милосердия. Черное духовенство. Белое духовенство. Профессора Духовной академии. Капитула. Духовное лицо, исполняющее обряд погребения. Крест архиепископа, несомый одним из митрополитальных каноников. Гроб на плечах; для порядка при нем часть погребальной делегации. Терновые венцы на подушках. Две короны, польская и литовская, также на подушках; при них как бы объяснение, гербы литовский и польский, тоже на подушках. За гробом шло семейство покойного, правительственные лица и народ. Тут же следовал и катафалк.

На Банковой площади встретило процессию еврейское духовенство, имевшее также таблицу с гербом Литвы и Польши, и двинулось, согласно своим постановлениям, непосредственно за гробом. В Фару оно, конечно, не вошло¹.

Граф Ламберт хотел лично присутствовать на церемонии со своим штабом и уже надел было мундир; на дворе Замка приготовлено было до пятнадцати верховых лошадей, как вдруг ему донесли об изменении программы похорон: граф снял с себя мундир, надел сюртук и сел под окошко. У других окон разместились, вооружись биноклями, Герштенцвейг, Крыжановский, Велепольский, Потапов, прибывший незадолго перед тем для преобразования варшавской полиции, и еще несколько высших военных чинов. Все окна были заняты зрителями. Когда процессия поравнялась с Замком, некоторые из упомянутых лиц молча переглянулись...

На другой день, 11 октября, отслужена торжественная панихида епископом Декертом, занявшая 3 часа времени —

¹ Большие подробности погребения можно видеть в «Варшавской Газете» 1861 года, № 242 и 243.

от 7 до 10 утра. Затем последовала «великая обедня-сумма» и заключительное молебствие, называемое «Kondukt Castrum Doloris» что заняло 2,5 часа. В половине первого пополудни совершилось положение тела в склепах митрополитальных.

В промежутке этих богослужений произнесено две проповеди: одна — епископом Платером, а другая — каноником Ржевуским, с различными патриотическими намеками и заявлениями.

Все время шел сбор денег «на дело отчизны», а разная молодежь, бродя по костелу, напоминала народу о предстоящих близких торжествах: годовщине Костюшки, 15 октября, и годовщине Понятовского, 19-го того же месяца.

В два часа пополудни помещики отправились с приехавшими крестьянами в Европейскую гостиницу, где ждал их великолепный обед на 200 кувертов. В числе угощавших суетился более всех помещик Ловичского уезда Варшавской губернии Август Завиша, брат Артура Завиши, павшего жертвой патриотического увлечения в 1833 году.

Среди обеда один почтенный крестьянин встал и сказал: «Теперь точно вы с нами в ладах, господа; но когда дойдет до чего, как бы не случилось, что в 1831 году; подбить вы нас подобыете, а потом и бросите на съедение москалям!»

Кроме этого обеда дана была в той же гостинице студентами Медико-хирургической академии и старшими учениками Реальной гимназии особая закуска виляновским поселянам, причем известный читателям сапожник Гишпанский произнес речь, в которой убеждал присутствующих «жить с помещиками как можно согласнее и не пренебрегать обществом евреев».

В пятом часу крестьяне, разумеется сильно подгулявшие, вышли из гостиницы и, крича: «Да здравствует Варшава!», уселись в приготовленные заранее три омнибуса и несколько дрожек и отправились: часть на станцию Варшавско-Венской железной дороги, а другая (виляновские) к Мокотовской заставе. На козлах передового омнибуса сидел крестьянин с белым знаменем, которое получили

угощаемые от помещиков за обедом. Вишняковские имели свое знамя, то самое, с которым они вошли в Варшаву, как было рассказано выше. Официальный повстанский фотограф того времени, Байер, снял весь этот поезд.

Так кончились невероятные дни 10 и 11 октября. Город опять потерял голову, как в феврале, после манифестации похорон пяти жертв. Опять партии смешались, и строго отделить, где красные и где белые, было тогда очень трудно. Выборы, конечно, были забыты. Шаховский с товарищами потирали руки. Вся масса варшавян, за самыми незначительными исключениями, думала только о том, как бы продолжить манифестации. Везде ходили по рукам печатные и письменные объявления, возвещавшие о панихиде по Костюшке на 15 октября и о каком-то стихотворении в честь этого героя, отпечатанном в типографии Польского банка. В особенности показалось много таких плакатов 13 октября.

Наместник решил положить предел беспорядкам. Он приказал вечером 13 октября н. ст. директору своей канцелярии, д. с. с. Казачковскому, изготовить все, что нужно, для объявления военного положения на другой день утром, 14 октября, и объявить его, разослав на рассвете печатные экземпляры во все дома.

Написанное еще в марте того года, военное положение было теперь немного изменено и отпечатано к утру 14-го в стольких экземплярах, сколько в Варшаве домов, кроме экземпляров для плакардирования по стенам. Каждый домохозяин получил отдельный лист и на нем расписался — мера, принятая затем, чтобы после никто из домохозяев не мог отговариваться неведением¹.

¹ Сообщено автору самим Казачковским. Некоторые подробности распоряжений по введению военного положения можно также видеть в приказе варшавского обер-полицмейстера от 1 (13) октября 1861 года, напечатанном во всех варшавских газетах. Казачковский подал наместнику еще прежде записку о необходимости военного положения, составленную под его редакцией разными чиновниками канцелярии наместника и генерал-губернатора. Эта записка напечатана в «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1869. IV, 157.

Военным положением запрещались всякие собрания, пение возмутительных гимнов, денежные сборы, распространение плакатов и т. п. Военным начальникам предоставлялось право принимать все полицейские меры, какие они признают в данном случае нужными для водворения спокойствия. Они могли запираť, когда вздумается, лавки, кофейни и прочие публичные заведения; воспрещать собрания в частных и публичных домах, производить во всякое время у жителей обыски, всех подозрительных и празднопроживающих подвергать аресту; в случае сопротивления власти — прибегать к оружию.

Сверх того, отдельным приказом полиции объявлены все шинки, баварии, сады Саксонский и Красинский закрытыми впредь до особого распоряжения. Извозчикам предписывалось останавливаться мгновенно по требованию полицейских чинов, кого бы они ни везли. Студентам запрещалось без особенной надобности выходить на улицу. Более трех человек не должны были нигде сходиться и разговаривать.

Когда все это оглашалось, войска занимали означенные в особом приказе по армии пункты, и Варшава приняла в другой раз вид осажденного города. Жители смотрели на это и как бы не верили глазам, но трусили все. День прошел мирно.

В течение его красные совещались. «Что делать? Идти дальше тем же путем или приостановиться? Шутит или не шутит правительство?» Поблажек было оказано столько, что представлялось невозможным, чтобы те же самые власти, которые были так долго терпеливы и снисходительны, вдруг за одну ночь изменились совершенно. Между тем манифестация на годовщину Костюшки так хорошо уложилась во всех головах, так дразнила разными подробностями повстанское воображение...

По обсуждении вопроса со всех сторон решили попробовать устроить, что можно, что дастся, и с этой целью отправили часу в 9-м утра в костелы Свенто-Янский, Бернардинский и Свенто-Кришский кучу ребятишек и женщин,

которым велели запеть в известный момент гимны. «Что будет?» Но юные и неопытные менеры не могли сделать ничего: никакого пения у них не выходило. Тогда старшие не выдержали: вошли в костелы массой, увлекая туда же бродивший уныло по улицам народ, где были люди всякого звания, и гимны около 11-ти часов дня раздались во всех костелах с подобающей торжественностью. В соборе святого Яна на месте портрета покойного архиепископа, при катафалке (которого нарочно не убিরали) явился портрет Костюшки.

Наместник и генерал-губернатор были немедленно обо всем этом уведомлены. Ими приказано: «В точности следовать постановлению, выданному особо на случай сборищ в костелах, то есть окружить костелы (где поются гимны) войском и, когда служба кончится и народ станет выходить, арестовать всех взрослых мужчин, не трогая женщин и детей»¹.

Так и сделали: ко всем сказанным костелам приведены войска, и им отдано надлежащее приказание. В то же время коноводы манифестации отдали народу свое приказание: «Не выходить, не выдавать!»

Служба кончилась, но из костелов никто не показывался. Так прошел день и наступила ночь. Солдаты поставили ружья в козлы и разложили по улицам, против окруженных костелов, огни. В городе была мертвая тишина, но никто не спал.

Замок, где собрались все высшие военные и гражданские чины из русских, не без страха прислушивался к этой роковой тишине, которую нарушали изредка разве звон чьей-нибудь сабли о мостовую, или бряканье ружья о ружье, не то глухой говор солдат.

¹ Вот это постановление вполне: «§ 10. Во все костелы отрядить полицейские команды, кои должны в случае пения запрещенных гимнов давать знать ближайшему начальнику войск, который посылает к тому костелу, где поются гимны, войско. Войско внутрь костела не входит, но, при выходе оттуда народа, арестует мужчин, пропуская женщин и детей. При этом, если можно, присутствует один из полицеймейстеров. Во всяком случае должен быть непременно циркуловый комиссар» (полицейский офицер, выше нашего квартального надзирателя и ниже частного пристава).

Рассуждали о том, что делать с запертыми массами. Большинство считало за лучшее «строго держаться постановления, ждать, когда выйдут и тогда арестовать»; а что когда-нибудь да выйдут, в этом, разумеется, не было сомнения. Уже стало известно, что к окнам Свенто-Янского костела народ приносил булки и швырял их внутрь, где это было удобно.

Герштенцвейг стоял на стороне большинства, то есть находил неуместным нарушать только что изданное постановление. Чувствуя близ полуночи чрезмерную усталость, он, не спавший к тому же двое суток сряду, отправился домой, в Брюлевский дворец, и оставил Ламберта на жертву его бесхарактерности.

Отъезд генерал-губернатора из Замка был замечен в городе, и к нему ту же минуту явился епископ Декерт с просьбою «выпустить народ из костелов и никого не арестовывать». Ему было объявлено через адъютанта, что «пусть выходят: препятствие к этому нет; что же до арестов, это дело правительства, и рассуждать теперь об этом не время»¹.

Когда Декерт принес этот ответ в свой духовно-революционный кружок, ксендзы красного оттенка заявили, что необходимо устроить ночную процессию, с хорутвьями, крестами и выручить посаженных.

Бывшие в кружке светские агитаторы предлагали свое содействие и находили возможным при всеобщем чрезвычайном раздражении масс поднять весь город.

Смутные сведения об этих затеях достигли, с разными прикрасами и дополнениями, до некоторых начальников войск. Рассказывалось между прочим, что где-то уже собраны огромные толпы народа и только ждут приказания вождей, чтобы ринуться. Духовенство пойдет в полном облачении, с разными религиозными инсигниями, понесут святые дары, монстранцию... Генерал Хрулев, наслушав-

¹ Сообщено адъютантом Герштенцвейга; ниже некоторые подробности от него же.

шись всего этого на улице, явился в Замок в первом часу ночи и, передав наместнику и окружавшим его генералам все слышанное, заметил, что «считает минуту весьма опасной; что взрыв возможен; конечно, жители войск не одолеют, но все-таки произойдет побоище страшное, и падут многие жертвы, может быть более, чем 8 апреля; особенно невыгодно для правительства перебить кучу попов, которые непременно явятся во главе толпы».

В предупреждение катастрофы Хрулев находил уместным изменить особым постановлением 10-й параграф распоряжения об арестах в костелах: «Послать в окруженные войсками костелы офицеров с невооруженными командами солдат, которые предложат народу выйти; если этого не последует, — ввести вооруженные команды и всех арестовать».

Многие из бывших тогда в Замке высших чинов одобрили эту меру. После небольшого раздумья с ней согласился и наместник и уполномочил генерала Хрулева распорядиться в том духе, как им было предложено.

Хрулев вышел и отдал соответственные приказания, вследствие чего во все три храма были отряжены невооруженные команды под начальством офицеров.

Когда одна из таких команд вступила в Свенто-Кршиский костел, там никого не оказалось. Одни говорят, будто бы народ ушел через сакристию в сад, прилегающий к костелу, и оттуда перебрался частью на Сверто-Кршискую, частью на Мазовецкую улицу. По другим рассказам, народ ушел через подземелье, существовавшее между костелом и домом графа Андрея Замойского¹.

Другая команда немного спустя отправилась в Бернардинский костел. Едва только солдаты показались на пороге, как народ, схватив скамейки, шандалы и что попало под руку, бросился на них и заставил отступить. В храм были

¹ Действительно был какой-то подземельный ход в тех местах. Позже спускались туда наши офицеры, и один из них рассказывал автору, что, сойдя в саду Замойского в грот близ угла теперешней веранды, он вышел каменным коридором в сакристию Свенто-Кршиского костела. На дороге поднял женский зонтик.

введены вооруженные команды, которые после небольшой свалки арестовали всех мужчин и отвели в Замок.

Аресты в Свенто-Янском костеле произошли в присутствии генералов Герштенцвейга и Потапова, которые прибыли туда со своими адъютантами часу в четвертом ночи. Все они были в мундирах, только с накинутыми сверху шинелями, так как было довольно холодно.

Когда эти лица переступили через порог, им представилась следующая картина. Храм горел огнями. В середине — великолепный катафалк с серебряным балдахином, усеянным траурными слезами; священнослужители в светлых, сияющих ризах, и народ, павший на колени, лицом к алтарю, в совершенном безмолвии.

Один из генералов произнес по-польски: «Господа, выходите, а не то приказано будет вас арестовать».

Никто не отозвался ни одним словом. Темная масса, как один человек, затаив дыхание, точно оцепеневшая или сраженная внезапной смертью, стояла по-прежнему на коленях. Серебряный катафалк горел и переливался огнями. Весь храм дышал светом и молитвой.

Трудно было начать в такую минуту и при такой обстановке аресты; но делать нечего, приказ был отдан. Солдаты вошли и стали брать людей по очереди, небольшими кучками, и отводить в Замок. Один ксендз, в белой ризе, с крестом в руках, шел всю дорогу, читая молитвы, и сейчас же по прибытии на замковую гауптвахту заснул. Иные отдавались в руки безмолвно, не сопротивляясь нисколько; другие вступали с солдатами в борьбу, доходившую местами до серьезных схваток.

Как только начались аресты, на колокольне собора ударил колокол и заунывно разливался в пространстве над тихим городом. Сперва за суматохой его не слышали, но потом эти звуки стали раздражать многих из распорядившихся арестами. Герштенцвейг первый не выдержал и воскликнул: «Да снимите мне этого звонаря с колокольни!»¹

¹ Сведения от его адъютанта, стоявшего тогда подле генерала.

Но до него не так легко было добраться: лестница и сени колокольни были битком набиты народом. Пришлось арестовывать в такой тесноте по одиночке, а колокол гудел себе да гудел...

Близ пяти часов утра аресты кончились, и арестованные переведены из Замка в Цитадель.

«Сколько их?» — спросил Герштенцвейг.

«Тысячи две-три», — отвечали ему.

«Что мы будем с ними делать?... *Quelle terrible histoire!*»¹

Когда совсем ободняло, город представил кипящий котел. Можно было думать, что вот-вот вспыхнет восстание. Большие кучи народа бродили по улицам с угрожающими криками. Взрыв точно был возможен: все зависело от появления энергического вождя, от искры, а порох был в достаточном количестве. Но искры на ту пору не случилось; может статься, такой искры вовсе не было в тогдашней Варшаве, или она сидела в Цитадели. Сотни две-три казаков, пущенные по улицам, утомонили крикунов нагайками. К полудню кипучие волны совершенно улеглись, как будто ничего и не было. Хирурги, заготовленные на случай в Замке, разошлись по домам. Настала тишина. Среди этой тишины все, что только не было арестовано из вождей и влиятельных лиц разных кружков, собралось вместе с влиятельным духовенством в зале консистории, на Медовой улице. Тут были между прочим два епископа: Сандомирской епархии Юшинский и Келецко-Краковской — Маерчак; каноники Секлюцкий, Дзяшковский, Ржевуский; несколько ксендзов и новоизбранный капитулярный викарий, иначе администратор Бялобржеский, заступивший место архиепископа².

В первые минуты все это собрание метало громы и молнии. Высказывались упреки населению, всему вялому и

¹ Какая страшная история! (Сведения от того же адъютанта.)

² Сведения от Казачковского. Сообщая об этом автору, он заметил, что в течение всего 1861 года и позже не было минуты, казавшейся ему настолько опасной, как утро 16 октября.

бесхарактерному славянству: такой удивительный момент к поголовному восстанию — и не восстать!

Когда крики успокоились, собравшиеся начали рассуждать о положении своих братьев в Цитадели. «Сегодня все это здесь, дома, а завтра, в силу военного положения — или просто по распоряжению высшей власти, может очутиться на пути в Сибирь, наполнить казематы разных крепостей, быть приговорено к смерти!..» Между арестованными находились дети первых магнатов; эти магнаты, которых часть могла заседать тут же¹, в консистории, готовы были пожертвовать всем, отдать восстанию последнюю копейку, лишь бы увидеть своих детей сейчас свободными. «Что же делать? Какие придумать средства к скорейшему освобождению всего, что заперто в Цитадели и терпит там бог знает какую участь? Что делать вообще в такую страшную минуту, когда жизнь остановилась: город занят войсками, публичные сады заперты, общественные места тоже; не всякому можно выйти, когда он хочет, на улицу?.. Стеснительнее, ужаснее этого Варшава ничего не помнит!»

Среди таких вопросов, восклицаний, упреков друг другу за неумение вести дело как следует, по-европейски, какой-то ксендз сказал: «Нечего тратить понапрасну слов и времени, а надо действовать; прежде всего запереть оскверненные храмы: духовенство имеет на это право, постановление пап!»

Эта мысль поразила всех. Все ее одобрили, и тут же, не справляясь ни с какими законоположениями (часть которых была решительно на стороне правительства), собравшиеся составили такое воззвание консистории к варшавскому духовенству.

«Варшава, октября 16-го дня 1861 года.

Генеральная консистория архиепархии Варшавской к достойным настоятелям парафиальных костелов и духовных братств в Варшаве.

¹ Не подлежит сомнению, что на этом заседании было довольно много светских лиц разного звания, но имена их остались неизвестными, несмотря ни на какие расследования.

«По причине осквернения нынешней ночью варшавских костелов: митрополитального святого Яна и Вернардинского, оба эти костела, по приказанию его высокопреосвященства, администратора архиепархии, с сего дня запираются и, пока не произойдет открытие оных, никакое богослужение в них не может иметь места. Сверх того, из опасения, чтоб и другие храмы Господни не подверглись таковым же вторжениям и осквернению, его высокопреосвященство, администратор, приказал запереть с завтрашнего числа все парафиальные и другие костелы и каплицы, впредь до особого распоряжения, то есть пока не получится ручательства в том, что сказанные храмы будут обеспечены от поругания, и верный народ не увидит себя в возможности возсылать в оных с совершенной безопасностью свои молитвы к Богу.

Подписали: Судья-суррогат митрополитальный, варшавский каноник, ксендз Август Секлюцкий. Секретарь ксендз Цеслевский».

Это воззвание быстро облетело Варшаву. Все кружки и сословия читали его с восторгом и называли попов «молодцами, выручателями». Наместник также скоро узнал об этом воззвании и потребовал к себе администратора, с которым имел весьма горячее объяснение по этому предмету часу в 9-м утра того же 16 октября. Вялобржеский, попавший в руки тех же самых людей¹, которые управляли покойным архиепископом, человек, к тому же не менее слабохарактерный, говорил наместнику то, что ему было внушено разными помощниками и руководителями перед отбытием его в Замок. Представив потрясающие сцены арестов, «крайне поспешных и неосмотрительных», администратор в заключение сказал, что «распоряжение о закрытии храмов, еще не приведенное в исполнение, может быть отменено только в том случае, когда арестованные

¹ На основании якобы «завещания» Фиалковского, к администратору были приставлены в звании так называемых дорадцев (*doradca* — «помощник, советник»), те же самые лица, которые были в этом звании и при покойном архиепископе: именно каноники Дзяшковский и Секлюцкий.

будут немедленно освобождены все до единого и духовенство получит ручательство, что подобные сцены впредь не повторятся».

Расстроенный, больной наместник, почти не смыкавший глаз целых трое суток кряду, не счит удобным препираться и спорить с администратором о предмете, которого, как светский человек, хорошо не понимал; равно не хотел, вследствие разных соображений, поставить вопрос в такие условия, чтобы духовенство перестало воображать, что оно в самом деле сила, с которой нельзя бороться. Он сказал администратору, что сделает со своей стороны все, что может, к успокоению умов, надеясь, что точно так же поступит и духовенство, и они расстались.

Призванный в ту же минуту председатель следственной комиссии полковник Левшин получил приказание «отправиться в Цитадель и, произведя там, вместе с комендантом ее, генерал-майором Ермоловым, возможно скорую сортировку арестованным, освободить тех, кто покажется им менее опасным и виновным, причем обращать внимание на возраст»¹.

Сортировка была произведена очень быстро, и значительная часть арестованных освобождена к одиннадцати часам дня.

Генерал-губернатор ничего не знал об этом, по крайней мере до полудня. Принимая в девять часов, по заведенному порядку, рапорт от коменданта города, генерал-майора князя Бебутова и услышав от него, что он едет в Цитадель, он приказал взглянуть на арестантов и позаботиться, чтобы у них было все необходимое: хорошая пища, для спанья тюфяки и солома².

¹ Сведения от Левшина. Он добавляет, что, когда он пошел к дверям, наместник будто бы воротил его с порога и сказал: «Не стесняйтесь!»

² Сведения от князя Бебутова. Въезжая в исходе десятого часа в Цитадель, он встретил, к немалому своему изумлению, две большие партии арестантов, человек приблизительно 500, шедших по Константиновскому мосту в город. Потом, во дворе Цитадели, попалась ему еще партия. Пробыв в Цитадели около часу, в течение которого сортировка

После этого генерал-губернатор принял еще несколько лиц и отправился в Замок, где узнал все и имел с наместником, глаз на глаз, то крупное объяснение, о котором было столько различных предположений и толков, но которое до сих пор остается тайной.

Иные думают, что Герштенцвейг высказал наместнику неудовольствие на крайнюю бесхарактерность его распоряжений: «Нарушив собственное свое постановление, на том основании, что аресты были признаны делом неизбежным и неотвратимым, заставив его, Герштенцвейга, распорядиться этим в соборе, — через несколько часов отдать приказ об освобождении арестованных! К чему же была вся эта ночная, печальная комедия, свалка народа с войсками при звоне набатного колокола; к чему был соблазн нарушения собственного приказа?»

Тут же вылилось, вероятно, и все то, что затаено было в груди довольно давно, что накопилось в течение нескольких месяцев, привезено из Петербурга...

Как бы то ни было, наместник и Герштенцвейг вызвали друг друга, по мнению, большинства, на дуэль, которую, во избежание скандала, решились привести в исполнение особым, так называемым американским способом; брошен был жребий: кому выпадет «пистолет», тот должен застрелиться. Пистолет выпал Герштенцвейгу...

Так рассказывали в Варшаве и рассказывают до сих пор¹. Верно известно только то, что Герштенцвейг уехал из Замка часу в пятом дня, чрезвычайно расстроенный. В пять он обедал у себя дома с директором своей канцелярии Честилиным и одним из своих адъютантов Поленовым. Говорили мало. Всем было, что называется, не по себе.

и освобождение непрерывно продолжались, и убедаясь, что о тюфяхах и о прочем заботиться особенно нечего, князь поехал опять в Брюлевский палац доложить обо всем виденном генерал-губернатору, но его уже не было дома: он был в Замке.

¹ В Петербурге составилось об этом точно такое же мнение. Говорили, что со стороны Герштенцвейта это уж чересчур по-рыцарски. Выпади пистолет Ламберту, он бы не застрелился.

Пообедав, Герштенцвейг лег в своем кабинете¹ отдохнуть, не раздеваясь, в сюртуке, как был, и не велел никого принимать. Так пролежал он, почти без движения, весь тот вечер².

На другой день, 17 октября н. ст., встав с постели часов в 7 утра, он зарядил револьвер и, подойдя к одному из окон кабинета, выстрелил себе в лоб два раза. Первая пуля, скользя по черепу, прошла сквозь гардину и окошко. Другой выстрел произвел в черепе одиннадцать трещин, и пуля, пробив лоб и скользя по внутренности черепа, остановилась в затылке³. Несмотря на это, несчастный страдалец был не только жив, но и сохранял все чувства. Дойдя снова до постели, стоявшей в другом покое, он лег и позвонил⁴.

Выстрелов в доме никто не слышал. Вошедший по звонку человек, увидев генерала окровавленным, бросился вон к дежурному адъютанту. Когда тот вбежал, — *«Imaginez-vous, — сказал ему спокойно Герштенцвейг, — deux coups, et je ne suis pas encore mort!»*⁵

Дальнейший их разговор неизвестен...

В девятом часу приехал Ламберт и, желая говорить с больным наедине, дал знак адъютанту, чтобы он вышел; но тот объяснил, что без приказа своего генерала сделать этого не может. «Прикажите!» — сказал Ламберт. Герштенцвейг, по-видимому неохотно, дал знак...

¹ Что был потом, последовательно, кабинетом Велепольского, Милютина (в его приезд в Варшаву) и Соловьева.

² Сведения от князя Бебутова. Он подходил к двери кабинета несколько раз, приотворял ее тихо и видел Герштенцвейга в одном и том же положении, на ближайшей софе, которая и теперь стоит на том же месте, влево от двери.

³ Официальные источники.

⁴ Сведения от одного из адъютантов Герштенцвейга. Он рассказывал между прочим, что после того, как было замечено сильное расстройство в генерале, кто-то умышленно испортил его револьвер или по крайней мере старался испортить.

⁵ Вообразите: два выстрела, и я еще жив!

Между тем в городе пошли таинственные восточные шушуканья, причем всякий, рассказав кому-либо историю, прибавлял: «Только, пожалуйста, никому!», хотя все давно знали.

Страшно сказать: несчастный умирал 19 дней! Смерть последовала, когда попробовали вынуть пулю — 24 октября ст. ст.

* * *

Дело о храмах продолжалось. Несмотря на освобождение арестантов, которых к вечеру 16 октября н. ст. осталось в Цитадели, из числа захваченных в храмах, только десятая часть, духовенство в стачке с заговором, получившим при этих замешательствах и беспорядках новый толчок, оживление и силы, склонило администратора отдать приказание о закрытии костелов Свенто-Янского и Бернардинского с приложением печатей, что и было исполнено перед вечером 17 октября благочинным Витманом, а в остальных прекращено богослужение¹.

Узнав об этом, наместник приказал директору Комиссии духовных дел (Велепольскому) потребовать от Капитулы объяснения ее поступка и вместе с тем передать администратору, что «возлагает на него ответственность, по всей строгости военного положения, за все последствия, какие от того произойти могут».

Велепольский дал знать об этом Капитуле и через час или через два получил ответ администратора на полутора листах. Вот из него выборки:

«...После того, как я (пишет администратор) по поводу происшедших событий и могущих случиться еще ужаснейших последствий, выразил перед его сиятельством, графом Ламбертом скорбь всей церкви, всего духовенства и народа христианского, наместник дал мне слово, что подобного

¹ Сведения от каноника Секлюцкого. Свенто-Янский костел заперт в 5 часов, а Бернардинский — в 6 часов пополудни.

рода неслыханные действия будут прекращены и более не повторяются...

Тогда и я, со своей стороны, объявил, что распоряжение духовных властей относительно закрытия костелов также будет уничтожено...

Ныне наместник и директор Комиссии вероисповеданий требуют от меня письменного объяснения по сему предмету. Повторяю, как уже сказал на словах, что я готов уничтожить означенное распоряжение, и оно будет уничтожено: костелы отворены быть могут: но кто поручится, чтобы народ, раздраженный и выведенный из себя последними событиями, не запел там опять религиозно-патриотических гимнов? Дабы достигнуть более спокойного настроения умов, потребно много времени и некоторая свобода, по крайней мере духовная; а со стороны правительства не сделано к тому покамест ни одного шага, и нет официального заверения, что такие ужасающие сцены и поругание храмов не повторятся... Напротив, в § 10 полицейского приказа от 14 октября упомянуто, что во все костелы будут назначаемы полицейские солдаты, которые, в случае пения запрещенных гимнов, обязаны доносить о том ближайшему военному начальству, чтобы оно прислало войско...

Таковым распоряжением молитва, духовенство и народ преданы во власть полиции и войск, и можно думать, что правительство имеет в виду еще более ужасные меры, которые поставят религию и церковь в еще опаснейшее положение...

Массы невинных жертв захвачены в храмах, сих единственных убежищах христиан для передачи их молитв богу, убежищах, казалось, достаточно огражденных от всяких насилий 213-м параграфом свода уголовных и исправительных наказаний, и покамест хотя одно лицо из числа этих несчастных и ни в чем не повинных узников, а равно и других жертв, беспрестанно хватаемых и подвергающихся всяким оскорблениям на улицах, останется под арестом, до тех пор никакое успокоение умов не возможно,

и влияние духовенства не сильно привести к желаемым результатам...

А потому, приняв все сие во внимание, я не могу никоим образом отменить так скоро приказание, только что вчера данное относительно закрытие костелов, и они должны еще оставаться некоторое время запертыми...

Высокое же правительство тем временем найдет, со своей стороны, возможность обдумать способы к возвращению народного доверия и освободить всех арестованных в костелах и на улицах, а кроме того, привести жителей к убеждению, что подобные горестные события не повторятся...»

Велепольский в ту же минуту сообщил эту бумагу наместнику, который, прочтя ее, потерял всякое терпение и, как это бывает всегда с бесхарактерными людьми, перешел вдруг от слабости к крайним строгостям. По его приказанию начали хватать по улицам и где попало всех мало-мальски подозрительных. 19 октября н. ст. арестовали даже недавних его друзей, Вышинского и Стецкого. Тогда же арестованы сапожник Гишпанский и литератор Вольский в алтаре Свенто-Кршиского костела, где они укрывались. Затем взяты целые десятки менее известных агитаторов. Цитадель снова наполнилась. Комиссар 10-го цыркула, Держановский, вследствие подозрения, что он содействовал уходу толпы из храма святого Креста, утром 15 октября, приговорен к расстрелянию и если остался цел, то этим обязан энергическому заступничеству генерала Хрулева. С купцов, которые заперли лавки в день годовщины Костюшки, взыскано по 100 рублей штрафа с каждого.

Через неделю после этого (26 октября н. ст.) граф Ламберт, едва живой, харкавший кровью, более похожий на тень, чем на человека, вдруг скрылся из Варшавы, ни с кем не простясь. В газетах было написано только, что «наместник Царства Польского отправляется, с высочайшего соизволения, за границу на несколько недель для поправления здоровья».

Он жил с тех пор безвыездно на острове Мадере. Разговор о Польше его времени был постоянно для него больным местом, к которому посещавшие его знакомые и друзья из России и других земель считали не деликатным дотрагиваться. Один старый его приятель из Петербурга, прожив на Мадере около полугода и видясь с Ламбертом чуть не всякий день, воротился в Россию, не разъяснивши нисколько ни для себя, ни для других роковую тайну.

І—ІІІ
Похождения Завиши
(1833)

Прежде чем отправиться эмиссаром в Польшу, Завиша старался как можно ближе сойтись с начальником предприятія Заливским, бывал у него (в Париже) очень часто, выпытывал имена членов общества, чтобы по этому судить, насколько серьезно их дело. Но Заливский никого не назвал, говоря, что связан клятвой и честным словом; что когда, по отправлении агента в Галицию, прибыл оттуда уполномоченный от тамошней демократической организации и тоже расспрашивал об именах членов *Zemsty Ludów*, предлагая ту же минуту по открытии тайны вручить обществу 200 тысяч франков — ему было отказано и деньги не приняты.

Завиша видал у Заливского Генриха Дмуховского, Дверницкого, Лелевеля, Косицкого, Ледуховского, но раз при вопросе, что это за народ, Заливский отвечал: «Все разные партии. Ледуховскому я бы ничего не поверил. Дверницкому однажды хотел было открыться, но, припомнив одно обстоятельство, отдумал». «Ну, а Лелевель?» — спросил Завиша. Заливский не отвечал не чего.

В одну из встреч с Заливским Завиша попробовал выпытать у него хотя бы имена эмиссаров, отправляемых в край. Заливский и тут открыл очень мало. «Каждый должен знать только своего соседа», — отвечал он и назвал соседей Завиши: в обводе Ленчицком — Боржевского и в Равском — Леона Залесского.

Когда Завиша выразил окончательное согласие отправиться, Заливский указал ему в Варшаве ксендза Пулавского, а этот должен был указать, в свою очередь, другие лица.

Уминский передал какие-то знаки, по которым эмиссары и организации могут друг друга узнавать, и обещал прислать из Лиона особый *патент*, с объяснением *всего*, что после и сделано. Один знакомый Завиши, француз Баррели, был несколько на него похож и дал ему свой паспорт, по которому Завиша получил из Парижской префектуры новый паспорт, для отъезда в Пруссию — и уехал в феврале 1833 года.

Сначала Завиша жил в Берлине. Потом перебрался в деревню своих отдаленных родственников, Дзяловских, Туржно, близ Торуня, но оставался там до 11 марта н. ст. в ожидании другого эмиссара, Каликста Боржевского (служившего в бельгийской армии), дабы снабдить его некоторыми советами и указаниями, так как он должен был работать (собирать партию) в тех же местах.

Наконец, потеряв надежду на его прибытие, Завиша выбрался, переодетый крестьянином, из Туржна и перешел пешком границу Царства Польского. Идя проселком через деревни: Волю, Кликол, Злотополе, город Липно; потом по почтовой дороге на Добржин и Виняры (где переправился через Вислу), он заметил везде расставленные деревенские караулы и в жителях какую-то особенную осторожность. В корчме Ощивильк, до которой он дотащился с большим трудом и опасностями, задами деревень: Радзив, Цехомец и Лонцк, его взяло раздумье, идти ли дальше, или воротиться? Тут он увидел, что странствование по Польше эмиссаров не так легко, как они представлялись каждому из них в Париже; страх одолел всякие другие размышления, и Завиша, перейдя снова Вислу у Виняр, быстро перенесся обратно в Туржно через деревню Ясень, город Липно и селения: Злотополе, Волю, Злотарию и Плюеховенсы. Было 10 или 11 апреля н. ст. (1833).

Боржевский все еще не являлся. Завиша был этому отчасти рад, так как опасное предприятие замедлялось и даже могло вовсе расстроиться. Вдруг получает он письмо, что Боржевский уже давно в Пруссии и что его дело, по части приискания отважных людей для вторжения в Царство, идет недурно. Боржевский жил у помещика Сляского,

куда приглашал прибыть и Завишу для совещаний. Завиша поехал. Когда они встретились, последний не решился рассказать товарищу о своих неудачных похождениях в Царстве, кончившихся побегом, чтобы тот не заподозрил его в трусости. Напротив, Завиша всячески представлял из себя человека, готового на все, и они оба начали собирать партию из разного народа, в чем помог им главнейшим образом унтер-офицер бывших польских войск Войткевич, человек расторопный и отважный. Мало-помалу, в неделю или около того, у них набралось шесть человек народу всякого звания: Антон Аксамитовский, Седлецкий, Курреля, Ковалевский, Зайонц и Войткевич. С ними Завиша и Боржевский решились перебраться на ту сторону реки Дрвенцы, в Карчевском лесу, против деревни Плонной, что в Царстве Польском. Им говорили, что нужно только отыскать рыбака Кречмера, занимающегося перевозом разных *таких людей*, и он перевезет. Кое-как нашли проводника к Кречмеру и пустились в путь (30 апреля н. ст.). Но дорогой проводник отчего-то бежал. Нашли другого — и тот бежал... Наконец, еврей-контрабандисты указали им убогую хату Кречмера, и он перевез их через Дрвенцу и потом довел до деревни Радзики, взяв с каждого человека по злоту за перевоз и 4 злота за провода до Радзик¹.

От Кречмера партия узнала, где в Радзиках стоит казацкий кордон, чтобы сделать на него нападение. Аксамитовский, подойдя к дому (была довольно темная ночь), стукнул в окно и сказал по-русски: «Записку принес, братец!» Один казак вышел и был пробит кинжалом, после чего Завита с Войткевичем вскочили внутрь и давай колоть и бить казаков. Те заматались и побежали вон; партия дала залп из ружей... Человека три легло, остальные были переранены.

Забрав их оружие, повстанцы отправились поспешно в направлении к деревне Хойно, принадлежавшей Бор-

¹ В брошюре, нами цитированной, в тексте «Artur Zawisza i Michał Wollowicz» рассказывается, будто бы Завиша проникал и в Варшаву, арестован там у Ратуши, но бежал. Даже сообщается час, когда он вошел в Варшаву: 9 часов утра 14 марта н. ст. (с. 11).

жевскому, куда прибыли 3 мая н. ст. утром и весь этот день оставались у одного мужика, хорошо известного Боржевскому. Подкрепились пищей, выпались. А Завиша описал побоище с казаками в стихах и после торжественно читал товарищам.

В деревне Хойно жил дезертир Сибирского егерского полка Морозов. Он легко дал себя уговорить присоединиться к партии, которая после этого двинулась в дальнейший путь по лесам и достигла через два дня (почти ничего не евши) до так называемых Любовецких лесов. Встреченный дегтярник Бетновский привел к Завише караульщика лесов Каминского, которого убедили отправиться к помещику Вильчевскому за провиантом. Вильчевский сам приехал и привез партии провианту 7 мая н. ст. Вместе закусили и потолковали. Завиша не преминул прочесть свои стихи о «славном побоище в Радзиках». 8 мая н. ст. перешли в Ясенский лес, где явились к ним с провиантом помещик Островский и кондитер из города Липно, Губрик, и оба потом остались в партии, которая тронулась в Орловские леса, примыкавшие к имению богатого и влиятельного помещика Мыстковского.

Наслышавшись об его повстанском характере, Завиша отправился к нему в дом в виде мужика. Мыстковский принял его очень радушно, предложил свое содействие, сказав при этом, что он должен вести себя как можно осторожнее, потому что, вследствие истории в Радзиках, отправлены уже воинские команды, которые его ищут. Мыстковский советовал даже немедленно расположиться по дворам разных помещиков под видом слуг, мастеровых, пока пройдет гроза, а там следовать далее. Завиша согласился на это и, воротясь в лес, привел оттуда всю партию 12 мая н. ст. в дом к Мыстковскому, который поместил часть народу у себя, а часть разослал по дворам соседей, говоря, что «нечего делать, надо помочь; натворили глупостей, да ведь свои, не выдавать же!». Другие были тех же убеждений. Особенно сочувствовал повстанцам молодой помещик Росцишевский. Он приехал к Мыстковскому и прожил у него два дня, кутя с вождями партии и сочиняя разные планы. Между прочим все вместе

толковали о том, как бы напасть на Плоцк, или хоть Липно. Войск там немного; если ж будет неудача, то можно укрыться в монастыре... Банда в их мыслях росла до значительных размеров... В Плоцке являлась какая-то организация... Они брали пушки, стоящие в одном известном им пункте и плохо охраняемые москалями. Завиша опять читал стихи...

Мыстковский тем временем съездил в Липно и привез оттуда печальные известия: о пребывании партии в тех местах было уже известно, и приняты самые деятельные меры к ее разысканию. Это заставило Завишу переменить место: он уехал к Росцишевскому и прожил у него три дня, до 19 мая н. ст., Боржевского отправили к кому-то, как бы гувернера; но он, видя, что дела их сильно плохи, бежал за границу. Завиша собрал людей и перешел с ними в деревню Вержницу. Во время пути пристало к нему несколько новых охотников до приключений, между прочим, два молодые человека: Люборадзский и Вебер, оба имевшие по 16 лет, но отчаянные и отважные. Они уже давно, бросив службу в Плоцке¹, скитались по лесам и искали «братьев».

23 мая партия Завиши прибыла в имение г-жи Лемпицкой, Носегнев, отлично принята и накормлена в саду; водки, вина, даже шампанского было вдоволь. Однако опытные люди из наехавших туда помещиков советовали Завише скрыть скорее свои следы переправой за Вислу, так как на их стороне было весьма небезопасно. Но как переправиться? Г-жа Лемпицкая обещала все уладить, и один из ее людей указал Завише пункт, куда должно собрать партию и где они все найдут.

26 мая н. ст. партия была собрана в Тулибовских кустах, а 27-го тронулась к реке, но увидела в указанном месте только лодку без весел и более ничего. Поэтому партия снова воротилась в кусты и пробыла там до 1 июня. В этот день один мужик г-жи Лемпицкой переправил людей Завиши на ту сторону Вислы, недалеко от Влоцлавка.

¹ Люборадзкий служил аппикантом в Плоцком суде исправительной полиции; Вебер — в канцелярии президента города.

Расположившись под этим городом, в лесу, партия сочиняла план нападения на город, но посланный туда крестьянин узнал, что там 60 человек команды, сильно бодрствующей по причине слухов о бродящих кругом бандах. Уже за голову Завиши было назначено 500 злотых.

Двинулись к деревне Люборжу, чтобы получить провианту, но были приняты там очень дурно, даже насилу унесли ноги в Кросненский лес, где, достав кое-как разной провизии и игральные карты, сели играть в вист, весело толкуя о том, как их банда увеличится и они пойдут на Варшаву, отравят колодцы в казармах, убьют Паскевича... Вдруг, откуда ни возьмись, гусары, — и почти всех тут же забрали.

Часть, бежавшая к Влоцлавку, была захвачена немного позже.

IV

Воззвание Заливского к галицианам

Граждане Галиции!

Появление моего плана «Освобождение отчизны» дало повод к разным толкам. За недостатком времени весьма немногие поняли, в чем дело; ибо нет еще и трех месяцев, как мы начали свои действия в Галиции. Поэтому считаю моей обязанностью выставить здесь главные противоречия рядом с моими, и это лучше всего покажет, чего должно держаться.

Перед вами два пути: *дипломатия и борьба*. Во главе первой стоит Чарторыйский, желающий конгрессовой Польши, то есть возврата назад, к тому рабству, из которого высвободила нас Ноябрьская революция. Заливский хочет продолжения борьбы, хочет поднять на ноги огромные силы, доселе еще нетронутые; хочет, чтобы не шестьдесят каких-нибудь тысяч шляхты, а двадцать слишком миллионов народу (*ludu*) добивалось с оружием в руках свободы, гражданства и прав собственности. Чарторыйский вымаливает у разных дворов, чтобы предстательствовали перед Николаем об амнистии, — Заливский только в собственных

силах народа видит спасение. Чарторынский думает, что народ сам по себе не сумеет освободиться; он меряет народ на свой аршин, считая его лишенным всяких способностей, слабым, бесхарактерным, боязливым, склонным к интригантству, — Заливский, напротив, видит все эти свойства только в одном Чарторыском и его партии, в доказательство чего ссылается на три наши последние революции: Барскую, Костюшковскую и Ноябрьскую.

Есть люди, которые одобряют план Заливского, но жалуют лишь о том, что этот план вышел не от князя Чарторыского, а от простого солдата; стало быть, кто его знает, хорош он или нет. На это отвечаю, что в Северной и Южной Америке, в Испании и Швейцарии, а также и во Франции, не князья, не маркизы и не бароны, а дети ремесленников и крестьян составили планы освобождения отечества и привели их в исполнение. Впрочем, как угодно; перед вами два: княжеский и солдатский — выбирай каждый себе по вкусу.

Иные спрашивают опять: а есть ли у Заливского уполномочия от соотечественников действовать таким образом? А я скажу: кто уполномочивал Христа, Магомета, Телля, Мину, нашего Чарнецкого и многих других распространять свое учение, не то освобождать отечество? За мной идут те, которые находят это для себя удобным. Повторяю два плана: княжеский и мой.

Другие спрашивают: имеет ли Заливский сношения с Лафайетом, Оконеллем, Роттеком и иными? Отвечаю на это: Вашингтона в Америке никто не спрашивал о подобных вещах. Он просто предложил план, план этот понравился жителям, и кончено: его попросили исполнить. И к чему ведут эти сношения? Что они, сделают меня умнее, что ли, отважнее, честнее? Нисколько!

Удивляются также некоторые, что составитель плана не сенатор, не сеймовый депутат, не кто-нибудь из генералов. Отвечаю на это, что, желая подвинуть массы на что-либо чрезвычайное, необходимо самому подать пример, показать, что это может быть исполнено, самому идти на всякие

опасности. А наши сенаторы, депутаты и генералы чересчур дорого себя ценят, чтобы выставить свое высокое достоинство на эшафот или на виселицу. Им неловко умереть смертью Регула, Риего и тому подобных героев. Такими были они и до революции, и на меня взвалили привести ее в исполнение; таковы они и теперь. Всякий из них мастер сказать: вперед, ребята! а не скажет: марш за мной!

Многие твердят, что Заливский враль и обманщик, а Чарторыйский человек порядочный; что он вовсе не о конгрессовой Польше, не об амнистии хлопочет, но своим влиянием у дворов приведет край к освобождению и сделает его счастливым. Я готов охотно снести всякие оскорбления и преследования, как враль и обманщик, лишь бы только отечество было свободно. Но спрашиваю вас: неужели Чарторыйский найдет теперь больше доступу к разным министрам, слоняясь по их передним как простой скиталец, чем тогда, когда стоял во главе народа со ста тысячами войска? Не умел тогда действовать, а теперь уверяет, что все ему удастся. Опыт показывает, однако, что дворы стоят только за существование тех, кто действительно существует — пример этому Греция и Бельгия. Так и тут: не Чарторыйского влияние, а наша отвага и самоотвержение могут что-либо сделать.

Есть опять такие, которые говорят: Заливский нас скомпрометирует перед правительством, и оно начнет нас преследовать. У таких спрашиваю: когда же это Заливский советовал бунтовать Галицию либо Познань? Напротив, разве не прилагал я всевозможные старания, чтобы удержать эти провинции от малейшего революционного движения, и разве не для того ускорил революцию в Польше, чтобы разрушить планы Николая относительно этих провинций и оградить Европу от новых атак?

Я знал очень хорошо, что покушение Александра в 1815-м, которого агентом в то время был Чарторыйский, — наполовину были уничтожены отделением Галиции и княжества Познанского. Николай хотел в 1830 году это поправить, пользуясь Французской революцией, но мы не дали. Теперь,

если бы Николай вздумал занять Галицию и Познань, мы бы дрались с отчаянием, хотя бы Пруссия и Австрия нас не просили: ибо с присоединением нашим к России погас бы для нас последний луч надежды. А потому сильно ошибаются те, кто через этот компромисс перед своим правительством боится стать врагом Николая. Может быть, Европа и дворы втайне более ценят тех, кто хочет восстановить целый край, а не одну конгрессовую Польшу, и каждый рассудительный человек согласится, что уж чересчур много нам будет требовать от чуждых народов, чтобы они воскресили наш быт своими войсками и своими миллионами, не имея в виду чем-нибудь попользоваться и от нас. Скорее всего, освободив наши земли из-под русской власти, они присоединили бы их к себе в вознаграждение за военные издержки и вместе из предосторожности, чтобы мы снова как-нибудь не попали, по своей неловкости, в руки москалей.

Очень многие говорят: Заливский хочет быть диктатором, а человек он суровый, потачки давать не любит, не разбирая сословий. Хлоп у него может быть министром, лишь бы оказался способным и добросовестным; а князь, граф, вообще дворянин, пожалуй, вечно останется простым солдатом, не то канцеляристом, если не имеет никаких других достоинств, кроме титула. В случае нарушения порядка хлоп и дворянин караются у него одинаково... На это не могу ничего возразить, ибо все это правда: я действительно таков. Но спрошу у вас, что сгубило наш край, как не разные послабления, примеры которых можно видеть на всяком шагу в революциях Костюшковской и Ноябрьской, где разные негодяи извиняли себя иной раз тем, что не было письменных приказаний: такой-де был план, от того-де проиграно сражение, что неприятель напал нечаянно, и тут же то и дело кричали: единство и доверие — и все будет хорошо! Но чтобы явилось доверие и единство, должен быть кто-нибудь такой, кто бы расправлялся со всякой дрянью и учил уму-разуму непокорных: вот это-то и есть диктатура.

Толкуют еще: Заливский республиканец, норовит устроить республику, которая никаким образом не удержалась

бы среди стольких монахий, одна как перст. На это скажу: точно, я республиканец и решился умереть республиканцем; но все-таки я не такой безумец между республиканцами, каким меня обыкновенно представляют. Кажется, очень ясно выражено у меня и поставлено главным правилом, в основных пунктах партизанского устава, что народ сам учреждает себе правительство и законы. Не попрекали бы меня этим, если б оглянулись на Грецию и Бельгию. Обе эти земли поднялись за тем, чтобы быть республиками, но потом должны были согласить свое правление с общим положением дел в Европе. Так и мы: если в продолжение нашей борьбы два-три народа не учредят у себя республик, — и мы не будем республикой: по крайней мере все-таки станем на той дороге, по которой идут немцы, французы, англичане и другие, которые не знают личного произвола правителей, имеют законы, промышленность, просвещение и, что ни день, идут к большему и большему процветанию, к лучшим порядкам.

Многие твердят, что Заливский хочет ограбить шляхту и все отдать хлопам — построить на погибели одних счастье и благоденствие других. Люди, говорящие это, не понимают дела, как оно есть и должно быть, и вообще сжились с невольничеством. У них непременно кто-нибудь сидит наверху и давит другого: либо шляхта хлопам, либо хлопы шляхту. Нет того, чтобы представить себе среднее пропорциональное положение, где ни один другого не давит, а всем хорошо и удобно. Не имеют ни малейшего понятия о том, что такое действительно называется собственностью. Не знают, что собственность — есть только то, что приобретено трудом и промыслом; а взятое и отнятое силой есть грабеж и воровство. Неужели, когда бы хлоп взял у кого-либо что даром и насильно, был бы справедлив? За тем, у кого это отнято, вечно бы оставалось право взять отнятое обратно при первом удобном случае. Тогда бы край не имел, значит, правительства, а была бы в нем страшнейшая анархия. Край, который берет собственность у одних, чтобы дать другим, должен заплатить за это по самой добросовестной оценке;

и притом может приобретать только то, что для других составляет излишек, что им в тягость, дабы снова продать тем, кто не имеет никакой собственности, и таким образом уравнивать интересы и сделать всех гражданами одной и той же земли, дать всем соответственные права. Это не только не будет незаконно и несправедливо; напротив, народ будет таким образом гарантирован от взаимной ненависти сословий; низший не будет иметь причины мстить высшему за постоянное презрение и несправедливость.

Наконец, многие говорят: положим все это и так, все это и хорошо, что проповедует Заливский, но есть ли у него достаточные способности, чтобы привести все это в исполнение? Настолько ли он добропорядочен и честен, насколько это требуется от человека, берущегося за подобную роль? Эти вопросы принадлежат к самым основательным, к самым справедливым и даже совершенно необходимы: ибо никуда не годится дело, как бы оно само по себе чисто и хорошо ни было, если его отдадут в руки неловкие и нечистые. На все на это мне отвечать нечего, ибо никто себе судьей не был и быть не может. Вам, граждане, вам самим предоставляется вникнуть в этот предмет и осмотреть его со всех сторон, с какой кому удобнее и лучше.

Немногого прошу я у вас для отечества: от каждого горсть пороху и какое-нибудь оружие, а уж найдутся такие, кто пустит это в ход против Николая и его полчищ, руководясь любовью к своей земле и к человечеству. Во сто раз больше дали вы Чарторыскому и его клеветам, которые погубили край, и теперь даете тем, кто пресмыкается по передним министров для того, чтобы пускать вам пыль в глаза, что вот-де мы какие великие люди и рано или поздно отстоим для вас свободу; не то тем, кто пугает вас, что выдаст правительству, если не станете давать денег, хоть собственноручно обвинить вас перед правительством не в чем; а потом смеются и шиканят, что вы такие доверчивые трусы.

Простите меня, граждане, за то, что, желая объяснить вам суть дела и мои цели, я высказал местами горькую правду; ибо я не пришел сюда льстить и этим путем отыскивать

себе сторонников, а пришел просто-напросто потолковать с вами сообща о причинах нашего упадка, — а они именно в том-то и заключаются, к несчастью, что я выразил в этом воззвании. И вы можете, пожалуй, пристать к моим врагам: ваша на то есть воля, и у всякого свои убеждения. Но будьте уверены, что меня ничто не собьет с избранного пути; я все обдумал, как надо, и достаточно приготовился на всевозможные опасности, страдания и смерть, чтобы теперь вдруг их испугаться и отступить назад. А что до того, как много у меня врагов, — это меня ни чуть не беспокоит. Смерть будет, во всяком случае, одна: с оружием ли в руках, в тюрьме ли, на эшафоте ли, где бы ни пришлось, надеюсь умереть с достоинством, приличным человеку. Ваш преданный брат
Иосиф Заливский¹.

V

Присяга в обществе Союз польского народа
(*Stowarzyszenie Ludu Polskiego*)

365

Перед лицом бога и всего человечества, перед лицом моей совести, во имя святой польской народности, во имя любви, которая соединяет меня с несчастливой моей отчизной, во имя великих страданий, которые она испытывает, во имя тех мук, которые терпят мои братья поляки; во имя слез, проливаемых матерями по своим сынам, погибшим или теперь погибающим в рудниках Сибири, не то в казематах крепостей; во имя трепета моей души, во имя этой страшной лени и апатии; во имя крови мучеников, которая пролита и еще проливается на алтарь самоотвержения за отчизну; во имя ужасной и вечнопамятной польской резни: я, N N, зная, что в силу Божеских и человеческих законов все люди равны, свободны и друг другу братья — равны в правах и обязанностях, свободны в употреблении своих способностей (wladz) ко всеобщему благу, братья

¹ Подлинник можно найти в сочинении Борковского (Wyprawa Partyzancka do Polski w 1833. Lipsk, 1863, s. 28 — 33).

для действий в полном согласии и единении к изысканно этого блага; веря, что идти в бой против насилия и неравенства прав, в отчизне моей существующих, есть долг и доблесть; что сверх обязанностей поляка у меня есть еще равно священные обязанности в отношении всего человечества; что в одном только народе почиет вседержавство (*wszechwladztwo*); убежденный, что согласие составляет силу и что союз, заключенный между собой нашими притеснителями, может быть ниспровергнут единственно совокупными силами народов; проникнутый верой в грядущее Польши, единой, целой, независимой, воссозданной на основаниях вседержавства народа, вступаю с полной искренностью в Союз польского народа, как в свободный союз угнетенных поляков против угнетателей и их сообщников, для того, чтобы призвать к новой жизни мою отчизну, согласно моим убеждениям. Посвящаю все мысли, способности, действие и имение борьбе, какую придется вести с отдельными личностями или целыми кастами, попирающими святыне, божеские и человеческие права и посягающими силой, искусством или привилегиями на свободу, равенство и братство польского народа либо других народов. Соединяюсь со всеми братьями Союза польского народа под управлением тех, кто их представляет; признаю за своих братьев всех членов Союза польского народа в особенности и подобных европейских корпораций вообще, принимая на себя обязанности братства во всякое время и в каждом месте, где только они от меня потребуются; обещаюсь не говорить никому того, что мне будет вверено обществом как тайна. Клянусь все это исполнить и в случае надобности кровью моей подтвердить. Если же когда-либо сделаюсь клятвопреступником, то пусть меня удалят, с позором и презрением, из лона Союза польского народа; имя мое да будет именем изменника, и несчастья, какие от этого последуют, да падут на мою голову. Так да будет ныне и во все времена!

(Присягающий во все время держит в руке горсть польской земли.)

VI

*Письмо Конарского
к матери накануне дня его смерти*

Милая матушка, братья, семья моя и все вы, кто меня любил, кому душа моя обязана счастливейшими минутами жизни и всеми лучшими воспоминаниями, — простите меня за слезы и страдания, которые испытали вы потому, что я жил на этом свете. В ту минуту, когда вы будете читать это письмо, участь моя, вероятно, уже решится. Генерал П. и Военный суд обещали мне, что эти строки дойдут до вас. Может статься, природа победит философию и всевозможные рассуждения, потому что сердце и права природы сильнее всего, что я могу с полной откровенностью здесь высказать. Но я желал бы, по любви моей к вам, чтобы спокойствие и сила духа, какие я в это мгновение чувствую, были присущи и вам, когда вы станете читать это письмо. Я бы желал перелить в вас всю мою душу, ибо тогда вы имели бы спокойствие и отвагу, которые я надеюсь сохранить до самой смерти. Сегодня сообщили мне приговор, осуждающий меня на смерть. Я готов вас утешать, как и те, которым угодно, не зная меня, являться ко мне с утешением, кто находит в этом какую-то потребность. Утешают меня, не ведая, что мне это утешение вовсе не нужно. Мне бы следовало сделать то же самое в отношении вас, ибо знаю, что вы нуждаетесь в утешении; но, бывши целую жизнь искренним и чистосердечным человеком, не хочу фальшивить и теперь, и объявляю вам прямо и откровенно, и надеюсь, вы мне верите, что настоящий приговор не только меня не смущает, напротив, я ему рад. Если б вы взглянули на меня в эту минуту, вы бы прочитали на моем лице, что я не лгу. И эта же самая искренность заставляет меня добавить, что если б в самом деле случилось, как говорят, что меня помилюют и смертный приговор будет заменен заключением в крепость, телесным наказанием, либо ссылкой в Сибирь, — тогда я был бы истинно несчастлив, и ваши слезы и сострадания

над моей судьбой были бы вполне справедливы. Ведь вы, конечно, все убеждены, вместе со мной, что лучше раз умереть, мгновенно расстаться с жизнью, при пособии палача, нежели умирать медленной смертью, в течение нескольких десятков лет, где-нибудь в каземате или рудниках Нерчинска. Да и вы ничего не потеряете от такого приговора, каков мой: однажды меня оплачете, однажды пожалеете обо мне (уж этого никак не могут вам запретить); затем останется вам воспоминание, правда, печальное, но улаждаемое убеждением, что я ничем себя не запятнал и погиб, облитый не только вашими слезами, но и слезами множества друзей, потому что, могу сказать, я имел друзей во время жизни: меня любили почти везде, где я жил. Так как это письмо, по всем вероятностям, будет последнее, которое вы от меня получите, то я считаю моим долгом сказать тебе, моя матушка, как матери, в устранение огорчений, которых могу быть поводом после моей смерти, — считаю долгом сказать тебе, что умираю с чистой и спокойной совестью. Если же после моей кончины злость и недоброжелательство или грубая ограниченность начнут тебя преследовать унижением моей чести, не то неблагоприятным изображением иных моих действий на этом свете; если найдутся люди, которые захотят, чтобы ты пережила и эти страдания, не верь им, матушка: совесть моя чиста во всех отношениях, и нет никакой грязи на моей жизни. Я согрешил перед лицом власти — и за это рассчитываюсь головою; но перед лицом человечества, перед лицом чести и правоты, несмотря на ужасные минуты, которые прожил, перед лицом самого Бога, матушка, — кроме тех грехов, которых чтобы избежать, нужно быть более, нежели человеком, кроме этих грехов, за все другие не буду судим, не понесу, вероятно, и кары.

Еще одна просьба к вам ко всем, потому ко всем, что я знаю, вы люди бедные, и ты, матушка, и ты, брат. И хоть тут дело идет не о большой сумме, но я вас так много утруждал подобными просьбами, и другим, может стать, это было подчас весьма не по сердцу... болезненное чувство, которое

я испытываю при воспоминании обо всем этом, заставляет меня объясниться прямо и откровенно...

Я остался должен 50 прусских талеров в Лейпциге и 100 франков в Швейцарии. Отдайте, пожалуйста, эти долги. Это последняя милостыня, которой прошу у вас. Адреса прилагаются. У кредитора в Лейпциге попросите извинения, что так поздно расплачиваюсь, и выразите ему мою искреннюю признательность. То же самое выразите и кредитору в Швейцарии. Не могу еще не попросить вас, чтобы вы, если обстоятельства позволят, поклонились от меня и той, которая, по чувству моего сердца, по выбору души моей, стала вам родственницей, стала частью вашего семейства. Я любил ее и, несмотря на все душевные потрясения, какие перенес в последние дни, люблю и до сих пор. Не знаю, позволит ли ей растерзанное сердце долго обо мне помнить. Я ничуть не требую этого и нисколько не удивился бы, если б она меня забыла. Ведь все ее семейство из-за меня под арестом. Само собой разумеется, что я не имел бы другой жены, если б остался жить. Кланяйтесь же ей и всему ее семейству и попросите у них, от моего имени, прощение за все слезы и страдания, какие они претерпели по причине заключения моего в тюрьму. Ты, брат, я знаю, любишь нашу бедную матушку: помни же, что она много вынесла в своей жизни от людей! Справедливо ли? Это рассудит Бог. Помни, что сверх своих обязанностей в отношении к ней, ты принимаешь на себя и мои обязанности. Смерть моя пускай не останавливает тебя на пути к женитьбе. Не носи отнюдь траура по мне. Не знаю твоей избранной, а потому замечу только, чтобы ты не забывал, что, кто женится, тот налагает на себя обет на всю жизнь; но ты человек с умом, опытен, а потому, вероятно, будешь счастлив. Прими же, мой милый Станислав, благословение от вашего Симона оттоле, где, вместе с нашим отцом и всеми теми из нашей семьи, кто оставил уже этот мир, я буду ожидать всех вас, свободный и покойный; ибо здесь, на земле, во время, которое проживаем, когда нужно вы-

нести адские муки, чтоб быть честным человеком, — жизнь в тягость. Ты скажешь когда-нибудь своим детям, брат, что на этом свете жил Симон, брат твой, который был честен и который любил бы их... Если Бог даст тебе сына, назови его Янушем, — имя, которое я долго носил; а дочери дай имя Эмилия, дорогое моему сердцу. Что касается моих вещей, которые здесь находятся, мне сказали, что они поступят в казну. Хотя эти тряпки, без сомнения, никому не нужны, однако может случиться, что вам их не отдадут. Оставляю это на волю судьбы.

Матушка! Милая матушка! Имей силы, имей дух пере-нести удар, который тебя ожидает. Помни, что с тобой остается брат мой и что ты обязана сохранить себя для его детей. Что бы он стал делать, когда бы ты, предавшись отчаянию, покинула его сиротой. Со мной кончено, и толковать обо мне не стоит. Но бедный брат мой, оставшись на этом свете один, жил бы, терзаясь тоской, и наши души, смотря на его страдания, также бы страдали. Я же, хотя и один иду на тот свет, перенесу эту разлуку, потому что издавна к ней привык. Живите счастливо и свободно! О, если б вы испытали хоть половину счастья, отвечающую половине моих страданий!.. Прощайте и не жалеете обо мне, ибо не о тех надо жалеть, что идут туда, а о тех, кто остается здесь. Любите друг друга, живите в добродетели и будьте счастливы в душе своей, и смерть вам будет так же легка, как и мне. Милый брат мой! Не гонись за избытками и не желай более того, что имеешь, — и Бог благословит твой дом. Не знаю, когда меня казнят, но мне все равно: сегодня, завтра, через неделю или через месяц. Спокойной ночи вам, дорогие моему сердцу! В Румбовичах, подле могилы тетушки, положите камень, без всяких надписей и простой, так как я жил просто, не по-барски: положите его на память обо мне. Я буду ходить туда с тетушкой и утешаться вашим счастьем, не то — плакать о вашей доле. Верю в моего Бога, что это будет мне дозволено; а потом, когда и вы соединитесь со мною, мы будем ходить туда все вместе и шутя вспоми-

нать о наших бедствиях и страданиях, испытанных нами в земную нашу жизнь. Ксендз говорит, что я буду расстрелян сегодня. Прощайте! Надеемся на милосердие Божие так же, как и я надеюсь.

Симон Конарский

VII—VIII

Инструкции Мирославского

I. Инструкция для окружных комиссаров и офицеров

1) Революционная власть есть единая, абсолютная, гарантированная заговором (przez mandat sprzysiężenia). Кроме этой власти всякие другие будут учреждаемы непосредственно ею самой.

2) Правительство, утверждаемое заговором, может быть возобновляемо и изменяемо по желанию большинства членов, устранением некоторых из них и заменой их новыми. Состоит не более как из семи и не менее как из пяти членов. Оно не может устранить из себя за один раз более одного члена.

3) Это правительство, как исполнительная и законодательная власть, постановляет законы и приводит их в исполнение через своих чиновников.

4) Революционная Польша остается под абсолютной властью такого правительства до тех пор, пока не будет освобождена в смысле географическом и политическом от всех внешних врагов и обеспечена от контрреволюции. Как только то и другое будет достигнуто — правительство сзывает обыкновенный сейм (sejm normalny), которому передает свою власть и предоставляет устройство всех частей по организации края.

5) Восстающая Польша делится в смысле географическом и административном на пять Главных управлений (Wielkorządztw), как то: Пруссия и Великое княжество Познанское, обе Галиции, Русь, Литва и Конгрессовая Польша. В каждое из этих Главных управлений будет назначен главноуправляющий (Wielkorządzca), как уполномоченный

правительства, утверждаемый самим правительством и им же сменяемый.

Каждое Главное управление делится на округа, которых границы заключаются в нынешних округах, обводах и уездах.

Начальник округа есть окружной комиссар, которого назначает главноуправляющий, а утверждает правительство.

Каждый округ делится на гмины, согласно теперешнему делению. Начальниками в гминах будут войты, которых представляют правительству на утверждение комиссары и главноуправляющие.

6) Для удержания порядка в революции главноуправляющий назначает в каждой провинции двух генеральных инспекторов, с полицейской властью, кои или сами лично объезжают вверенные им обводы, или посылают туда подчиненных им чиновников, с тем чтобы все революционные инструкции были исполняемы с возможной точностью. Они должны распространять восстание во всех местах, где оно еще не проявилось; уничтожать всякое сопротивление; представлять высшей власти всех уклоняющихся от исполнения своих обязанностей и тех, кто окажет непослушание, или даже хоть равнодушные к делу — отправлять в революционный трибунал.

7) При каждом Главном управлении должен быть учрежден самим главноуправляющим постоянный революционный трибунал 1-й инстанции из пяти членов. Трибунал этот представляет свои приговоры на утверждение правительству. Желательно при этом, чтобы правительство установило высший суд, который бы мог заступать высшую власть в отношении произнесения приговоров последней инстанции. Комиссары обводов будут *de facto* и революционными мировыми судьями. Всякий, отказывающийся повиноваться приказаниям какого-либо чиновника, лишается покровительства законов.

8) Основание революционной администрации есть округ. Необходимо, чтобы окружные комиссары как можно лучше уразумели систему революционного правительства и вводили ее во все части своей администрации.

9) Взрыв.

В один и тот же день и час подымается весь народ таким образом.

Восстание в гминах

Как только присягнувшие освободятся от своих притеснителей, собирают всех жителей гмины и отдают их под управление войта. Войт выбирает из них способных носить оружие, формирует отряд и отправляет его, под начальством какого-либо военного, в главный город округа, не обращая внимания на то, занят он или не занят восстанием. В последнем случае вооружившаяся ранее других гмина должна быть образцом для всех прочих, и начальник ее становится начальником других. Когда соберутся все, то атакуют город. Если нападение будет неудачно, тогда окружной комиссар, который обязан быть в числе осаждающих, отводит свой отряд в какой-либо иной пункт округа, им самим выбранный. В первом же случае, если город, вследствие удачного нападения или осады, взят, окружной комиссар делает следующие распоряжения:

- а) укрепляет город снаружи,
- б) разделяет вооруженные силы и
- с) организует революционно все оставшееся вне организационных условий.

Революция в главных городах округов

По назначении комиссаром всех властей в округе, собирает он жителей и делит их следующим образом:

В первый набор поступают те, кто выкажет более расположения к службе и более способен носить оружие, равно те, кто будет лучше вооружен. Вся эта масса делится по-военному на батальоны, эскадроны, роты и взводы, командование которыми комиссар поручает опытному офицеру, снабжает их на три дня провиантом, военными припасами и отправляет на сборный стратегический пункт.

По выступлении первого отряда комиссар делит оставшийся народ на две категории. К первой относятся люди, способные носить оружие, которые не попали в первый

разряд. Вся эта масса, под названием *второго набора*, поступает под начальство способных инструкторов и в течение нескольких дней обучается первоначальным экзерцициям. Потом, будучи снабжена всем, чем и первая, отправляется на сборный провинциальный пункт, где поступает под команду начальника резервного корпуса.

Наконец остается *третий*, последний революционный набор, состоящий из лиц всякого возраста и пола, кои предназначаются в военные мастерские с железных дорог; комиссар делит этот народ по ремеслам, кто к чему способен и привык, и каждой части укажет соответственные занятия и обязанности. С этой целью делит он прежде всего ремесленников, которых можно употребить для каких-либо военных работ, сортирует их поротно и отдает под команду особым ремесленничьим капитанам и поручикам, поместив в особых домах и распределив работу. Все же прочее, должностное заниматься преимущественно земледелием, останется дома, под начальством солтысов, которые обязаны строго наблюдать за подчиненными им людьми.

Ремесленничьи роты должны быть вооружены и будут обучаться первоначальным артикулам. Назначение их — защищать укрепленные пункты округов и вести местную войну в районе округа. Гминные роты тоже должны обучаться военным артикулам и вести местную войну.

О духовенстве

Там, где пробош, известный по своим патриотическим чувствам и способностям не будет сделан окружным комиссаром, — остается на месте при последнем резерве.

Самые низшие духовные чины должны быть распределены по войскам первого и второго набора капелланами.

Капеллан, оказывающий непослушание, лишается духовного сана и будет употреблен согласно своим способностям.

10) Система реквизиции.

Весь поднятый революцией край становится достоянием революционного правительства. Все подати приведутся к одной цифре, и то, что будет причитаться с каждого

человека, должно, в случае приказа от правительства, выплачиваться беспрекословно. Главноуправляющие передают окружным комиссарам расписание всего, что требуется правительством, означая количество и род предметов; окружные же комиссары доставляют все это войсковым интендантам из общественных складов. Отсюда на обязанности окружных комиссаров лежит доставлять все требуемое для уфортификации округа и для мастерских.

Доставляющим по своей обязанности особенные предметы в окружной склад, окружные комиссары дают квитанции во взятых деньгах или материалах. Никто не может уклоняться от взноса контрибуции со своего имущества на общую пользу, если только ему будет выдана квитанция. Кто станет прекословить и окажется непослушным приказанию генерального инспектора, будет арестован и участь его будет зависеть от решения главноуправляющего.

II. Инструкция для окружных комиссаров

11) В занятых уже округах комиссары не будут непосредственно сноситься с начальниками военных сил, а только входят в объяснение с интендантами, касательно потребности войск. Интенданты же, по желанию командующих войсками, испрашивают распоряжений от главноуправляющих.

Таким образом, интендант служит посредником между заявлением командующих и приказами главноуправляющего. Лишь тогда комиссар обязан повиноваться командующему войском, когда дело идет об исполнении фортификационных или других военных работ, в смысле географическом или стратегическом.

12) Окружной комиссар находится в непосредственных сношениях с главноуправляющим. Обязан представлять ему регулярные рапорты и неукоснительно исполнять его приказания. В сношениях с генеральным инспектором строго держится инструкции. Кроме того, что изложено в инструкции, он ни в чем не зависит от инспектора.

13) Что главноуправляющий в отношении окружного комиссара, то комиссар в отношении к войскам в деревнях и к муниципальным учреждениям в городах.

Сельские гмины, по естеству своему, суть почти исключительно военно-ремесленничьи поселения. Как сельские, так и городские должны иметь одну и ту же военную организацию и одного общего начальника.

14) Каждый город состоит под ведением бурмистра, а также, где окажется это нужным, — под ведением цыркуловых комиссаров, зависящих от бурмистра. Бурмистр и подчиненные ему комиссары подчиняются взаимно окружному комиссару, как равно и все находящиеся в пределах округа чиновники.

15) Все поименованные власти должны быть установлены в каждом добытом революцией округе.

Каждая часть, не тронутая восстанием, должна быть все-таки занята:

а) или посредством самостоятельного взрыва на месте и чиновников, выше означенных;

б) или каким-нибудь отрядом, по ней проходящим;

с) или, наконец, пограничным уже организованным, как надо, округом.

В первом случае гражданин, которому удастся произвести восстание, будет *de facto* окружным комиссаром и установит временно все прочие власти округа. В другом случае то же самое исполнит начальник отряда, освободивший какую-либо волость. В третьем — комиссар соседнего округа.

16) Со стороны революционной организации весь край делится некоторым образом на три части:

а) на провинции освобожденные, в коих нормальная революционная организация должна служить образцом для прочих округов;

б) на провинции, коих освобождение началось, то есть такие, где должно биться с неприятелем. Начальники военных сил в таких провинциях пользуются неограниченной властью вплоть до совершенного этих провинций освобождения, после чего переходят в первую категорию;

с) на провинции, состоящие под игом, где инстинкт жителей заступает место приказов правительства, что до стремления привести все как можно скорее к упомянутой революционной системе. Каждый округ, который освобождается сам собою, должен поступить под начальство нормальной организации правительства;

d) агент, получающий настоящую инструкцию, этим самым утверждает в должности окружного комиссара и обязан ввести в своем округе организацию союза, согласно с формами, установленными инструкцией, в особенности употребить все зависящие от него меры, чтобы до всех гмин могли дойти приказания, которые отданы властями еще до взрыва. Все агенты и чиновники непременно обязаны выбрать себе помощников, кои бы, в случае надобности, могли заступить их место и, назначив, уведомить о том главноуправляющего.

III. Инструкция для окружных офицеров

По получении настоящей инструкции, окружные комиссары должны или сами лично, или снесясь с депутатами, заместить все должности в округе. А именно: 1) помощника комиссара, 2) войта гмины, 3) трех офицеров, в каждый округ.

С этими последними комиссар условливается, каким образом удобнее уничтожить всякие гарнизоны в округе. При чем имеется в виду, что самый способ уничтожения есть не иное что, как нападение врасплох и Сицилийские вечера.

Оставя в стороне план общего восстания, о чем будет сказано ниже и что может быть исполнено только по уничтожении большей части неприятельских гарнизонов, комиссар, а после него старший офицер должны стараться лишь о том, чтобы к назначенному дню и часу все необходимые средства для нечаянного на войска нападения, для захвата касс и овладения складами в округе, были в совершенной готовности.

При этом комиссар округа, сильнейшего организацией или меньшим числом неприятельских сил, обязан подавать

помощь людьми и запасами округу, менее сильному в отношении организации и еще находящемуся в неприятельской власти.

Если бы нужно было захватить где-либо значительный неприятельский гарнизон, то все соседние земли, не обращая внимания на разграничение округов, а заботясь единственно лишь о выборе лучших средств и соображаясь с положением дел, должны поспешить в то место с помощью.

Отбытие этой помощи из разных пунктов в указанное место должно быть рассчитано так, чтобы все люди сошлись неподалеку оттуда, в одно и то же время, ночью. Можно в случае надобности посадить людей на подводы. При этом отряде должны находиться все офицеры округа, под начальством одного старшего.

Отряд сей должен в известный час ударить на неприятеля, условясь в подробностях с местной организацией, а гмины всего округа, под защитой этого движения, обязаны также явиться на помощь. Само собой разумеется, что этим первоначальным движениям никаких точных правил предписать нельзя: они зависят большей частью от распоряжений комиссара и местных офицеров. Только нужно им иметь в виду, что это нападение должно совершиться наподобие Сицилийских вечерень посредством обмана и хитрости, относительно чего необходимо нападающим условиться в подробностях со всей откровенностью.

После этого единовременного нападения на всем пространстве Польши дальнейшие движения должны происходить в известных границах, согласно следующему плану:

1) Выступление вооруженных гмин в главные города округов, укрепление этих городов, устройство военных мастерских и разделение готовой ко всякому движению силы, которая служит началом к образованию корпуса.

2) Выступление отборных сил из главных городов округа в стратегический пункт. Место соединения повстанских гмин от восьми округов, именно: Медзыховского, Мендзыржецкого, Вольштынского, Всховского, Косхянского, Буховского, Шамотульского и Познанского, — назначается

под Бугом, между озерами Непрошовским и Слупским, равно за их чертой. Все собравшиеся в этом пункте силы составят ядро резервного корпуса Велико-Польши. Эти силы или тронутся к Познани, если цитадель оной будет взята посредством удачного нападения, или станут тревожить гарнизон сказанного города и таким образом охранять округи, в течение двух-трех дней, от всякого движения против них неприятельской силы из этого пункта. Главноуправляющий должен пользоваться этими днями и извлечь из них возможно большую пользу, подымая всю провинцию и стягивая к резервному корпусу все вспомогательные отряды, какие только находятся в том крае.

Так как цитадель может быть взята, а может и нет, то в первом случае позволительно предполагать, что все княжество будет освобождено в две недели. Тогда первый набор (означенный на карте желтой краской) будет считаться принадлежащим к действующему корпусу и двинется для усиления его из Познани в Пыздры. Второй набор, означенный двумя цветами, соберется в Познани, где будет организоваться и останется в княжестве на случай отражения вторичного нападения пруссаков, до тех пор, пока перевес польских сил (действующего корпуса) над русскими не дозволит резервному корпусу подать помощь тем войскам. В случае неудачи резервный корпус оставит княжество, соединится с действующим корпусом и будет составлять неотъемлемую его часть. Надо стараться только, чтобы коммуникация между этими двумя корпусами отнюдь не прерывалась.

Если же бы Познань не была взята после внезапного овладения цитаделью, резервный корпус удержит при себе все наборы, означенные желтой краской, равно и второй набор, означенный розовой краской. Соединение всех этих сил последует через Оборники и Шрем, кои непременно должны быть взяты при первом же взрыве, снабжены достаточным количеством паромов и укреплены старательнее, чем всякие другие главные города округов. Резервный же корпус должен тогда иметь в виду:

1) Не допускать к Познани никаких подкреплений и по мере того, как они, избегнув окружных восстаний, будут подходить к Познани с разных сторон, дабы подать помощь тамошнему гарнизону, — разбивать их поодиночке.

2) Поддерживать сообщение с правым берегом Варты через Оборники и Шрем, в одном из коих будет резиденция администрации Великого княжества: то есть будет жить главноуправляющий, с властями и посылать приказания на оба берега Варты. Резервный корпус будет иметь коммуникацию с действующей армией через эти же два пункта.

3) Помогать нападающим повторять нападения на Познанский гарнизон, пока не подойдут Поморские и Силезско-Прусские колонны; тогда ударить на одну из них всей массой и, разбив ее, броситься в другую сторону, и т. д. В случае неудачи нападения резервный корпус должен отступить, через Оборники или Шрем, на правый берег Варты, для соединения с корпусом действующей армии.

Способ действий резервного корпуса зависит от того, удастся или не удастся взятие цитадели, а потому:

4) Одновременно с восстанием всего края постараться всемерно овладеть цитаделью, иначе сказать: поднять Познань. Для этого могут быть употреблены две силы: одна, из района в две или в две с половиной мили, тронется с наступлением сумерек и в одиннадцать часов вступит в город, под начальством самого главноначальствующего. Атаке этой помогает резерв, который будет находиться в недостроенных домах, за городом, а оттуда или двинется в город, или отступит под Бук, к штабу резервного корпуса. Другая сила есть восстание в городе, которое, разделяясь на четыре части, каждая под начальством особого отважного начальника, — ударит на вход в цитадель, на кавалерийские конюшни, на эскадрон гусар, на жилища высших гражданских и военных начальников и на артиллерийский парк. Если бой в городе затянется, то резерв вступает в город и поддерживает борьбу в улицах и на баррикадах. Если же все это не удастся, отряды отступят к резервному корпусу, под Бук, где командир корпуса присоединит их к собранным в том пункте силам.

Что до действующего корпуса, означенного розовой краской, — окружные комиссары и офицеры обязаны знать, что везде, после нападения на прусские гарнизоны, войска первого набора (желтая краска) относятся к действующему корпусу и в Познань никоим образом идти не могут, но должны спешить к границам Польши, как в сборный пункт армии.

Сборный этот пункт всех сил, то есть с округов: Иновроцлавского, Быдгощского, Шубинского, Выржиского, Ходзешинского, Чарнковского, Оборницкого, Венгровского, Гнезненского, Шродского, Шремского, Вржесневского и Могельницкого, — есть Рогово над Вартой, между озер, у истоков р. Велны.

Сборный пункт для сил первого набора, с левого берега Варты, то есть округов: Пешовского, Одоляновского, Остршешовского, Кротошинского, Кробского — есть Плешов. В случае, когда бы значительные силы русских явились внезапно над Вартой, между Колом и Пыздрами, — обе колонны, стоящие в Рогове и Плешове, должны временно соединиться при впадении Просны в Варту. В продолжение сего комиссар и офицеры Вржесневского округа приглашаются устроить в этом пункте полевой блокгауз, на косе, между двумя реками, и перекинуть два моста через оба рукава сказанных рек.

Это место, в стратегическом отношении, должно быть почитаемо за главный пункт и место вторжения в Конгрессовую Польшу всего действующего корпуса Познанской армии.

Примечание. Подлинник можно видеть в томе XXIX. «Biblioteki Pisarzy Polskich», с. 226 — 236.

IX

Письмо Коссовской к Ясинскому

Ксаверий! Пришла минута, когда ты много можешь сделать для отечества. Человек, который вручит тебе это письмо, заслуживает доверия. Я со своей стороны уверяю тебя, что если б не знала о средствах, какие мы в состоянии

пустить в ход, когда бы не видела их силы, не стала бы представлять тебя и добрых наших слуг (poczeiwych chłopców) на явную опасность. Помни, что, если не поступишь в этом случае энергически, — многих и себя погубишь. Будь искренен, если решишься действовать.

Тереза Коссовская.

Письмо Коссовской к Цихоцкому

Дорогой Роман! Знаю, что ты ожидаешь двух знаков (dwa śladowe hasła). Если бы они замедлили, — сообрази все обстоятельства, вспомни, что если столько идет, тебе оставаться в бездействии нельзя. Дорогой Роман! Пишу к тебе, как к брату; смело зову тебя, так как и сама тут же. Смело зову, зная, что не откажешь; а другого знака дожидаться трудно.

Сестра твоя Тереза Коссовская.

11/2 46. Warszawa.

X

Рассказ командира Кременчугского егерского полка о занятии русскими войсками города Кракова (в 1846 году)

7 или 8 февраля 1846 года, в девять часов вечера, я получил в Кельцах эстафету от начальника Корпусного штаба, полковника Фролова: «...иметь ближайший к полковому штабу 2-й батальон командуемого мною полка готовым к выступлению в Краков, где, по сведениям от тамошнего русского резидента, вспыхнул мятеж».

А в ночь с 10-го на 11-е число пришло повеление фельд-маршала: «...с получения сего батальону выступить, забрав с собой стоящих на пограничном кордоне казаков». Я сделал надлежащее распоряжение, и батальон выступил утром 11-го, а через 24 часа был уже в Мехове (70 верст от Кельц.) Здесь мы нашли Радомского военного начальника, полковника Горлова, и местного начальника уезда, Пент-

ковского, в большой тревоге. Ходили слухи, что Краков с окрестностями встал и учредил Народное правительство, а войска австрийцев прогнаны. Поэтому в Мехове боялись вторжения повстанцев и спешили отправить в Кельцы дела присутственных мест и казенные суммы... Военный начальник вскоре передал мне полученную им на мое имя эстафету из Галиции, от нашего резидента, который, извещая меня о выходе из Кракова австрийского гарнизона, с городской милицией и всеми тремя резидентами, остерегал, что занятие сказанного города, где инсургенты действительно учредили свое правительство, едва ли возможно теми силами, которыми я располагаю.

Вследствие этого я распорядился так: местную жандармскую команду, при офицере, послал на рекогносцировку к деревне Скальберж и местечку Олькуш, откуда нападение казалось более вероятным. Одну роту моего полка двинул к Михаловицкой таможне, по шоссе; другую к пограничной заставе Шиц, проселочной дорогой, а третью, с батальонным командиром, в местечке Сломники. Четвертая осталась, с батальонным штабом и обозом, в Мехове. Сам я, одновременно с выступлением первых трех рот, отправился в почтовой бричке к Михаловицкой таможне, куда прибыл довольно рано утром 13 февраля, и остановился у корчмы, где были казаки. К удивлению моему, я нашел их лошадей расседланными и всех людей в разброде. Сделав выговор сотенному командиру и велел проворнее подседлать и быть готовыми к встрече неприятеля во всякую минуту, сам пошел с сотником в таможню, дабы передать ему кое-какие письменные инструкции относительно казаков.

Не прошло и десяти минут после нашего прибытия в таможню, как стражник, стоявший у шлагбаума, вбежал к нам с испуганным лицом и объявил, что по шоссе от Кракова едут какие-то всадники, в красных шапках и темных бурках. Все чиновники выбежали вон и закричали: «Кракусы! Кракусы!» Я выскочил также на крыльцо и точно увидел два эскадрона на полных рысях, направлявшиеся к таможенной заставе. Поравнявшись с последним верстовым столбом, они при-

держали лошадей, по-видимому для того, чтобы собраться в одну кучу, — и потом понеслись во весь карьер к шлагбауму. Начальник, как говорили после, Мазараки, очень известный в тех местах, так как он арендовал разные имения в Меховском уезде, — и его адъютант мчались впереди. Подскакав к самому шлагбауму, начальник закричал сторожу: «Отворяй!» Шлагбаум был заперт; сторож долго суетился, ища ключ, однако нашел и отпер, — и повстанцы понеслись к корчме.

Пока это происходило, казначей таможни успел втолкнуть меня в бричку, сел подле меня сам и крикнул ямщику: «Пошел!» Мы мчались, а повстанцы висли у нас, что называется, на хвосте и, конечно, захватили бы в плен, если бы только догнали. Но мы примчались благополучно к корчме, где были казаки, совсем готовые к бою. Завязалась перестрелка, кончившаяся несколькими ранеными и убитыми с обеих сторон. После сего Мазараки с кракусами снова скрылся за заставой. Как мы узнали после, с их стороны был, между прочим, ранен один из иорданов, тоже наш помещик, собравший небольшую банду.

На другой день подобное нападение должно было повториться: повстанцы явились уже с отрядом пехоты, но мы имели у корчмы одну карабинерную роту, которую я послал накануне с дороги. Простояв несколько времени в полуверсте от корчмы, повстанцы воротились в Краков.

Донесение мое о появлении кракусов на самой границе и о стычке их с казаками произвело в Варшаве тревогу, вследствие чего фельдмаршал предписал начальнику дивизии, генерал-лейтенанту Панютину, сформировать значительный отряд из пехоты, кавалерии и артиллерии и двинуться с ним к Мехову (Панютин находился в Кельцах). Я тоже счел необходимым концентрировать свой батальон и собрал роты из Сломников, Шиц и Михаловиц в Мехов, оставя на границе, для наблюдения за неприятелем, одних казаков; Мехов же с уездом объявил на военном положении и отобрал у жителей всякое оружие.

15 февраля на заре мы услышали со стороны Кельц резкий лошадиный топот: это был авангард генерала Па-

нютина. Мусульмане, считавшиеся конвоем наместника, на своих лихих карабахских конях — изрядная вольница, позволявшая себе по пути разные азиатские шалости. Более всего доставалось от них кондитерским. Так и в Мехове, они ту же минуту разбили кондитерскую, карабахских своих лошадей ставили по лучшим домам и тут же сами спали! Впрочем, фельдмаршал за все это щедро платил из своего кармана.

В 9 часов утра прибыл генерал-майор Безак, исправлявший должность начальника штаба, так называемого «Краковского отряда», а часом позже и сам командующий отрядом, генерал-лейтенант Панютин. Им отвели помещение на почтовой станции, как в лучшем доме города. Безак сей же час назначил войскам новую диспозицию: второму батальону Кременчугского полка выступить немедленно, с мусульманами, в местечко Сломники и там остановиться, пока не подойдут в Мехов два батальона пехоты (4-й Севский и 4-й Кременчугский) и казачья конная батарея. В Краков послали для собрания сведений жандармского полковника Повало-Швейковского. Были слухи, что войска инсургентов намерены оставить Краков в ночь с 18-го на 19 февраля ст. ст.; поэтому я предлагал двинуть один батальон к границе, чтобы потом немедленно занять Краков, но мне этого не разрешили.

19-го числа отряд из Сломников, состоявший, как сказано выше, из батальона пехоты, дивизиона мусульман и казачьей батареи, подвинулся к Михаловицкой таможне. Было 11 часов дня. Мы ждали с нетерпением возврата полковника Повало-Швейковского, но он не прибывал. Уже начали думать, что он не вернется вовсе, попав в руки повстанцев... Из предосторожности от внезапного нападения были приняты все меры: выдвинута вперед артиллерия на позицию и заряжены пушки. Так войска стояли и ждали неизвестно чего. Полковник князь Бебутов, начальник нетерпеливых горцев, не выдержал и стал проситься в город. После долгих соображений и советов наконец ему позволили это, и он не только беспрепятственно въехал в город, но и разъезжал там довольно долго по разным улицам, по-

сле чего расположил свой отряд на площади в предместье Клепаже и стал дожидаться прибытия пехоты.

Этой пехотой была прежде всего моя карабинерная рота, почти бегом пробежавшая пространство от заставы до Кракова. Мы заняли все караулы, как то: у главной гауптвахты, у городской тюрьмы, у казначейства, и другие мелкие посты, переданные инсургентами избранным гражданам. Три егерские роты моего же полка расположились по приходе в казармах, что близ бывшего королевского замка, на Бавеле. Нам было очень приятно, что мы, русские, первыми вошли в город, упредив вступление австрийцев, которые, как говорят, потому не вступили в город перед нами, что принимали разъезжавших по Кракову мусульман за новый отряд повстанцев. Войдя после нас, часа через два, через три, они не нашли удобного помещения, и это, по-видимому, их сильно раздражало. Нечего и говорить о том, что они не нашли также и своего имущества и тяжестей, брошенных ими в городе при отступлении за Вислу две недели тому назад.

20 февраля утром князь Бебутов с мусульманами и казаки с полковником флигель-адъютантом Барятинским пустились преследовать инсургентов, уходивших форсированными маршами к Силезской границе, через местечко Кршешовице. Я, по смене с караула моей карабинерной роты, тоже отправился вслед за кавалерией, имея весь второй батальон Кременчугского полка и 4 орудия казачьей конной артиллерии. Грязь была страшная. Солдаты с трудом передвигали ноги, тем более что им приходилось нередко вытаскивать на себе увязнувшие пушки, хотя каждую везло 8 добрых лошадей. Едва в 9 часов вечера достигли мы до местечка Кршешовиц, не выдавши никаких повстанцев, кроме нескольких отсталых. Князь Бебутов, как уверял после, сталкивался с ними не раз, но не решился, не имея пехоты, ударить.

На другой день, 21-го числа, мы получили предписание вернуться в Краков, куда прибыли, между тем, корпусные командиры трех покровительствующих держав: австрийский фельдмаршал-лейтенант граф Врбна, наш

генерал-адъютант граф Ридигер и прусский генерал от инфантерии граф Бранденбург. Из них и трех резидентов составила конференция, которая положила на первых порах «содержать прибывшие войска контрибуционным способом, располагая их частью в самом городе, частью внутри области». Таким образом австрийцы (пехота, артиллерия, шеволежеры, генерал-губернаторское управления и полковые штабы) поместились в Кракове. Прусские войска — в местечке Хршанове (по одному батальону от 10 и 11-го линейных полков, 4 эскадрона улан и батарея пешей артиллерии); второй батальон Кременчугского полка — в местечке Кршешовице, 4-й — в монастыре Могила, в семи верстах от Кракова. Все эти войска состояли под главной командой австрийского фельдмаршал-лейтенанта графа Кастильони, который вместе с тем был и генерал-губернатором города Кракова и области.

Первые три дня прошли в смотрах и разводах с церемонией. Все это у австрийцев и пруссаков почти по-нашему. Разница кое в каких мелочах, например, при отдаче паролей и приказаний адъютантами во время развода, прусские фельдфебеля записывают это в книжках, которые имеют при себе. Но так как это поглощает довольно времени, то для развлечения войск играет музыка. У австрийцев же играла музыка на главной гауптвахте всякий раз при смене часовых. Сдача часовых на всех постах между немцами и русскими происходила посредством пантомимных знаков, что было очень странно и вызывало улыбки наблюдателей.

По окончании конференции все корпусные команды, наш, прусский и австрийский, выехали из Кракова, а я остался начальником всего нашего отряда. Жизнь текла по-прежнему: смотры, учения. В большие праздники, приходившиеся на долю той или другой нации, каждый отряд давал обеды, завтраки, как только можно было пышнее и лучше, по средствам города, приглашая к участию и других, мы немцев, немцы — нас. На мою долю выпало отпраздновать тезоименитство государыни императрицы Александры Федоровны. Огромная монастырская зала наполнилась

цветами. Завтрак па 500 человек высших чинов готовил лучший ресторатор Кракова La Rose. Войска расположились завтракать в монастырском саду. Было множество штаб- и обер-офицеров, прусских и австрийских, также и простых солдат. Жители города приехали вместе с женами. Тосты провозглашались в таком порядке: за русского императора и императрицу, за австрийского императора Фердинанда и за прусского короля Вильгельма IV. Музыка играла гимны всех трех наций. Песельники пропели несколько песен, очень занимавших немцев.

Любезность и предупредительность австрийцев в отношении к нам была чрезвычайная, хотя в душе они только и думали, чтобы нас поскорее выпроводить восвояси. В моем полку умер один молодой офицер, подпоручик Чайковский, католик. Граф Кастильони тотчас разослал по войскам циркулярные предписания, приглашая всех к церемонии похорон. Духовенство костела Девы Марии одело внутренность храма трауром и зажгло необыкновенное множество свечей. Дамы убрали гроб цветами и гирляндами. Особый хор артистов заменял клир, и ими был исполнен великолепный реквием. Граф Кастильони, с высшими чинами, провожал гроб до могилы пешком. Было много почетных лиц города и дам высшего общества. Сверх полковой музыки шла за гробом музыка шеволежеров (Гогенцоллернского полка). При опущении гроба в могилу дамы сняли с него цветы и наделали из них маленьких букетов, которые раздавали толпе. Кому не досталось букета, тот получил кусочек галуна от гроба. Иные прицепляли к груди обрывки золотой бахромы. Так хоронил Краков русского подпоручика — по-видимому, в пику австрийцам.

Около 28 июня пришло известие из Вены, что, по согласию трех покровительствующих держав, вольный город Краков присоединяется к Австрийской империи; русские же и прусские войска должны очистить Краковскую область к 1 (13) июля. Надо было видеть, как вдруг подняли нос австрийцы, и наши взаимные отношения мгновенно изменились. Граф Кастильони дошел до того, что разослал

маршруты нашим и прусским войскам, куда и как идти. Нам предписывалось выступить ночью и миновать Краков. Это нас взорвало, тем более что в маршруте, полученном тогда же из корпусного штаба, требовалось, чтобы мы шли именно на Краков и, разумеется, днем. Я уведомил об этом графа, но получил от него новое предписание, уже в виде совета, чтобы я, следуя на Краков, расположил войска ночевать по деревням, а не в городе, так как последнее будто бы менее удобно солдатам. В сущности, австрийцы боялись демонстрации жителей в пользу наших войск. Нечего делать, я согласился, и когда полк стал под Краковом, я, с корпусом офицеров, пошел откланяться бывшему нашему начальнику. В кратких словах мы благодарили графа за постоянное к нам внимание. Он отвечал такой же точно речью, выразив благодарность офицерам и в лице их войскам, за сохранение порядка и проч. и проч. Не мог, однако, скрыть некоторого внутреннего удовольствия, что мы завтра все-таки уходим. Когда офицеры вышли, я объявил графу, что по существующим узаконениям и обычаю мы должны перед уходом отслужить напутственный молебен, почему я прошу его сиятельство назначить для этого в городе соответственный плац. Граф Кастильони стал резко возражать, что это, вследствие разных причин, неудобно; и когда я объявил ему, что отступить от правил никоим образом не могу, он сказал, что никакого распоряжения относительно плаца не будет и что русские войска к рассвету должны быть на границе.

Я поклонился и вышел. Дело этим, разумеется, кончиться не могло. Явясь немедленно к нашему резиденту, барону Унгерн-Штернбергу, я просил его отправиться к графу Кастильони и объяснить ему, что выступление наших войск в том виде, в каком он желал, помимо уже нарушения наших военных постановлений, прямо не прилично в политическом смысле; что так бегут только от врага, но не расстаются с союзником, с которым жили до тех пор мирно и решали общие важные вопросы. Унгерн-Штернберг отправился и все это изложил графу в таком виде, что тот немедленно отме-

нил первое приказание, предписав всем своим генералам, штаб- и обер-офицерам собраться к 8 часам утра (2/14 июля) в моей квартире, для прохода русских войск; велел усилить караул на главной гауптвахте, дав ему знамя, и когда мы пошли в колоннах через город, этот караул отдал нам честь, и знамя салютовало нашим знаменам. Сборное место для молебна было назначено в предместье Клепаж, — та площадь, на которой князь Бебутов дожидался прибытия пехоты 19 февраля. Батальоны командуемого мною полка были построены правым флангом к Флорианским воротам, во взводных колоннах. Граф Кастильони приехал с огромной свитой раньше назначенного времени, именно в 5-м часу утра, когда войска только еще строились. Несмотря на такую рань, народу из Кракова и предместий собралось очень много. Граф Кастильони, поздоровавшись с солдатами, благодарил их за службу и примерное поведение. После этого был отслужен молебен, по окончании которого батальоны переменяли дирекцию налево, став лицом к Флорианским воротам, и пошли церемониальным маршем, повзводно, мимо меня, к заставе, имея впереди песельников. Граф Кастильони ехал во главе колонн до первой деревни, после чего, съехав с шоссе, пропустил батальоны мимо себя, раскланялся со мною и уехал. А народ провожал нас гораздо дальше, иные до самой границы, крича поминутно «ура».

В заключение замечу, что за несколько дней до нашего ухода из Кракова явилась ко мне депутация от города, с предложением дать нам прощальный завтрак; но я, вследствие происшедшей у нас размолвки с австрийцами, должен был отклонить от себя эту честь и только просил передать городу нашу глубокую благодарность.

Граф Кастильони жаловался на меня фельдмаршалу за грубости, якобы мною ему оказанные, и мне велели подать объяснительную записку г-ну и. д. начальника штаба 3-го пехотного корпуса, полковнику Веселитскому, что я и исполнил 2 августа, изложив подробно наш выход и предшествовавшие ему объяснения мои с австрийским главнокомандующим.

XI

Военное положение

По высочайшему его императорско-царского величества повелению Царство Польское объявляется на военном положении.

На основании сего положения все жители Царства, за преступление ниже сего поименованные, подлежат военному следствию и суду, по силе 739 и 753 статей книги 2-й Военно-уголовного устава.

Городские и земские полиции подчиняются вполне военным начальникам, и чины сих полиций, за неисполнение своих обязанностей, подлежат ответственности наравне с воинскими чинами.

Все без изъятия лица, обвиняемые в измене, бунте, возмущении, в явном неповиновении воинским и полицейским начальствам, и сокрытии оружия, произнесении публично возмутительных речей, составлении и распространении возмутительных воззваний и другого рода сочинений, склонении других к прописанным преступлениям, хотя бы от этого и не произошло возмущения, равно в насилии какого бы то ни было рода, убийстве, разбое, грабеже или зажигательстве, подлежат военному следствию и суду, который приговаривает виновных к наказанию на основании полевых военно-уголовных законов.

Примечание. Если военное начальство признает, что неповиновение, насилие, убийство, разбой, грабеж или зажигательство, по свойству сопровождавших сии деяния обстоятельств, не составляют преступлений, имеющих характер политический, дела об оных оставляются в ведомстве обыкновенных судов.

С объявлением военного положения воспрещается:

а) Всякого рода на улицах и площадях сборища и сходки, даже из небольшого числа людей. В случае неповиновения полиции, толпа немедленно рассеивается силой оружия и виновные арестуются.

б) Всякого рода политические манифестации и демонстрации, равно крестные ходы и процессии, не получившие

особого письменного от местной военной власти разрешения, церковные служения, совершаемые по поводу смерти политических преступников, или убитых и раненных во время возмущения, или же в воспоминание какого-либо исторического события. Когда употребляются при том какие-либо возмутительные эмблемы, то ответственность усиливается.

с) Пение, как в церквях, так и вне оных, возмутительных песен, гимнов или других молитв, не утвержденных церковью. Разыгрывание лотерей и сбор, как в церквях, так и вне оных, денег и вещей, если на то не получено от местной военной власти разрешения; выставление или продажа объявлений, воззваний, плакатов, брошюр или газет, не разрешенных надлежащей властью.

Все вышеозначенные под литерами а, б и в преступления и проступки подлежат военному следствию и разбирательству военного суда, который определит меру наказания, применяясь к 599-й статье, книги 1-й Военно-уголовного устава.

Последствия военного положения:

1) В случае сопротивления, воинская сила и полиция, вынужденные употребить оружие, не подвергаются ответственности за последствия.

2) Военным начальникам предоставляется принимать все те полицейские меры, какие они признают нужными для водворения и сохранения спокойствия.

Военный начальник обязан содержать жителей в совершенном повиновении, препятствовать вредным подстрекательствам или изъявлению неуважения к правительству, властям и к войску.

Он может воспрещать всякие собрания в публичных и даже в частных домах, которые будут им признаны вредными.

Лавки, кофейни, шинки и другие подобного рода заведения должны быть запираемы в определенное военным начальством время; в случае же усмотренной им необходимости, могут быть и совершенно закрыты.

Он вправе приказать производить обыски у местных жителей во всякое время. Всех празднопроживающих или подозрительных людей, обнаруживших беспокойный характер, или же прежде замеченных в беспорядках, может подвергать аресту до решения их участи наместником.

Иностранцев, не имеющих узаконенных видов, а равно празднопроживающих или замеченных в предосудительном поведении, высылать за границу.

По невозможности исчислить все последствия, к которым ведет военное положение, жители предвеляются, что всякий беспорядок должен неминуемо вызвать чрезвычайные и энергические меры.

*Варшава, 2/14 октября 1861 года
Командующий 1-й армией и исправляющий должность
наместника в Царстве Польском, генерал-адъютант
граф Ламберт 1-й.*

Гимны

I

Boże coś Polskę przez tak długie wieki
 Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
 Coś ją osłaniał tarczą Twój opieki
 Od nieszczęść, które przywalić ją miały,
 Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
 Ojczyznę, wolność racz nam wrócić, Panie!

*

Ty, któryś potem tkniety jój upadkiem,
 Wspierał walczących za najśmielszą sprawę,
 A chcąc świat cały mieć jój męstwa świadkiem,
 W samych nieszczęściach pomnażał jój sławę,
 Przed Twe ołtarze i t. d.

*

Boże, którego ramię sprawiedliwe
 Żelazne berło władców świata kruszy,
 Oddał tych wrogów zamiary szkodliwe,
 Obudź nadzieję w Polskiej naszej duszy!
 Przed Twe ołtarze i t. d.

*

Wróc nowój Polsce światność starożytną,
 Użyźniaj pola, spustoszone łąny!
 Niech szczęście, jedność na wieki w niej kwitnia,
 Poprzestań kary, Boże sprawiedliwy!
 Przed Twe ołtarze i t. d.

*

Boże najświętszy! przez Twe wielkie cudy
 Oddał od Polski klęski, mordy boju,
 Węzłem jedności połącz Twoje ludy
 Pod jedno berło Anioła pokoju!
 Przed Twe ołtarze i t. d.

*

Boże najświętszy, od którego woli,
 Sinienie świata zależy całego,
 Wyzwol lud Polski z tyrańskiej niewoli,

Wspieraj zamiary ludu wytrwałego!

Przed Two ołtarze i t. d.

*

Jedno Two słowo, wielkich gromów Panie,

Z prochów nas nędznych wskrziesić będzie zdolne,

A gdy zasłużym na Two ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Two ołtarze i t. d.

*

O Matko Boska, coś na Ostrój-Bramie,

Cudami swemi Litwinów krzepiła,

Prsyjm modły nasze, jako łaski znamię,

Uproś za nami by Polska ożyła!

Przed Two ołtarze i t. d.

*

Ty, Stanisławie, nasz Polski patronie,

Zanoś modlitwę do Boga za nami,

By jak Piotrowina wskzesiłeś po zgonie,

Tak naszą Polska za swemi modłami!..

Przed Two ołtarze i t. d.

II

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy,

Co nam obca moc wydarła, mocą odbierzemy,

Co wszczęła rozpacz, to dokona męstwo,

Marsz, marsz, Dąbrowski, Bóg nam da zwycięstwo!

*

Matka z grobu powstająca woła do swych dzieci:

Kto jest mój syn, prawy Polak, niech do boju leci!

O matko nasza, o ojczyzno święta!

My twoje dzieci, my skruszym twe pęta!

*

Za wolności kraj rodzinny spieszmy do oręża,

Wszakże, bracia, nigdy liczba, lecz męstwo zwycięża!

Honor i chwała są przy naszej stronie,
Słodko jest ginąć w ojczyzny obronie!

*

Ziemio naszych prapradziadów, ziemio krwią ich słana,
Jużeś nasza, już obcego mieć nie będziesz pana,
Do broni, bracia! Do broni, do broni!
Pod świętym znakiem Orła i Pogoni!

*

Przy Dąbrowskim niebezpieczeństw żadnych się nie stvaszym,
Ufność w wodzu, jedność, zgoda będzie hasłem naszym,
Co wsczęła rozpacz, to dokona męstwo,
Marsz, marsz, Dąbrowski, Bóg nam da zwycięstwo!

Ключ переписки между заговорщиками 1839 года, общества человечности

	1.	2.	3.	4.	5.
1.	a.	b.	c.	d.	e.
2.	f.	g.	h.	i.	k.
3.	l.	.	m.	n.	o.
4.	p.	r.	s.	t.	u.
5.	w.	x.	y.	z.	z.

a.	b.	c.	d.	e.
11.	12.	13.	14.	15.
f.	g.	h.	i.	k.
21.	22.	23.	24.	25.
l.	.	m.	n.	o.
31.	32.	33.	34.	35.
p.	r.	s.	t.	u.
41.	42.	43.	44.	45.
w.	x.	y.	z.	.
51.	52.	53.	54.	55.

Напр. Wolność, Rywność, Niepodległość — должно быть написано этим ключом так: 51. 35. 31. 34. 35. 43, 13. — 42. 35. 51. 34. 35. 43. 13. — 34. 24. 15. 41. 35. 14. 31. 15. — 22. 32. 35. 43. 13. —

Содержание

Глава первая

Польская эмиграция в Европе. — Партии и комитеты. — Заговор Заливского. — Эмиссар Конарский. — Последствия его пропаганды..... 5

Глава вторая

Заговоры и революционные взрывы 1846 года 47

Глава третья

Распоряжение фельдмаршала Паскевича. — Занятие Кракова русскими войсками. — Краткий очерк беспорядков в княжестве Познанском. — Несколько слов о последующих восстаниях до 1849 года. 105

Глава четвертая

Прибытие в Варшаву князя Горчакова. — Перемена в воздухе. — Партии. — Первые манифестации. 121

Глава пятая

Адрес. — Медицинско-судебный осмотр тел. — Торжественные похороны пяти жертв. — Занятие делегатов. — Следственная комиссия для разбора дела о выстрелах. — Маркиз Велепольский. — Упразднение Делегации..... 194

Глава шестая

Трудность положения Велепольского. — Закрытие Земледельческого общества. — Манифестации у дома Кредитного общества и у дома графа Замоиского. — Сборы народа у Замка. — Стрельба. — Начатки белой организации. — Смерть князя Горчакова. ...247

Глава седьмая

Назначение наместником военного министра Сухозанета. — Проезд графа Ламберта через Варшаву из-за границы. — Возобновление манифестаций. — Первый подземный листок. — Назначение наместником графа Ламберта, а военным генерал-губернатором го-

рода Варшавы генерал-адъютанта Герштенцвейга. — Выборы. — Борьба против них красной партии. — Городельская манифестация. — Смерть архиепископа Фиалковского. — Манифестация похорон. — Объявление военного положения. — Панихида по Костюшке. — Аресты в храмах. — Закрытие их по распоряжению духовенства. — Последствия этого. — Смерть Герштенцвейга. — Отъезд за границу графа Ламберта.	289
---	-----

Приложения

I—III Похождения Завиши(1833)	354
IV Воззвание Заливского к галицианам	359
V Присяга в обществе Союз польского народа (Stowarzyszenie Ludu Polskiego)	365
VI Письмо Конарского к матери накануне дня его смерти	367
VII—VIII Инструкции Мирославского	371
IX Письма Коссовской	381
X Рассказ командира Кременчугского егерского полка о занятии русскими войсками города Кракова (в 1846 году)	382
XI Военное положение	391
Гимны	394

Берг Николай Васильевич

**ЗАПИСКИ О ПОЛЬСКИХ ЗАГОВОРАХ И ВОССТАНИЯХ
1831–1862**

Художественное оформление *А. П. Зарубин*
Компьютерная верстка *И. В. Белюсенко*
Корректоры *Л. В. Барышникова, Е. И. Рычкова*

Издательство «Кучково поле»
105120, г. Москва, Съезжинский пер., 6
Тел./факс: (495) 678 83 56.
E-mail: kuchkovopole@mail.ru

Подписано в печать 23.07.08. Формат 60х90/16.
Усл. печ. л. 21,00. Печать офсетная.
Гарнитура «BalticaC». Тираж 1500 экз.
Заказ № 3474.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 978-5-9950-0021-1



9 785995 000211 >

